АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
VI

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1957

СОДЕРЖАНИЕ

Пути развития советского языкознания. 3
Ю. Д. Дешериев (Москва). Развитие младописьменных языков народов СССР в советскую эпоху. 18
С. Г. Бархударов (Москва). Русская советская лексикография за 40 лет 31
М. М. Гухман (Москва). Индоевропейское сравнительно-историческое языкознание и типологические исследования. 46
О. Н. Трубачев (Москва). Принципы построения этимологических словарей славянских языков. 58
Ю. В. Кнорозов (Ленинград). Проблема изучения иероглифической письменности майя. 73

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Некоторые новые данные о русских народных говорах (По материалам диалектологических атласов). 82
Ф. Т. Жилко (Киев). О некоторых особенностях современного изучения диалектов украинского языка. 93
Ю. Ю. Сенкус (Вильнюс). Исследование литовских диалектов 98
Н. М. Терещенко (Ленинград). К вопросу о взаимоотношении самодийских языков с языками других групп. 101
Е. А. Крейнович (Ленинград). Об изучении юкагирского языка . . . 104
В. И. Лыткин (Рязань). Изучение диалектов коми языка 108

ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ И МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД

Л. Р. Зиндер (Ленинград). Об одном опыте содружества фонетиков с инженерами связи. 111
Н. Д. Андреев (Ленинград). Машинный перевод и проблема языка-посредника. 117

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Д. Е. Михальчи (Москва). О трудах академика В. Ф. Шишмарева . . . 122
Н. А. Катагощина (Москва). Романо-германская филология. Сб. статей в честь академика В. Ф. Шишмарева. 127
Ю. С. Сорокин (Ленинград). Словарь языка Пушкина в четырех томах. Т. I. 130
Л. Р. Зиндер (Ленинград). *Р. И. Аванесов.* Фонетика современного русского литературного языка. 137
К. И. Былинский и Д. Э. Розенталь (Москва). Орфографический словарь русского языка. 141
В. Т. Коломиец и А. С. Мельничук (Киев). *Fr. Trávníček.* Historická mluvnice česká. III. 145
А. Курышжанов (Алма-Ата). *Ш. Ш. Сарыбаев.* Библиографический указатель по казахскому языку. 152

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Л. П. Жуковская (Москва). Юбилей Остромирова евангелия 154
А. П. Колпаков (Сталинабад). Языкознание в Таджикистане. 156
А. А. Коклянова (Москва). Первая Всесоюзная конференция востоковедов 158
Д. Н. Шмелев (Москва). Третье Всесоюзное совещание по древнерусской литературе. 159
И. А. Мельчук (Москва). Совещание по вопросам разработки и построения информационных машин. 161
Хроникальные заметки. 162
О тематическом плане журнала «Вопросы языкознания» на 1958 год 166

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. П. Григорьев* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. И. Ефимов, В. В. Иванов* (и. о. зам. главного редактора), *Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К — 12, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

№ 5 1957

ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

1

Пути развития языкознания в нашей стране после Великой Октябрьской социалистической революции определялись следующими общественно-историческими факторами:

а) утверждением и развитием в нашей стране нового общественного строя — социалистического;

б) многонациональным составом Советского государства и коренными изменениями в нем положения народов, его образующих, и отношений между ними, а в связи с этим — открытием новых путей для культурного развития этих народов;

в) особой культурной ролью русского языка, как языка мировой по значению русской литературы, культуры и науки. Великая Октябрьская социалистическая революция еще более повысила международное и межнациональное значение русского языка, изучение которого стало кровным делом всех народов Советского Союза и все шире распространяется за рубежом.

Развитие языкознания, определяемое этими факторами, протекало в условиях выработки новых — марксистских —основ научного исследования при воздействии: научного наследия, оставшегося от прежнего времени, и развивавшейся по своим путям зарубежной науки о языке. Без осмысления этих социально-исторических причин и условий нельзя понять ни глубокого своеобразия хода развития советского языкознания, ни особенностей его содержания и его нынешнего состояния.

Рост культуры народов Советского Союза с общими для всех них и национально-специфическими чертами, расцвет отечественной науки, распространение всеобщей грамотности и, в связи с этим, расширение в социалистическом обществе сфер употребления как русского, так и иных национальных письменных литературных языков — все это вызвало напряженную деятельность советских языковедов, направленную на углубленное теоретическое и практическое изучение структуры и закономерностей развития самых разнообразных языков больших и малых народов нашей страны. Перед советскими языковедами возникло множество новых лингвистических задач и проблем огромной важности.

2

В многонациональном составе нашего общества к моменту революции были народности, развитие которых в условиях капиталистического строя не привело их к такому социальному и культурному уровню, который был достигнут русским народом и некоторыми другими народами прежней России. Это касалось особенно малых народностей — обитателей севера европейской части России, а также Сибири и Дальнего Востока — в азиатской части. Среди них было много народностей и этнических групп, не имевших своей письменности. Перед Советской страной сразу же встала задача ликвидации бесписьменности у этих народов. Это было необходимо для организации школ, распространения образования, создания печати на

своем языке, развития своей литературы или для усиления процесса повышения культурного развития этих народностей путем усвоения литературных языков окружающих народов.

Это и было сделано. Письменность, приспособленную к своему языку, получили такие не знавшие до этого своей письменности народности, как тунгусы, гольды, самодийцы и др. При этом одной из характерных особенностей указанного процесса явилось то, что работа по выработке такой письменности была проведена совместно — русскими языковедами и представителями этих народностей.

Вскоре же после революции среди народов, пользовавшихся арабским письмом, т. е. среди тюрков — татар, азербайджанцев, казахов, киргизов, узбеков, туркмен, каракалпаков и др., среди горских народов Северного Кавказа, а также среди иранцев-таджиков возникло движение за переход на новую систему письма, основанную на европейской графике. Важнейшими причинами, вызвавшими это движение, были:

а) основное требование культурной революции — необходимость ликвидировать неграмотность, распространенную до революции среди данных народов, и трудность достичь этого в максимально короткий срок при сохранении арабского письма с его консонантным характером, делающим запись арабским алфавитом слов языков с другой структурой неточной и излишне сложной;

б) стремление при всемерном расширении светского образования как можно решительнее оторваться от распространенной у тюркских и иранских народов до революции системы духовного образования, с которой арабское письмо воспринималось неразрывно связанным.

Результатом указанного движения был переход народов, пользовавшихся арабским письмом, на новую систему письма, основанную на европейской графике, в первое время— латинской, в дальнейшем — русской. Примеру этих народов последовали и те народности Советского государства, которые пользовались монгольским письмом.

Таким образом, одним из значительнейших достижений советской лингвистики является создание письменностей почти для 50 языков народов Советского Союза. Многие из этих языков до Великой Октябрьской социалистической революции были бесписьменными (лезгинский, табасаранский, даргинский, абхазский, адыгейский, чукотский, нанайский, коми, хантыйский и мн. др.). Другие языки имели только зачатки письменности. Создана письменность также для ряда языков со старой письменной традицией, графика которых (арабское письмо) не отражала их фонетических особенностей (азербайджанский, узбекский, татарский, таджикский и др.).

Работа по созданию письменности для бесписьменных народов и по выработке новой системы письма для народов, пользовавшихся арабским и монгольским письмом, по необходимости сопровождалась тщательным изучением фонетической системы этих языков, что имело своим результатом самое широкое развитие в нашем языкознании фонетики. Успешность такого развития была обусловлена как введением в орбиту исследования нового обширного материала, так и высоким состоянием в нашей стране фонетической науки, особенно в школе И. А. Бодуэна де Куртенэ, представленной Л. В. Щербой и его многочисленными учениками (проф. Е. Д. Поливановым, проф. Г. С. Ахвледиани, акад. А. П. Баранниковым, проф. Б. А. Ларины м, проф. С. И. Бернштейном и др.). В этой школе были соединены метод аналитический, приводивший к раскрытию всей гаммы произносительно-слуховых элементов языка, и метод синтетический, приводивший к обнаружению или открытию в этой гамме устойчивых, конструктивных социально-значимых звуковых единиц языка — фонем.

Такое направление привело к особому развитию у нас фонологии, перекинувшейся в дальнейшем, особенно под влиянием работ проф. Н. С. Трубецкого, за пределы нашей страны и превратившейся в одну из наиболее мощных отраслей мировой науки о языке. Необходимо также учитывать, что упомянутая работа по установлению письма для бесписьменных народов и по выработке новой системы письма для народов, пользовавшихся арабским и монгольским письмом, также представляла собою ту же фонологию — фонологию в действии. В этой связи нельзя не отметить также значительной роли проф. Н. Ф. Яковлева и проф. Л. И. Жиркова в разработке общих и конкретных проблем фонологии, особенно применительно к звуковым системам языков Кавказа.

С быстрым развитием фонологической теории связаны и практические успехи в деле создания алфавитов, ярко обозначившиеся уже в 20—30-е годы. Исследование Н. Ф. Яковлева «Математическая формула построения алфавита» открыло новый период в развитии у нас фонологии, освободив эту дисциплину от психологизма Бодуэна де Куртенэ и его школы. За Н. Ф. Яковлевым пошли другие московские фонологи (Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, П. С. Кузнецов, А. А. Реформатский). В области фонологии обозначились, правда, пока еще не всегда достаточно резко и определенно, различия между несколькими научными направлениями (ср., например, труды по фонологии проф. Л. Р. Зиндера, проф. С. И. Бернштейна и доц. М. И. Матусевич, с одной стороны, проф. А. И. Смирницкого, с другой, и проф. Г. С. Ахвледиани, с третьей и т. д.).

3

Переход на новую систему письма потребовал от языковедов длительных и сложных усилий по разработке общих приемов передачи на письме звуковой речи и по выработке общезначимых и практически удобных орфографических норм этой передачи. Такая работа естественно слилась с новым изучением слова в разнообразных языках — его границ, его отношения к другим единицам языка, его структурных качеств; последнее привело к широкому изучению словообразовательных элементов.

Развитие школьного и внешкольного образования, сопровождающееся развитием надлежащих представлений о своем языке у огромного числа людей, до того не соприкасавшихся с языкознанием даже в его школьном выражении, повлекло за собою усиленное изучение грамматического строя языков народов Советского Союза. Эта работа дала свои результаты: в настоящее время все народы нашей страны имеют свои собственные школьные грамматики как для общеобразовательной школы, так и для педагогических учебных заведений; советское языкознание имеет научные грамматики также почти всех языков народов Советского Союза. Для многих из этих языков впервые были созданы подробные научные грамматики (например, для башкирского, кумыкского, каракалпакского, аварского, лезгинского, абазинского, коми и др.). Особенно следует отметить появление научных грамматик таких мало изученных языков, как палеоазиатские, тунгусо-маньчжурские, финно-угорские, горские языки Кавказа. За последние семь лет только Институтом языкознания АН СССР составлено более 40 научных грамматик по более чем 30 языкам народов Советского Союза.

Создание грамматик языков народов Советского Союза во многих случаях было осложнено необходимостью предварительно решать вопрос о языковой норме для данного языка, т. е. о выборе диалекта, который лег или мог бы лечь в основу литературного языка. В связи с этим большое развитие получили диалектологические исследования, затронувшие огромное число диалектов и говоров, ранее не входивших в орбиту научного

внимания. С другой стороны, во всем своем общественном и научном значении встал специфический для советского языкознания вопрос о языке нации как исторической категории.

Вопрос о языковой норме, решение которого требовалось для создания грамматик, не сводился, однако, только к определению диалекта, который по своей социальной значимости и диапазону действия естественно становился основой языка нации; установление языковой нормы связано и с вопросом о литературном языке, в некоторых случаях — весьма сложным. На этой почве и возникла специальная отрасль советского языкознания — изучение языковой и исторической природы явления, получившего наименование «литературный язык». Инициатива в развитии практики и теории изучения литературного языка в его истории принадлежала специалистам по русскому языку.

Наличие значительного русского населения во всех национальных республиках Советского Союза при необходимости и для этого населения знать язык коренного населения данной республики привело к созданию грамматик этих языков для русских. В то же время значение русского языка, вызвавшее необходимость знания его населением каждой национальной республики и автономной области, привело к осознанию важности создания грамматик русского языка специально для нерусских народов нашей страны. Сопоставительное изучение различных языков возникло из чисто практических потребностей преподавания, но рост такого изучения показал его научную плодотворность, так что в настоящее время сопоставительное изучение имеет все данные для превращения в одну из важных отраслей лингвистики, объектом которой является не только лингвистическая типология, но и общая проблема строя языка.

4

Наряду с работой по созданию грамматик языков различных народов Советского Союза у нас после Великой Октябрьской социалистической революции широко развернулась работа по составлению словарей.

В первое время составлялись почти исключительно двуязычные словари, где одним из языков был русский. В настоящее время такие словари имеются по языкам почти всех народов Советского Союза, причем — в обоих вариантах: с переводом на русский язык и с переводом с русского языка.

Помимо словарей языков различных народов нашей страны в минувшие десятилетия появилось большое число переводных словарей других языков, в том числе — словари различных восточных языков: арабского, турецкого, персидского, афганского, хинди, китайского, монгольского, корейского, японского. Многие словари этих языков существуют в двух видах — с переводом на русский язык и с переводом на восточный язык. По некоторым языкам имеются различные типы словарей: полные, средние и краткие. Эти словари, выполненные Издательством национальных и иностранных словарей (в некоторых случаях совместно с Институтом востоковедения Академии наук), представляют одно из крупнейших достижений советского языкознания.

В дальнейшем стали создаваться толковые словари национальных языков, и сейчас уже многие из народов нашей страны (например, грузины, армяне, литовцы и др.) имеют достаточно полные словари своих языков. И в этой лингвистической сфере руководящая или инструктивная роль принадлежала русской лексикографической теории и практике, принципы и приемы которой складывались, развивались и продолжают развиваться в процессе подготовки толковых словарей русского языка (разного типа).

Работа по составлению словарей имела двоякое значение.

В ряде случаев двуязычный словарь, где первым языком был язык данного народа, является вообще первым словарем этого языка. Поэтому созданию такого словаря по необходимости должна была предшествовать работа по собиранию лексики, причем в некоторых случаях — главным образом на основе материалов живой, устной речи. В значительной мере так был составлен, например, киргизско-русский словарь К. К. Юдахина. Тем самым подобные словари в сущности впервые обрисовывали действующий словарный состав данного языка. Это обстоятельство придало лексикографической работе особое значение: толковые словари раскрывали словарный состав данного языка — с учетом всей специфики значений. Таким образом, лексикографическая работа соединилась с лексикологической, и дальнейшие лексикологические исследования по таким языкам оказались уже обеспеченными большим и надежным материалом.

Двуязычные словари, в которых вторым или первым языком был русский, имели, помимо своего непосредственного значения, и другое: они представили лексический состав в сопоставлении. Тем самым для лексикологии открылся обширный и разнообразный материал для изучения одного из важнейших явлений, возникающих при сопоставлении языков: проникновения лексики одного языка в лексику другого. Это явление имеет особое значение в условиях теснейшего соприкосновения языков различных национальностей Советского Союза с языком русским. Двуязычные словари наглядно показывают области проникновения, позволяют видеть границы этого явления, понять его общественно-исторические условия и вообще оценить существо проблемы так называемой проницаемости разных сторон системы языка. Чрезвычайно показательным с этой стороны является, например, русско-каракалпакский словарь.

Лексика, собранная в словарях языков различных национальностей Советского Союза, особенно тех народов, среди которых до Октябрьской революции образование и наука были распространены крайне ограниченно, открыла перед исследователями-лексикологами чрезвычайную остроту вопроса о росте словарного состава этих языков, о путях и способах этого роста. Явно обнаружились две тенденции: во-первых, заимствование чужого (в данном случае главным образом русского) слова; во-вторых, создание своего, в последнем случае — как на основе собственного корневого фонда и по своим словообразовательным моделям, так и на основе корней другого языка, в течение долгого времени игравшего для данного языка роль классического литературного языка. Таким языком был, например, для тюркских и иранских народов Советского Союза классический арабский язык, служащий и до сих пор у некоторых тюркских и иранских народов за рубежом нашей страны основой для создания современной экономической, социальной, политической, философской и научной терминологии.

Протекавшая в течение долгого времени в тюркоязычных республиках Советского Союза дискуссия по вопросу о путях пополнения лексики показала связь этого вопроса с общими проблемами идеологии и даже с направлениями текущей политики.

5

Общественно-политическое значение русского языка как языка русского народа, языка великой революции; культурное значение этого языка как языка великой литературы, развитой науки; разветвленное и связанное с давней славистической традицией всестороннее изучение этого языка, высокая научная разработанность вопросов его строя, его

истории — все это обусловило крупнейшую роль науки о русском языке в научном изучении языков других народов Советского Союза.

Научно-исследовательская работа в области русского языка в советскую эпоху приобрела особенно широкий размах. Советские языковеды внесли свой вклад в борьбу за развитие культуры устной и письменной русской речи. Вскоре после победы Великой Октябрьской социалистической революции была проделана огромная работа по внедрению новой орфографии, что сыграло положительную роль в развитии грамотности среди широких народных масс. В 1956 г. были утверждены уточненные и унифицированные «Правила русской орфографии и пунктуации», вышел в свет приспособленный к этим правилам справочный «Орфографический словарь русского языка». Издан также словарь-справочник «Русское литературное произношение и ударение».

В послереволюционные годы сложилась новая лингвистическая дисциплина — история русского литературного языка, синтезирующая данные исторической грамматики и исторической лексикологии, диалектологии, истории литературы и устанавливающая закономерности литературно-языкового развития в связи с общими закономерностями исторического процесса. В досоветскую эпоху конкретные работы по истории русского литературного языка были единичны, а общие очерки, если выходили за пределы описания звукового и морфологического строя, представляли случайный набор языковых фактов (ср. «Очерк истории русского литературного языка» проф. Е. Ф. Будде). Почин в систематической разработке этой новой дисциплины принадлежит трудам акад. В. В. Виноградова, акад. С. П. Обнорского, акад. АН УССР Л. А. Булаховского, проф. Л. П. Якубинского, проф. Г. О. Винокура и других ученых.

Создана двухтомная Академическая грамматика современного русского языка, дающая наиболее полный охват фактического материала и обобщающая достижения русской грамматической науки послереволюционного периода. В многочисленных монографиях, диссертационных работах, статьях получили освещение разнообразные частные вопросы морфологии, синтаксиса и словообразования русского литературного языка в его историческом развитии.

Впервые в истории русской филологии подготовлен и издается большой Академический словарь языка А. С. Пушкина — основоположника нового русского литературного языка. В процессе подготовки словаря Пушкина, а также критического обсуждения первого вышедшего его тома шире раскрылись и теоретические принципы составления такого рода словарей.

Помня завет В. И. Ленина о создании образцовых толковых словарей современного русского языка, советские языковеды развернули большую работу по подготовке словарей разных типов. В последние два десятилетия составлены четырехтомный «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, однотомный «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, вышли из печати 5 томов академического 14-томного «Словаря современного русского литературного языка» и 1-й том нового четырехтомного «Словаря русского языка». Создание словарей русского языка сыграло значительную роль в развитии лексикографии национальных языков СССР.

В течение последнего десятилетия сформировалась новая отрасль науки — лингвистическая география. Создается капитальный труд — атлас русских народных говоров. В обследовании говоров участвуют многочисленные вузы страны. Советскими русистами в значительной мере уже осуществлена продолжающаяся и в настоящее время огромная работа по собиранию диалектологических данных. В практике работы над диа-

лектологическими атласами русского языка оформились не только основные теоретические положения лингвистической географии русского языка [1], но также и методика собирания материалов для атласа путем непосредственных наблюдений [2].

Разработаны принципы и методика составления карт атласа, а также подготовлены к печати статьи о типах карт по фонетике, морфологии, лексике, и, главное, в ближайшее время выходит в свет «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы». В этом атласе на основе определенных данных решается вопрос о возможности составления не только карт-монографий (отражающих целостные, нередко весьма сложные языковые явления), но наряду с этим и карт, устанавливающих границы распространения изолированных фактов, и карт, посвященных частным явлениям на фоне языковой системы в целом.

В настоящее время на картах четырех атласов русского языка запечатлены данные говоров на территории таких областей, как Ленинградская, Новгородская, Псковская, Великолукская, Калининская, Смоленская, Калужская, Московская, Владимирская, Горьковская, Рязанская, Брянская, Орловская, Курская, Белгородская. Тем самым собран и обработан методами лингвистической географии материал, относящийся к говорам на территории древнейшего расселения восточных славян, где формировалась великорусская народность. В связи с этим открывается возможность приступить к созданию коллективной монографии, посвященной истории формирования отдельных групп говоров, а также разработать заново ряд вопросов исторической фонетики и исторической грамматики русского языка. Процессы поздней истории некоторых языковых явлений впервые представляется возможным проследить по основным диалектным группам русского языка. Работа по составлению атласов создает также необходимую основу для построения новой, дифференцированной и более соответствующей историческим фактам классификации русских народных говоров.

6

Тесная связь теории с практикой, составляющая одну из основных черт советской науки, сказалась и на развитии тех областей русского языкознания, которые соприкасаются с литературоведением. Острое внимание к вопросам литературного языка и стиля, характерное для советской литературы первых лет после гражданской войны, способствовало появлению ценных исследований в области поэтического языка. В этот период закладываются основы не только теории и истории литературного языка, но и лингвистической стилистики.

Стремительный рост духовной культуры, выражаясь в изменениях языка, порождает вместе с тем обостренную требовательность и интерес к слову, к произведениям литературного творчества. В эпоху полного обновления жизни общественная роль филологии как науки о языке и литературе, о словесной культуре, а также как метода истолкования литературных произведений становится особенно глубокой и влиятельной.

В советской филологии ярко освещаются такие области исследования, которые до тех пор пребывали если не во мраке, то в некотором тумане.

---

[1] См. вступительные статьи к «Программе собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка» и ряд статей, опубликованных по этой проблеме, особенно в журнале «Вопросы языкознания».

[2] См. «Методические указания к „Программе собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка“», отв. ред. Р. И. Аванесов и В. Г. Орлова, М., 1957.

Понимание и толкование литературного текста — основа филологии и вместе с тем основа исследования духовной, а отчасти и материальной культуры. Путь к достижению полного и адекватного осмысления литературного произведения указывается и определяется тремя родственными филологическими дисциплинами: историей, языкознанием и литературоведением, их гармоническим взаимодействием. Именно на почве этого взаимодействия в советский период укореняется и быстро вырастает новая отрасль русской филологии — история русского литературного языка. Известно, что история русского литературного языка, особенно нового периода, строится преимущественно на материалах языка произведений крупнейших русских писателей. Это естественно. В. И. Ленин определял строй и состав образцового словаря русского языка, как вехами, именами великих русских писателей: Пушкина и Горького.

История русского литературного языка, будучи, по слову акад. А. А. Шахматова, «историей развития русского просвещения», неразрывно связана с историей русской общественной мысли, с историей русской науки, с историей русского словесного искусства.

В изучении языка писателя ближайшим образом заинтересовано и литературоведение. Творчество писателя, его авторская личность, его герои, темы, идеи и образы воплощены в его языке и только в нем и через него могут быть постигнуты. Исследование стиля, поэтики писателя, его мировоззрения невозможно без основательного, тонкого знания его языка. Самый текст сочинений писателя может быть установлен и прочитан правильно только тем, кто хорошо знает или глубоко изучил язык этого писателя.

Русское языкознание досоветского периода было небогато достижениями в области изучения языка писателя, особенно по отношению к XVIII—XIX вв. Даже в тех случаях, когда история русского литературного языка отождествлялась с историей языка крупнейших писателей, выбор иллюстраций из языка отдельных писателей был случаен. Отсутствовало представление о национально-литературной норме, о закономерностях культурно общественного развития в истории языка, о стилистической дифференциации литературно-языковых явлений. На методике изучений языка писателя отразились и своеобразия господства младограмматического направления в области лингвистики. В академической науке этого периода диалектологические интересы почти совсем оттеснили и парализовали влечение к исследованию русского литературного языка в его современном состоянии и в его истории, в его взаимодействиях с языком русской художественной литературы.

Связь между наукой о литературном языке и теорией и практикой литературно-художественного творчества, такая тесная и органическая во времена Белинского, Добролюбова и Чернышевского, связь, поддерживавшаяся и в трудах акад. Я. К. Грота, Ф. И. Буслаева и А. А. Потебни, в начале текущего столетия оказалась почти порванной.

За последние сорок лет положение на данном участке науки резко изменилось. При этом технические достижения дореволюционной филологической науки, озаренные светом марксистско-ленинской методологии, получили новое функциональное обоснование и применение, новую семантическую направленность (ср., например, филологические исследования акад. В. Ф. Шишмарева и многих других советских лингвистов). Путь, пройденный советской филологической наукой за сорок лет в поисках решения основных проблем исследования языка писателя, — путь сложный и трудный, но победоносный, богатый результатами и достижениями.

Наука о русском литературном языке и в особенности тот раздел ее,

который посвящен изучению языка литературных произведений, языка писателя, в советскую эпоху развивались стремительно и разносторонне. Некоторое движение в этом направлении началось в широких общественных кругах еще до Великой Октябрьской социалистической революции.

В первые десятилетия текущего столетия, по словам акад. Л. В. Щербы, в языковедении оживляется интерес к языку как к «деятельности человека, направленной всякий раз к определенной цели, к наилучшему и наиудобнейшему выражению своих мыслей и чувств». И «... в обществе, по крайней мере русском, возродился интерес к языку, совершенно... независимо от языковедения. Прежде всего поэты, для которых язык является материалом, стали более или менее сознательно относиться к нему; вслед за ними пошли молодые историки литературы, которые почувствовали невозможность понимания многих литературных явлений без лингвистического подхода; наконец люди сцены, для которых живой произносимый язык является альфой и омегой их искусства, едва ли не более других посодействовали пробуждению в обществе интереса к языку» [1]. Достаточно указать на замечательные высказывания о сценической речи и о языке писателей, принадлежащие великому нашему режиссеру и теоретику театра Станиславскому и его ученикам (Горчакову, Вахтангову, Топоркову, Кедрову, Бирман и др.). Проблема изучения языка писателя вызвала к жизни и исследованию проблему художественной или поэтической речи.

Приемы и принципы работы по стилистике и по изучению языка русских художников слова на протяжении двух последних десятилетий подвергались сильным изменениям. Это вызывалось как общим отходом от одностороннего увлечения проблемой формы, характерного для 20-х годов, так и расширяющимся знакомством с конкретным материалом истории русского литературного языка и языка русской художественной литературы. Выяснилась необходимость глубокого изучения исторических связей и взаимодействий развития литературного языка и языка художественной литературы.

Во всей широте встал вопрос о создании теоретических основ учения об эстетике слова и о поэтической речи на базе философии марксизма-ленинизма.

Таким образом, наряду с историей русского литературного языка и в живом взаимодействии с нею за советский период быстро и плодотворно развивается наука о языке литературных произведений, о стиле писателя. Задача изучения языка писателя состоит именно в том, чтобы определить способы индивидуально-художественного использования народных языковых волн, законы стилистического построения или строя тех новых словесных произведений, которые с помощью этих волн создаются, а также установить общие и национально-специфические закономерности развития словесно-художественного творчества. Вместе с тем дальнейшее развитие науки о языке писателя на основе марксистско-ленинской методологии должно содействовать дальнейшему подъему и расцвету советской языковой культуры.

7

Роль науки о русском языке проявилась и в серьезнейшем изучении русского языка языковедами других национальностей Советского Союза — изучении, приводившем к стремлению раскрыть явления своего языка путем сопоставления их с аналогичными или близкими явлениями русского языка. Это особенно сказалось в разработке грамматик.

[1] Сб. «Русская речь», вып. 1, Пг., 1923, стр. 9—11.

Такая тенденция привела к двум противоположным результатам:

а) к действительному раскрытию природы многих грамматических явлений различных языков — в тех случаях, когда сопоставляемые явления данного языка и языка русского по своей грамматической природе или по своим функциям действительно оказывались аналогичными или во всяком случае очень близкими, соотносительными;

б) к отходу от понимания подлинной природы некоторых грамматических явлений этих языков — в тех случаях, когда предположенная аналогичность или близость — принципиальная или функциональная — явлений двух языков оказалась необоснованной или искусственной.

Сопоставление грамматического строя русского языка — языка определенной структуры — с грамматическим строем других языков — языков иной структуры — привело к оживлению внимания исследователей этих языков к исконной грамматической традиции, сложившейся в истории языкознания у этих народов в прошлом. Внимание к указанной традиции приводит к восстановлению ряда оценок, характерных для традиции, и — в связи с этим — к действительно адекватному раскрытию природы многих языковых явлений, характерных для данных языков.

Одной из ступеней на этом пути была существовавшая одно время в советском языкознании тенденция к изучению явлений «схождения» и «расхождения» между языками. Изучение языков в таком плане, особенно при влиянии ложных, унифицирующих и искажающих специфические отличия национальных языков предпосылок «теории Н. Я. Марра», конечно, тогда могло привести и действительно привело лишь к крайне ограниченным и неполноценным результатам, почему эта тенденция и не получила развития; но она сослужила свою службу на подступах к изучению строя языка как специфической системы с учетом исторически сложившейся в рамках этой системы грамматической традиции. В настоящее время стремление учитывать традицию старой арабской филологии наблюдается в некоторых грамматиках тюркских языков, создаваемых языковедами тюркоязычных республик Советского Союза.

Так перед советским языкознанием в области грамматической науки встала задача, прямо противоположная идее универсальной философско-логической грамматики старого типа: задача раскрытия грамматического строя языков разных структур строго в рамках этих структур в соответствии со спецификой каждой структуры. Такой путь может создать действительно прочную основу для выяснения и установления общеязыковых закономерностей, в частности — для выяснения так называемых внутренних законов развития языка — их природы, сферы и границ их действия, их исторической судьбы.

8

Советскими востоковедами много было сделано в 20-х годах для сравнительно-исторического языкознания (ср. работы акад. А. Н. Самойловича, проф. Н. К. Дмитриева, акад. В. А. Гордлевского и проф. С. Е. Малова по тюркским языкам, основополагающие исследования акад. Б. Я. Владимирцова по сравнительной грамматике монгольских языков и т. п.). В первые десятилетия после Великой Октябрьской социалистической революции продолжали успешно развиваться те области славистики, которые имели длительную и славную традицию, связанную с русской школой сравнительно-исторического языкознания (ср. труды А. М. Селищева, Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинского и многих других советских лингвистов). Увлечение идеями скрещивания языков, наблюдающееся в работах ряда советских языковедов (Л. В. Щербы, Е. Д. Поливанова и др.), в этот период не препятствовало развитию сравнительного языкознания, а способствовало

более глубокому изучению проблемы языкового родства с точки зрения социологического языкознания (ср. взгляды на родство языков у Н. С. Трубецкого и В. Пизани). В последующий период развитие сравнительного языкознания было в значительной степени приостановлено. Однако и в 40-е годы отдельные интересные результаты в области сравнительного языкознания встречаются даже в трудах лингвистов марровского направления, использующих сравнительный метод, но широко сочетающих его с исследованием скрещивания языков (В. И. Абаев) и с типологическими исследованиями (С. Д. Кацнельсон, А. В. Десницкая). Применение типологических сопоставлений для доказательства сравнительно-исторических гипотез все шире используется за последние десятилетия и в зарубежной науке. Очень любопытна тождественность результатов, полученных независимо друг от друга Э. Бенвенистом и С. Д. Кацнельсоном благодаря сравнительно-историческому и типологическому изучению индоевропейских суффиксов порядковых числительных и суффиксов степеней сравнения. Следует отметить, что актуальность применения типологических сопоставлений в сравнительном языкознании признается большинством современных лингвистов: этому вопросу был посвящен особый доклад на Международном лингвистическом конгрессе в Осло в текущем году.

После лингвистической дискуссии 1950 г., после выхода в свет работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» наметилось некоторое оживление в области сравнительно-исторического исследования родственных языков. Появилось несколько ученых монографий и статей по славянскому сравнительному языкознанию (см. особенно труды акад. АН УССР Л. А. Булаховского по славянской акцентологии, ряд исследований по вопросам глагольного вида и времени и т. п.). Ценный материал для балтийского языкознания содержится в последней монографии чл.-корр. АН СССР Я. М. Эндзелина по латышской топонимике. Возрос интерес к изучению таких языков, как клинописный хеттский (труды проф. Г. А. Капанцяна, Г. В. Гамкрелидзе и др.), тохарский.

Развертывается работа по этимологии и сравнительно-исторической лексикологии индоевропейских языков (иранских, славянских, германских). Обсуждаются проблемы сравнительно-исторического синтаксиса применительно к разным семьям языков. Углубилась и расширилась сфера сравнительно-исторического исследования финно-угорских языков после важных по значению и широких по охвату трудов Д. В. Бубриха [ср. его очерки исторических грамматик удмуртского, эрзянского, финского (суоми) языков]. Все более усиливается подготовка к созданию сравнительно-исторической лексикологии и грамматики тюркских языков. Возрастает интенсивность изучения в сравнительном плане монгольских языков (см., например, «Сравнительно-историческую грамматику монгольских языков» проф. Г. Д. Санжеева). Исследуются в сравнительно-историческом плане картвельские языки, и созданы предпосылки для создания их сравнительно-исторической грамматики. Успешно ведется сравнительное изучение других групп кавказских языков.

Таким образом, хотя после лингвистической дискуссии 1950 г. еще не достигнуто очень значительных и во всяком случае желаемых результатов в сфере сравнительно-исторической лингвистики, но наметился явный и очень резкий перелом в отношении к этому важному направлению. Естественно, что описательное изучение языков, углубленное новыми методическими приемами и теоретическими принципами, у нас преобладает.

Для такого рода исследований после Великой Октябрьской революции были подготовлены научно-лингвистические кадры из среды всех народ-

ностей СССР. В союзных и автономных республиках возникли новые научно-лингвистические центры (Тбилиси, Ереван, Баку, Ташкент, Алма-Ата, Якутск, Махачкала, Сыктывкар и др.).

9

Характерной чертой советского языкознания является глубокая и тесная связь его с другими науками, конечно, прежде всего — с общественными, но отчасти и с науками математического, естественно-научного и технического циклов. Советское языкознание не обособляется от филологии в широком смысле этого слова, но опирается на все достижения филологии и само содействует им. Связь с марксистским литературоведением особенно наглядно наблюдается в исследованиях по истории литературного языка, по стилистике языка художественной литературы и народно-поэтического творчества. В общем понимании закономерностей исторического процесса языкового движения и в конкретных изучениях историй отдельных языков советское языкознание пользуется в качестве своей базы марксистской теорией исторического развития общественных явлений и, следовательно, неразрывно связано с историей и марксистско-ленинской социологией, с археологией и этнографией.

Одной из проблем, постоянно стоявших в центре внимания советских лингвистов, является вопрос о связи языка и мышления. Применительно к древнейшему периоду эту проблему пробовал решить акад. Н. Я. Марр, использовавший наблюдения Кассирера, Леви Брюля и других зарубежных этнографов и лингвистов. В том же направлении шло исследование этой проблемы в работах В. И. Абаева. В исследованиях А. П. Рифтина и С. Д. Кацнельсона сказывается заметное влияние книги А. Соммерфельта «Язык и общество». Спорность, а нередко и ошибочность этих теорий, касавшихся главным образом архаичных периодов развития языка и мышления, очевидна. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены прежде всего по линии собирания новых этнографических и лингвистических данных, относящихся к племенам, наименее развитым в социально-экономическом и культурном отношениях. Вместе с тем необходимо признать совершенно неоправданными поспешные обобщения, сделанные на основании этих наблюдений и перенесенные на языки, развивавшиеся в других исторических условиях.

Для решения вопроса о связи языка и мышления много сделали советские психологи, работавшие в тесном контакте с лингвистами. Большую роль в 30—40-е годы сыграла работа Л. С. Выготского «Мышление и речь», переизданная в 1956 г. Следует отметить также соприкасавшиеся с проблемами языкознания исследования проф. С. Л. Рубинштейна и проф. А. Р. Лурия (например, изданное в минувшем году исследование А. Р. Лурия о развитии речи у близнецов, труд о травматических афазиях и статья о графических афазиях). Ценность экспериментальных работ этого рода свидетельствует о плодотворности сотрудничества лингвистов с представителями других наук (ср. опыт работы Щербы в области языка глухонемых).

В связи с вопросом о сотрудничестве лингвистов с представителями других наук и в связи с проблемой прикладной лингвистики следует отметить значение давно уже установленного контакта фонетистов — учеников Щербы с работниками связи (см. статью Л. Р. Зиндера в данном номере журнала). Благодаря этому контакту был выполнен ряд исследований по лингвистической статистике. Развитие математической лингвистики в нашей стране за последние годы было связано с работой над машинным переводом и над информационными машинами. Впрочем здесь мы стоим лишь на пороге самостоятельных исследований как конкретного, так и теоретического характера.

10

Напряженная и разносторонняя деятельность советских языковедов протекала в сложной и противоречивой обстановке действия двух методологических систем. Одна из этих систем — важнейшая — шла из марксизма как общей методологии общественных наук; вторая— из различных методологических направлений, проникших в наше языкознание из других философских систем. В первое время после революции наиболее влиятельными из этих направлений были: психологическое (идущее от школы Бодуэна де Куртенэ), социологическое (идущее от школы Соссюра и Мейе) и эстетическое (идущее отчасти от разветвлений потебнианства, отчасти от эстетики символизма и футуризма, отчасти от школы Б. Кроче).

Основной чертой лингвистических исследований послеоктябрьского времени является обостренное внимание к проблеме «Язык и общество» (ср. статьи и книги Р. О. Шор, М. Н. Петерсона, Е. Д. Поливанова, работы Н. Я. Марра и его школы и др.). В постановке и решении проблемы речевого общения лингвистические труды этого времени предвосхищают тот интерес к вопросам языковой коммуникации, который в зарубежной науке возникает лишь в самые последние годы — в связи с развитием теории информации [1].

Главные усилия советских языковедов —из числа тех, кто видел ограниченность старых направлений, сосредоточились на выработке таких общих положений науки о языке, которые могли бы с наибольшей полнотой выявить существо языка и природу языковых явлений. Опору в этой работе советские языковеды стали видеть в марксистском положении о материальной основе общественного бытия и в положении о борьбе классов, как содержании и движущей силе исторического процесса в период классового общества.

На этой основе сформулировались две важнейшие линии советского материалистического языкознания первых десятилетий после революции: изучение языка в связи с материальной культурой и изучение языка в аспекте классовой борьбы. Обе указанные линии наиболее отчетливое выражение получили в работах Н. Я. Марра и его последователей. В этих работах проявилось и то успешное и плодотворное, что такие направления исследования могли дать, и то ошибочное и искусственное, что они с собою несли.

Изучение языка в тесной связи с материальной культурой сильнейшим образом повысило значение данных языка для раскрытия истории материальной культуры древнейших эпох жизни человечества и позволило с гораздо большей полнотой и ясностью оценить памятники этой культуры.

В связи с этим возникшая еще в рамках сравнительно-исторического изучения существующих и исторически прослеживаемых языков гипотеза особой языковой семьи — яфетической — переросла в концепцию о яфетической стадии в истории развития языков вообще, а в дальнейшем — в антиисторическое учение о стадиальном развитии языков вообще. Такой поворот имел некоторые положительные и — в большей степени — отрицательные следствия.

Положительным следствием было чрезвычайное расширение орбиты изучаемых языков, включение в нее древнейших языков Передней Азии. Плодотворность такого включения выявилась в последующей истории языкознания — в обращении многих ученых, шедших по своим путям, к изучению древних языков Закавказья и Передней Азии (в работах акад.

[1] В этом отношении представляет интерес высокая оценка таких исследований, как труд Л. П. Якубинского о диалогической речи, в монографии Дж. Спринджера, изданной Массачусетским технологическим институтом (G. P. Spri nger, Early Soviet theories in communication, Cambridge, Mass., 1956).

И. И. Мещанинова, чл.-корр. АН СССР Г. В. Церетели) в их сопоставлении, что уже привело к большим научным результатам (ср. также описательную грамматику урартского языка Г. А. Меликишвили).

Отрицательным следствием было создание на основе учения о стадиях концепции единства глоттогонического процесса, приведшей к антиисторическому, произвольному сближению фактов отдельных языков — как в действующем состоянии этих языков, так и в их прошлом — без опоры на реальный исторический материал, с игнорированием конкретной исторической этимологии. Это привело к ошибочным толкованиям многих важных фактов, к множеству ложных и мнимых «обобщений» и толкало языковедов на путь абстрактных построений.

Изучение языков в аспекте борьбы классов чрезвычайно повысило внимание к фактам языка, отражавшим общественную жизнь, позволило с большей полнотой и конкретностью понять социальную природу языка. На этой почве возникшее еще раньше и развивавшееся по своим путям в зарубежном языкознании социологическое направление у нас вылилось в ошибочную концепцию языка как надстроечной категории.

Положительным следствием развития социологического исследования языка было расширение круга языковых фактов, изучаемых в социальном аспекте. Плодотворность такого расширения выявилась: а) в более отчетливом определении разных типов социальных диалектов; б) в постановке вопроса об общем языке в условиях действия широко развитых местных диалектов; в) в приходе к новому—строго историческому—пониманию явления, именуемого национальным языком, пониманию, приведшему в дальнейшем к гипотезе о движении языка от состояния, характерного для языка племени, к состоянию, характерному для языка народности, и в дальнейшем — к языку нации; г) в новой — исторической — трактовке явления, именуемого «литературным языком», и в расширении его проблематики.

Отрицательным следствием отношения к языку как надстроечной категории было создание концепции классового характера языка. Эта концепция привела к стремлению оценивать явления языка в том же аспекте, как и явления, характеризующие правовые, политические, этические, эстетические и философские системы. Те же явления борьбы различных идеологических концепций, какие наблюдаются в праве, политике, этике, эстетике и философии, стали искать непосредственно в самом языковом материале как таковом. Это приводило к искусственному толкованию ряда языковых фактов и отвлекало языковедов от понимания природы языка как общественного явления, не входящего ни в базис, ни в надстройку. Сложилось искаженное понимание семантического развития языка, семантика языка смешивалась с идеологией, мышление — с мировоззрением.

В дискуссии 1950 г. по вопросам марксизма в языкознании И. В. Сталин убедительно показал неправильность концепции языка как надстроечной категории. С тех пор понимание языка как общественного явления sui generis вместе с положением о языке как практическом действенном сознании и с положением о языке как орудии развития и борьбы и стали основными теоретическими и методологическими принципами советского языкознания. Первое положение определяет пути изучения природы языка и его функций, второе — пути изучения соотношения языка и мышления, а также языка как средства выражения, третье — пути изучения конкретной истории языков.

Теоретические и методологические основы советского языкознания сделали его особым направлением в составе мировой науки о языке и определили своеобразие его содержания. Поэтому всякое сопоставление

советского языкознания с другими направлениями мировой лингвистической мысли не может производиться без учета различия в принципиальных и методологических основах лингвистического исследования. Такое сопоставление не может производиться и без учета конкретной истории языкознания в нашей стране за последнее полустолетие. Эта история поучительна и знаменательна сама по себе: она наглядно — на живом опыте науки в огромной стране — показывает, как тесно само направление лингвистической мысли, стимулирующее выход на первый план тех или иных конкретных задач, было связано с историей советского общества — многонационального по своему составу, общества, строящего социализм; какое первостепенно важное значение имел развертывавшийся в самой конкретной лингвистической работе и сопутствовавший ей сложный и трудный, но совершенно необходимый процесс выработки новых теоретических и методологических основ самой науки о языке.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

Ю. Д. ДЕШЕРИЕВ

РАЗВИТИЕ МЛАДОПИСЬМЕННЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

Великая Октябрьская социалистическая революция явилась величайшим событием в жизни многочисленных (более 120) наций, народностей и этнических групп бывшей царской России. С первых же дней своего существования Советская власть провозгласила политику равноправия всех народов России. Научные основы этой национальной политики были разработаны основателем Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства великим Лениным. Ленинское учение о национальной политике было положено в основу «Декларации прав народов России», провозглашенной Советской властью еще в первые дни победы великого Октября.

На состоявшемся в марте 1921 г. X съезде Коммунистической партии была намечена грандиозная программа мероприятий в области ленинской национальной политики, причем особое внимание уделялось роли родного языка в просвещении народных масс. В резолюции съезда особо подчеркивалось: «... Задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь им: а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на родном языке; г) поставить и развить широкую сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и профессионально-технического характера на родном языке... для ускоренной подготовки местных кадров квалифицированных рабочих и советско-партийных работников по всем областям управления и прежде всего в области просвещения» [1]. В свете этих директивных указаний партии была развернута практическая работа по просвещению народов СССР.

*

Как известно, в дореволюционной России существовали: 1) народы, имевшие письменность на основе русской графики (русские, украинцы и др.); 2) народы с письменностью на основе латинской графики (поляки, литовцы, латыши, эстонцы, финны); 3) народы с письменностью на основе арабской графики (узбеки, азербайджанцы, казахи и др.); 4) народы с письменностью на ламаистской основе (буряты, калмыки); 5) народности с письменностью на основе древнееврейской графики; 6) народы с другими видами письменности (армяне, грузины); 7) народности, имевшие зачатки письменности на основе русской, арабской или какой-либо дру-

[1] «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. I. 1898—1924», 7-е изд., Госполитиздат, 1954, стр. 559.

гой графики; 8) большое количество народностей, не имевших никакой письменности.

Само собой разумеется, что сплошь неграмотными были бесписьменные народности. Сплошная неграмотность охватывала значительную часть бывшей Российской империи, так как многие народности, входившие в ее состав, были лишены права иметь школу с преподаванием на родном языке. Показательны следующие данные за 1912 г. В Самаркандской области из 74.569 детей коренного населения обучалось в школе лишь 635 чел. (0,9%), в Ферганской области из 165 910 детей — только 805 чел. (0,5%); 98,5% населения Азербайджана было неграмотно.

Без просвещения народов, без ликвидации неграмотности нечего было и думать о культурной революции в нашей стране. В первые же годы после победы Великого Октября Коммунистическая партия и Советское правительство выдвинули как неотложную задачу создание письменности на родном языке для народов, ее не имевших.

Тогда же широкое распространение получила идея создания письменности для бесписьменных народностей СССР на латинской основе и перевода на латинскую основу письменности народов, имевших ее на иных графических основах. Под влиянием движения за латинизацию и унификацию письменностей народов СССР некоторые угро-финские, тюркские народности заменили свои алфавиты, созданные на русской графической основе, латинскими.

В 1923—1924 гг. проводится большая работа по составлению алфавитов на латинской основе для татар, башкир, казахов, туркмен, азербайджанцев и других народностей. В 1925 г. на второй конференции по просвещению горских народов Северного Кавказа было принято решение о латинизации письменности ингушей, кабардинцев, карачаевцев, адыгейцев, чеченцев.

В феврале 1926 г. в Баку состоялся I Всесоюзный тюркологический съезд, посвященный вопросам латинизации письменности тюркоязычных народов. В работе съезда приняли участие представители горских кавказских и иранских народов. На этом съезде был создан Центральный Комитет нового тюркского алфавита (ЦК НТА), который позднее был переименован во Всесоюзный ЦК нового алфавита (ВЦК НА).

В 1931—1932 гг. были разработаны проекты алфавитов на латинской основе для 13 языков народностей Севера [ненецкого, юрако-самоедского, селькупского (остяко-самоедского), кетского (енисейско-остяцкого), эвенкийского (тунгусского), эвенского (ламутского), нанайского (гольдского), удэйского, чукотского, корякского, нивхского (гиляцкого), эскимосского, алеутского и ительменского], ряда угро-финских народов [саамского (лопарского), мансийского (вогульского), хантыйского (остяцкого), вепсского, коми, удмуртского и др.], ираноязычных народностей (талышей, татов, курдов и др.), горских кавказских народов (табасаранцев, абазинцев).

На определенном этапе развития письменности народов СССР латинизированный алфавит сыграл положительную роль. Обладая рядом преимуществ перед арабским, он помог освободиться от сложных и трудных для широкого употребления алфавитов и явился переходным этапом к более целесообразному и более необходимому для народов СССР русскому алфавиту.

Переход на русскую графическую основу был необходим для народов СССР по ряду причин. Учитывались политические, экономические, культурные связи между русским и другими народами СССР, их сотрудничество, огромная братская помощь русского народа всем нациям и народностям страны. Кроме того, значительная часть нерусского населения

Советского Союза в той или иной мере владеет русским языком, давно уже ставшим международным языком общения в СССР. Широкие круги представителей многочисленных народов СССР понимали поэтому преимущества русского письма для народов Советского Союза по сравнению с арабской или латинской графикой.

Некоторые из народов СССР, имевших уже в течение длительного времени письменность на основе латинской графики (литовцы, латыши, эстонцы), сохранили свою традиционную графику. Сохранили письменность на основе своей древней традиционной графики также армяне и грузины. Большинство же народов СССР в настоящее время приняли письменность на русской графической основе.

В процессе перехода на русскую графику были устранены некоторые ошибки, допущенные в период латинизации. Выявилась бесполезность попыток создать письменность для некоторых этнических групп, которые в силу своей крайней малочисленности, а также невозможности для них общаться с внешним миром на их родном языке были двуязычными и впоследствии предпочли пользоваться письменностью на втором языке. Отдельные малочисленные народности Дагестана, например, андийцы, дидойцы и др., теперь пользуются письменностью на аварском языке, будухцы, крызы и хиналугцы — на азербайджанском, который стал их вторым родным языком.

Письменность на русской графической основе создавалась с учетом процесса нивелировки диалектов, консолидации близкородственных этнических групп, племен и народностей, с учетом конкретных перспектив развития отдельных младописьменных языков. Если малочисленная народность не двуязычна и ее представители не знают другого языка, кроме своего родного, то в этом случае для данной народности, несмотря на ее малочисленность, создавалась письменность (например, для некоторых крайне малочисленных народов Севера).

Прежде чем создать письменность для бесписьменных народов, советским языковедам пришлось провести большую предварительную работу по выяснению особенностей фонетической системы, грамматического строя и словарного состава этих языков. В выполнении указанной сложной задачи в начальный период главную роль сыграли русские ученые. Приспособление русского алфавита к фонетическим системам языков СССР было связано с рядом трудностей. В русском алфавите 33 знака (буквы). Между тем во многих языках народов СССР существует значительное количество специфических звуков помимо тех, которые более или менее соответствуют звукам (фонемам) русского литературного языка. Изучение особенностей звукового состава, например, лезгинского языка показало, что в этом типичном кавказском языке имеется до 70 фонем, многие из которых являются специфическими (смычногортанные, велярные, фарингальные и т. д.). Аналогичные примеры можно было бы привести и из языков, относящихся к другим языковым группам.

Стало ясно, что при создании алфавитов для многих языков на основе русской графики не удастся, не выходя за рамки русского алфавита, соблюсти идеальный принцип: каждому особому звуку (фонеме) особый знак. Трудно найти звуки в разных языках, которые абсолютно совпадают по артикуляции, по количеству и качеству. Поэтому сходные по основным признакам звуки во многих языках выражаются одними и теми же буквами. Так, русской буквой *а* в различных языках Советского Союза обозначается гласный звук нижнего подъема, независимо от его артикуляционных особенностей в этих языках. Также и буква *к* используется в разных языках для выражения смычного глухого звука нёбного образования с различными дополнительными признаками.

Нужно было найти обозначение для ряда специфических звуков, отсутствующих в русском языке. Для этого существовало несколько возможностей — применить или особые сочетания русских букв, или дополнительные, диакритические знаки, или же, наконец, включить в русский алфавит новые буквы. Различные народы по-разному использовали эти приемы. Составители алфавитов для языков горских кавказских народов заднемягконебный смычный надгортанный звук в ряде языков обозначали сочетанием буквы *к* с твердым знаком *ъ* (*къ*), звонкую фрикативную фонему — сочетанием буквы *г* с мягким знаком *ь* (*гь*). Долгие геминированные (усиленные) согласные были выражены удвоением соответствующих русских букв *кк*, *тт* и т. д. Кроме того, в алфавиты младописьменных языков горских народов Дагестана и Северного Кавказа включен дополнительно один знак — римская единица (I). Сочетания ее с соответствующей русской буквой обозначают специфические надгортанные звуки: *кI*, *чI* и т. д. Напротив, в узбекском алфавите, например, сочетание букв не допускается. Для обозначения специфических звуков, встречающихся в их языке, узбеки использовали, с одной стороны, диакритические знаки и, с другой, изменили графические особенности ряда русских букв.

В некоторых алфавитах встречаются сочетания двух, трех и даже, в порядке исключения, четырех букв-знаков (например, в адыгейском, кабардино-черкесском). Обозначение одной фонемы сочетанием нескольких букв-знаков, конечно, в известной мере является недостатком алфавита. В алфавитах младописьменных народов обнаруживаются и некоторые другие недочеты: один и тот же звук даже в близкородственных языках обозначается по-разному. Этот недостаток особенно чувствуется при анализе алфавитов кавказских и тюркских народов. Поэтому не раз делались предложения по унификации алфавитов близкородственных языков [1].

В период создания письменности нужно было решить вопрос о диалектной базе отдельных языков, особенно таких, у которых имеются сильно различающиеся диалекты.

Как известно, диалектные базы старописьменных языков складывались исторически отчасти стихийно. В далекие времена возникновения письменности у русских, французов, англичан, немцев нормы литературных языков, вытеснявшие диалектальные особенности из речи образованных людей, формировались постепенно — десятилетиями, веками.

Иначе совершался процесс создания письменности для многих языков СССР. Здесь все подчинялось основной задаче — всеми средствами способствовать завершению в стране в кратчайший срок культурной революции: ликвидации неграмотности, быстрейшему повышению политического, технического, общеобразовательного и культурного уровня всего народа.

Поэтому при определении диалектной базы того или иного языка надо было учитывать три наиболее важных момента: 1) представляют ли носители данного диалекта большинство народа, для которого создается письменность; 2) занимают ли представители данного диалекта передовое место в экономической, политической и культурной жизни младописьменного народа; 3) отражают ли фонетическая система, грамматический строй и словарный состав этого диалекта основные особенности общенародного разговорного языка.

В основу младописьменного лезгинского литературного языка, например, положен наиболее распространенный гюнейский диалект, на

---

[1] См., например, статью А. К. Боровкова «К вопросу об унификации тюркских алфавитов в СССР» («Сов. востоковедение», 1956, № 4).

котором говорит подавляющее большинство лезгинского населения, живущего в более передовых, экономически и культурно развитых районах. Осетинский язык имеет два сильно отличающихся друг от друга диалекта — дигорский и иронский, но большинство осетинского народа говорит на иронском. Последний поэтому и положен в основу осетинского литературного языка. Якутский литературный язык сформировался на базе говоров центральных районов Якутии, на которых говорит значительная часть якутского народа.

Переход на русскую графику устранил алфавитный разнобой в национальных школах, помог лучшему усвоению русского и родного языков, упростил и улучшил разработку орфографий, а также общественно-политической и научно-технической терминологии, в значительной степени заимствуемой из русского языка.

Письменность, созданная для ранее бесписьменных языков, явилась мощным орудием в руках Советской власти для наиболее быстрого приобщения ранее отсталых народностей к современной передовой социалистической культуре, к достижениям науки, техники, искусства, к овладению сокровищницей человеческих знаний. Около 50 национальностей СССР впервые за всю историю своего развития получили письменность на родном языке. Кроме того, некоторые языки, имевшие еще до революции зачатки письменности, только в советскую эпоху стали подлинно литературными языками.

Для народов, получивших свою письменность, была создана сеть начальных и средних школ, а затем и высших учебных заведений, была налажена подготовка кадров для государственных учреждений на родном языке, подготовка работников науки, искусства, техники. Государство организовало разработку и издание большими тиражами сотен учебников на языках народностей, впервые получивших свою письменность, издание переводной литературы, выпуск газет и журналов. Советская страна в короткий срок создала для новых школ многочисленные кадры педагогов. Результаты не замедлили сказаться. За годы первых трех-четырех пятилеток в СССР совершилась культурная революция. Советский Союз стал страной сплошной грамотности.

*

Значителен вклад советских языковедов в описательное (статическое) изучение младописьменных и бесписьменных языков. За годы Советской власти изучен фонемный состав всех младописьменных и почти всех бесписьменных языков народов СССР. Больше внимания стали уделять углубленной разработке отдельных вопросов фонетики многих литературных языков, а также некоторых бесписьменных языков; при этом использовались приемы экспериментальной фонетики. В лаборатории экспериментальной фонетики Ленинградского университета под общим руководством акад. Л. В. Щербы была проведена работа по изучению фонетики нивхского, эвенского, удэйского, эвенкийского, чукотского, корякского, эскимосского, мансийского, хантыйского языков [1]. Языковеды Грузии провели ценную работу по экспериментальному изучению фонетики осетинского языка и ряда горских кавказских языков [2]. В последние годы молодые исследователи языков народов СССР также проявляют интерес к проблемам экспериментальной фонетики. В этом отношении заслуживает внимания кандидатская диссертация У. Ш. Байчуры, где в свете

[1] См. об этом Л. Р. Зиндер, Экспериментальное изучение фонетики северных языков, ИАН ОЛЯ, 1948, вып. 6, стр. 579—581.

[2] Г. Ахвледиани, Основы общей фонетики, Тбилиси, 1949, [на груз. яз.].

экспериментальных данных рассматриваются гласные татарского литературного языка [1].

После Великой Октябрьской революции были созданы школьные грамматики всех младописьменных языков. В них был собран обильный фактический материал по младописьменным языкам, впервые ставший достоянием науки, описан ряд важнейших специфических черт этих языков. Основным недостатком школьных грамматик являлось то, что они иногда составлялись по образцам старописьменных — русского и других — языков без должного учета специфики описываемого языка. Следует подчеркнуть, что этот недостаток в полной мере еще не изжит составителями школьных грамматик младописьменных языков и в настоящее время.

В 30-е, 40-е и 50-е гг. советскими языковедами были созданы научные грамматики разных типов по ряду младописьменных и бесписьменных языков. Своеобразными чертами отличались написанные Л. И. Жирковым в 20-х и 30-х гг. «Грамматика аварского языка» и «Грамматика лезгинского языка» [2]. Основная часть этих работ посвящена описанию морфологической системы соответствующего языка; давалась также краткая характеристика фонемного состава языка. Синтаксические же явления рассматривались только в связи с характеристикой морфологических категорий, поэтому особый раздел синтаксиса отсутствует. Положительными чертами грамматик Л. И. Жиркова являлись строго продуманная систематизация морфологических фактов и выявление наиболее важных особенностей описываемых языков. Созданный после лингвистической дискуссии 1950 г. труд Л. И. Жиркова «Лакский язык», посвященный углубленному анализу фонетики и морфологии этого языка, выгодно отличается от его предыдущих работ и является шагом вперед в теоретическом осмыслении своеобразия морфологической системы дагестанских языков.

Большое научное значение имеют «Грамматика кумыкского языка» и «Грамматика башкирского языка» Н. К. Дмитриева [3], получившие высокую оценку тюркологов. Из них особенно значительна «Грамматика башкирского языка», где дается более развернутая характеристика фонетической системы и грамматического строя описываемого языка, чем в «Грамматике кумыкского языка». На материале башкирского языка автор изложил также свои теоретические взгляды на отдельные проблемы грамматики тюркских языков.

Совершенно иного типа грамматики были созданы Н. Ф. Яковлевым по адыгским языкам [4]. Автор неправомерно расширил понятие «грамматика»: его грамматические работы по указанным языкам включают в себя не только фонетику, морфологию и синтаксис, но также лексику и семантику. Кроме того, придавая методологическое значение расположению разделов грамматики, автор выдвигал на первое место синтаксис. В рассматриваемых работах Н. Ф. Яковлев излагал свои теоретические взгляды не только по проблемам исследования адыгских языков, но и по общим лингвистическим вопросам. Обе грамматики Н. Ф. Яковлева представляют собой большой интерес с точки зрения привлеченного в них автором нового фактического материала и тонкого анализа ряда специфичных

[1] У Ш. Байчура, Гласные татарского литературного языка в свете экспериментальных данных. Автореф. канд. диссерт., М.—Л., 1953.

[2] Л. [И.] Жирков, Грамматика аварского языка, М., 1924; его же, Грамматика лезгинского языка, Махачкала, 1941.

[3] Н. К. Дмитриев, Грамматика кумыкского языка, М.—Л., 1940; его же, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948.

[4] Н. Яковлев, Д. Ашхамаф, Грамматика адыгейского литературного языка, М.—Л., 1941; Н. Ф. Яковлев, Грамматика литературного кабардино-черкесского языка, М.—Л., 1948.

для адыгских языков фонетических, морфологических и синтаксических явлений.

Из грамматик по другим младописьменным и бесписьменным языкам, написанных, в основном, в традиционном плане, заслуживают внимания «Грамматика литературного коми языка» Д. В. Бубриха, «Современный коми язык» под редакцией В. И. Лыткина, «Грамматика бурят-монгольского языка» Г. Д. Санжеева, «Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка» В. И. Цинциус, «Грамматика даргинского языка» С. А. Абдуллаева, «Очерк грамматики ненецкого языка» Н. М. Терещенко, «Ингушская грамматика» З. К. Мальсагова[1] и мн. др.

Целый ряд крупных исследований был создан советскими языковедами по синтаксису младописьменных языков — якутского, аварского, лезгинского, чеченского, нанайского, чукотского, тунгусо-маньчжурских и маньчжурского в частности, мордовских[2] и др. В этих трудах синтаксические вопросы рассматриваются в разных планах и с различных точек зрения: в исследовании Е. И. Убрятовой, например, дается развернутый статический анализ синтаксической системы якутского языка, Б. К. Пашков же ограничивается рассмотрением простого предложения в маньчжурском языке. Синтаксические работы Н. Ф. Яковлева, В. А. Аврорина, П. Я. Скорика, О. П. Суника, не свободные от некоторых ошибочных положений так называемого «нового учения» о языке Н. Я. Марра, ценны сделанными в них попытками по-новому осветить отдельные общие проблемы синтаксиса на материале исследуемых языков.

Во всех этих трудах содержится огромный, совершенно новый фактический материал, впервые подвергнутый детальному научному анализу. В них выдвинут ряд ценных теоретических положений, представляющих интерес для изучения синтаксического строя языков разных систем. Рассматриваемые труды оказали большую помощь национальной школе. Отдельным вопросам синтаксиса младописьменных и бесписьменных языков посвящено также большое количество статей, кандидатских диссертаций.

В 40-х и 50-х гг. стали появляться крупные монографии, в которых основное внимание уделяется разработке отдельных проблем грамматического строя младописьменных языков. К числу таких работ относятся труды Н. А. Баскакова, Л. Н. Харитонова[3] и др. В исследовании Н. А. Баска-

---

[1] Д. В. Бубрих, Грамматика литературного коми языка, Л., 1949; «Современный коми язык», ч. 1 — Фонетика, лексика, морфология, под ред. В. И. Лыткина, Сыктывкар, 1955; Г. Д. Санжеев, Грамматика бурят-монгольского языка, М.—Л., 1941; В. И. Цинциус, Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка, ч. 1 — Фонетика и морфология, Л., 1947; С. [Н.] Абдуллаев, Грамматика даргинского языка (фонетика и морфология), Махачкала, 1954; Н. М. Терещенко, Очерк грамматики ненецкого (юрако-самоедского) языка, Л., 1947; З. К. Мальсагов, Ингушская грамматика, Владикавказ, 1925.

[2] Е. И. Убрятова, Исследования по синтаксису якутского языка, I — Простое предложение, М.—Л., 1950; А. А. Бокарев, Синтаксис аварского языка, М.—Л., 1949; М. М. Гаджиев, Синтаксис лезгинского языка, ч. I — Простое предложение, Махачкала, 1954; его же, Синтаксис сложного предложения в лезгинском языке. Докт. диссерт., Махачкала, 1954; Н. Ф. Яковлев, Синтаксис чеченского литературного языка, М.— Л., 1940; В. А. Аврорин, Очерки по синтаксису нанайского языка, 1 — Прямое дополнение, Л., 1948; Б. К. Пашков, Синтаксис маньчжурского простого предложения. Докт. диссерт., б. м. и г.; П. Я. Скорик, Очерки по синтаксису чукотского языка. Инкорпорация, Л., 1948; О. П. Суник, Очерки по синтаксису тунгусо-маньчжурских языков. Поссессивный строй предложения, Л., 1947; М. Н. Коляденков, Структура простого предложения в мордовских языках. (Предложение и его главные члены). Докт. диссерт., М., 1955.

[3] Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II — Фонетика и морфология, ч. 1, М., 1952; Л. Н. Харитонов, Типы глагольной основы в якутском языке. М.—Л., 1954.

коша обстоятельно освещена проблема частей речи и словообразования в каракалпакском языке. Л. Н. Харитонов посвятил свой труд анализу глагола в якутском языке.

Существенный интерес представляют появившиеся в печати после лингвистической дискуссии 1950 г. исследования по младописьменным и бесписьменным языкам, где дается подробный статический с элементами историзма анализ фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики исследуемого языка. К таким работам относится «Талышский язык» Б. В. Миллера, «Ягнобский язык» М. Н. Боголюбова[1] и некоторые другие.

Ценные исследования созданы по диалектам младописьменных и бесписьменных языков — абхазского и абазинского, пермских, даргинского, эвенкийского[2] и др. Опубликовано значительное количество статей и защищено много кандидатских диссертаций по говорам языков народов Севера, а также других младописьменных и бесписьменных языков.

Исследователями младописьменных и бесписьменных языков создано также большое количество работ, посвященных отдельным частным вопросам фонетики и морфологии тюркских, финно-угорских, кавказских, иранских, самодийских, тунгусо-маньчжурских, чукотско-камчатских, эскимосско-алеутских и других языков. Весьма ценные исследования по младописьменным и бесписьменным горским кавказским языкам публикуются в сборниках «Иберийско-кавказское языкознание», издаваемых Институтом языкознания АН Грузинской ССР [3].

Однако необходимо отметить, что важнейшие общетеоретические проблемы статического анализа языка еще не получили должного освещения. Попытки поставить по-новому и решить некоторые из этих проблем не привели к существенным результатам. В этом состоит теоретическая слабость описательных грамматик по младописьменным и бесписьменным языкам. И перед советскими языковедами по-прежнему продолжают стоять основные проблемы статического анализа языка, принципов построения описательной грамматики.

Проблемы теоретического и сравнительно-исторического исследования младописьменных и бесписьменных языков также привлекали внимание советских языковедов. Глубокое освещение получили многие вопросы исторического развития бесписьменных занского (мегрело-чанского) и сванского языков, осетинского языка, пермских, финно-угорских и самодийских, старописьменных тюркских [4] и других языков. Следует, однако, отметить, что историческое изучение большинства младописьменных и бесписьменных языков у нас все еще ведется слабо. Объясняется это отчасти тем, что на этих языках не существует письменных памятников.

---

[1] Б. В. Миллер, Талышский язык, М., 1953; М. Н. Боголюбов, Ягнобский (новосогдийский) язык. Исследование и материалы. Автореф. докт. диссерт., Л., 1956.

[2] К. В. Ломтатидзе, Тапантский диалект абхазского языка (с текстами), Тбилиси, 1944 [на груз. яз.]; ее же, Ашхарский диалект и его место среди других абхазо-абазинских диалектов (с текстами), Тбилиси, 1954 [на груз. яз.]; В. И. Лыткин, Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам, с обзором коми диалектов и с диалектологическим словарем, ч. 1, М., 1955; Ш. Г. Гаприндашвили, Фонетика даргинского языка по данным диалектов. Докт. диссерт., б. м., 1955 (автореф. — Тбилиси, 1956); Г. М. Василевич, Очерки диалектов эвенкийского (тунгусского) языка, Л., 1948.

[3] Сборники «Иберийско-кавказское языкознание», тт. I—VIII, Тбилиси, 1946—1956.

[4] А. С. Чикобава, Древнейшая структура именных основ в картвельских языках, Тбилиси, 1942, [на груз. яз.]; В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор. I, М.—Л., 1949; В. И. Лыткин, Древнепермский язык. Чтение текстов, грамматика, словарь, М., 1952; Д. В. Бубрих, К вопросу об отношениях между самоедскими и финно-угорскими языками, ИАН ОЛЯ, 1948, вып. 6; С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования, М.—Л., 1951.

Восполнить этот пробел можно только путем глубокого изучения диалектов. с одной стороны, и сравнительно-исторического исследования близкородственных языков, с другой.

Из трудов, посвященных сравнительно-историческому изучению младописьменных и бесписьменных языков, наиболее значительными являются «Категория времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп» Б. А. Серебренникова, «К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических классов в адыгских (черкесских) языках» Г. В. Рогава, «Сравнительная грамматика монгольских языков» Г. Д. Санжеева, «Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков» В. И. Цинциус, «Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении» В. Г. Егорова, «Очерки по фонетике иранских языков» В. С. Соколовой, «Опыт сравнительно-исторического изучения цезских языков» Е. А. Бокарева [1]. Широко использованы данные фонетики бесписьменного занского (мегрело-чанского) языка в «Фонетике чанско-мегрельского языка» С. М. Жгенти [2]. Разноплановость этих трудов объясняется как состоянием изучения разных групп близкородственных языков, так и отношением их авторов к основным принципам и методике сравнительно-исторических и исторических исследований, авторской манерой изложения. Так, например, в указанных трудах Б. А. Серебренникова, Г. В. Рогава широко используются реконструируемые формы, но их очень мало в других названных работах.

Большинство из указанных работ являются первыми крупными исследованиями в области сравнительно-исторического изучения перечисленных групп близкородственных языков (известно, что развитие этой области советского языкознания долгое время тормозилось засильем так называемого нового учения о языке). Перечисленные работы закладывают основание для серьезного сравнительно-исторического изучения ряда групп близкородственных младописьменных и бесписьменных языков. В этом их большая ценность.

*

Большая работа проведена советскими языковедами по изучению словарного состава младописьменных и бесписьменных языков. Анализу основных элементов словарного состава языка отводится значительное место в монографических исследованиях структуры отдельных языков (например, в названной выше работе Б. В. Миллера и др.) и при освещении истории изучаемого языка (например, в труде В. Г. Егорова и др.). Появилось большое количество кандидатских диссертаций и других работ о лексических заимствованиях в отдельных тюркских, иранских, кавказских и других языках. В различных научных изданиях опубликовано много статей о языках народов Севера и об особенностях их словарного состава.

---

[1] Б. А. Серебренников, Категория времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп. Докт. диссерт., М., 1956; Г. В. Рогава, К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических классов в адыгских (черкесских) языках, Тбилиси, 1956; Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, т. I, М., 1953; В. И. Цинциус, Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949; В. Г. Егоров, Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении. Докт. диссерт., Чебоксары, 1950 (автореф.— 1951); В. С. Соколова, Очерки по фонетике иранских языков. М.—Л., 1953: I — Белуджский, курдский, талышский, татский языки; II — Осетинский, ягнобский и памирские языки; Е. А. Бокарев, Цезские (дидойские) языки Дагестана. Опыт сравнительно-исторической характеристики. Докт. диссерт., М., 1954 (автореф.—1955).

[2] С. М. Жгенти, Фонетика чанско-мегрельского языка, Тбилиси, 1953 [на груз. яз.].

Слабая сторона нашей работы по изучению лексики мало исследованных языков народов СССР сказывается в отсутствии монографий, посвященных глубокому анализу словарного состава того или иного младописьменного или бесписьменного языка. Отчасти это объясняется тем, что в области изучения словарного состава младописьменных языков главное внимание уделялось составлению словарей разных типов, имеющих большое научное и практическое значение.

Объем и качество работ по составлению словарей были неодинаковы на разных этапах развития советского языкознания. В первый период, когда изучение языков народов СССР только начало развертываться и когда в работе по составлению словарей зачастую принимали участие люди, не имевшие достаточной лексикографической подготовки и опыта, создавались небольшие национально-русские и русско-национальные словари объемом от двух до четырех-пяти тысяч слов. Имея, главным образом, практическое значение, в научном и техническом отношении эти словари оставляли желать лучшего. Примером могут служить русско-чеченский (1930), эвенско-русский (1936), горно-марийско-русский (1934), русско-ненецкий (1936) и другие словари. Все они небольшого объема и содержат лишь минимум наиболее употребительных слов. Объяснение значения переводимого слова элементарно; отсутствуют грамматические пометы, фразеологические иллюстрации. В таких словарях не отражена специфика структуры слова национального языка. Принципы выделения лексических единиц, омонимов, синонимов, построения словарной статьи оставались неясными, неопределенными.

В дальнейшем развитии лексикографической работы в области языков народов СССР большую роль сыграло использование опыта русских лексикографов, специалистов по созданию русско-иностранных, иностранно-русских словарей и особенно толковых словарей русского языка. Составители русско-национальных и национально-русских словарей внесли много нового в разработку научных и научно-технических принципов лексикографической работы. Умелое использование всего этого богатого опыта способствовало значительному повышению качества и объема лексикографической работы в области языков народов СССР. Особенно широкий размах лексикографическая работа в СССР приняла в конце 40-х и в 50-х годах. По большинству младописьменных языков в первую очередь создавались русско-национальные словари. В русско-национальные словари широко включались наряду с переводом объяснения, истолкования значений отдельных русских слов.

Значительно сложнее было вести работу по составлению национально-русских словарей. Это объясняется рядом причин: 1) такая работа по многим младописьменным языкам проводится впервые в советскую эпоху, 2) языки народов СССР были слабо изучены с точки зрения словарного состава, 3) предстояло разработать научные и научно-технические принципы составления словарных статей и словников, должным образом учитывая особенности каждого национального языка. Далеко не во всех национальных республиках имелись достаточно подготовленные лексикографические кадры для ведения такой работы.

В этот период благодаря совместным усилиям авторских коллективов, работников издательств и сотрудников соответствующих научно-исследовательских институтов создано значительное количество русско-национальных и национально-русских словарей большого объема. К числу первых относятся: русско-башкирский, русско-туркменский, русско-каракалпакский, русско-кабардино-черкесский, русско-осетинский, русско-абазинский, русско-удмуртский, русско-эрзянский, русско-мокшанский, русско-мансийский, русско-ненецкий, русско-эвенкийский. Русско-на-

циональные словари большого объема издавались и на местах, например в Махачкале изданы русско-аварский, русско-лакский, русско-лезгинский словари, в Ташкенте — русско-узбекский.

Из национально-русских словарей, созданных за последние десять лет, наиболее крупными являются эрзянско-русский, мокшанско-русский, хакасско-русский, осетинско-русский, коми-русский, марийско-русский, удмуртско-русский, лакско-русский, курдско-русский, кабардино-черкесско-русский.

Работа по созданию двуязычных, орфографических и терминологических словарей для младописьменных языков велась параллельно. Специалисты, подготавливавшие двуязычные, орфографические и терминологические словари, работали в тесном контакте, помогая друг другу, обмениваясь опытом творческих исканий.

Составление двуязычных, диалектологических и терминологических словарей явилось в известной степени подготовительным этапом для создания толковых и этимологических словарей для младописьменных языков. В этом плане проделана некоторая работа по ряду языков народов СССР. Так, создается толковый словарь адыгейского языка и завершается работа по созданию этимологического словаря осетинского языка.

Весьма важную роль в создании национально-русских и русско-национальных словарей играет московское Издательство иностранных и национальных словарей, имеющее тесный контакт с соответствующими научно-исследовательскими институтами. Сотрудники редакции национальных словарей во главе с Т. Г. Брянцевой, имеющей большой опыт руководства словарной работой, оказывают значительную научную и научно-техническую помощь составителям словарей, принимая непосредственное участие в написании инструкций по составлению словарей, словников, разработке принципов построения словарных статей. Наибольшее внимание уделяется в настоящее время созданию национально-русских словарей.

Лексикографическая работа в СССР стала важным государственным делом. Научно-исследовательские институты планируют на длительный срок работу по созданию полноценных двуязычных национально-русских словарей. Так, на шестую пятилетку запланированы даргинско-русский, аварско-русский, лезгинско-русский словари. Первый из этих словарей будет создан проф. Л. И. Жирковым в Институте языкознания АН СССР, остальные — языковедами Дагестанской АССР — д-ром филол. наук М. М. Гаджиевым, канд. филол. наук М. С. Саидовым. В Абхазском научно-исследовательском институте создается абхазско-русский словарь. Ведется работа по созданию и других национально-русских словарей.

Значительное внимание уделяется научно-организационной работе по координации деятельности научных учреждений СССР в области лексикографии, по разработке актуальных проблем лексикологии и лексикографии, обмену опытом работы. Всю лексикографическую работу в СССР объединяет и направляет Координационная комиссия по вопросам лексикографии и лексикологии, существующая в системе АН СССР. Опыт лексикографической работы в СССР настолько богат и ценен в общественном, научном и научно-техническом отношении, что он нуждается в специальном развернутом освещении с разбором разных принципов составления различных типов словарей, разных точек зрения на построение словарных статей, на отдельные лексикологические и лексикографические проблемы.

*

Неуклонное проведение в жизнь ленинской национальной политики Коммунистической партией и Советским правительством позволило с

успехом завершить в короткий срок языковое строительство в нашей стране. Большую и бескорыстную помощь в этом оказал младописьменным и бесписьменным народам СССР великий русский народ. Письменность для этих народов создавалась под руководством русских ученых и их учеников — первых специалистов из числа представителей народов СССР, выпущенных советской средней и высшей школой. Руководящую роль сыграли русские ученые и в деле подготовки кадров для укомплектования национальных средних и высших учебных заведений.

После завершения работы по созданию алфавитов для младописьменных языков во всех автономных республиках и областях были созданы научно-исследовательские институты языка и национальной культуры. Эти институты проделали значительную работу по изучению языков, литератур, истории культур народов СССР. За период своего существования они значительно выросли и в настоящее время представляют собой стоящие на уровне современной науки научные и культурные центры в национальных районах. Родной язык явился одним из основных средств, успешно использованных Коммунистической партией и Советской властью при подготовке многочисленных национальных кадров по всем специальностям.

В СССР высшее образование, научно-исследовательская работа доступны всем народам. В этом отношении характерны следующие данные. В Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Таджикистане и Узбекистане до Октябрьской революции не было ни одного высшего учебного заведения. Сейчас в Казахской ССР имеется 26 вузов, в Белорусской ССР — 24 вуза, в Армянской ССР — 16 вузов, в Азербайджанской — 14 вузов. Во всех союзных республиках имеются университеты: в РСФСР их 13, в УССР — 6, в Узбекистане — 2, а в остальных республиках — по одному. В средних и высших учебных заведениях Армянской, Грузинской, Азербайджанской, Литовской, Латышской, Эстонской союзных республик почти все дисциплины читаются на родном языке.

В первый период существования Советской власти в союзных республиках существовали комплексные научно-исследовательские институты, занимавшиеся изучением языка, истории, литературы, экономики, природных богатств этих республик. В дальнейшем по мере развития советской науки, культуры, экономики страны, роста национальных кадров на базе указанных институтов были созданы филиалы АН СССР. Наиболее мощные филиалы были превращены в академии наук союзных республик, свидетельствующие о бурном развитии науки в союзных республиках. Созданы академии наук Украинской, Белорусской, Армянской, Грузинской, Азербайджанской, Казахской, Литовской, Латвийской, Таджикской, Туркменской, Киргизской, Эстонской советских социалистических республик, организованы 14 филиалов АН СССР в остальных республиках, краях, областях. Многие академии наук союзных республик превратились в крупнейшие научные центры Советского Союза, например академии наук Украинской ССР, Армянской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР.

Высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты созданы не только в союзных республиках, но и в автономных республиках и областях. В 18 автономных республиках и 10 автономных областях существуют созданные впервые в Советскую эпоху национальные научно-исследовательские институты, в которых организовано исследование родных языков местных народов. В столице Якутской АССР — г. Якутске — функционируют филиал Академии наук СССР и университет. В столице Дагестанской АССР — г. Махачкале — работают филиал АН СССР, педагогический институт, женский педагогический институт, медицинский институт.

Огромное значение придается взаимному обогащению национальных культур народов СССР, пропаганде прогрессивной культуры всех народов мира. Литературное и научное наследство каждого народа становится достоянием всех народов СССР. С этой целью в широких масштабах осуществляются переводы произведений классиков марксизма-ленинизма, естественно-научной, технической, художественной литературы с русского языка на все другие национальные языки, а также переводы произведений нерусских писателей и ученых на русский язык и на языки других советских народов. В Советском Союзе существует более 200 центральных, республиканских, краевых, областных издательств, выпускающих ежегодно миллионы экземпляров книг на русском и других национальных языках народов СССР. За период с 1917 г. по 1954 г. в СССР издано 1210 тысяч названий книг общим тиражом более 17 млрд. экземпляров на 122 языках.

Благодаря неустанным заботам Коммунистической партии и Советского правительства народы нашей страны добились небывалого расцвета своей экономики и национальной культуры, полностью ликвидировав былую отсталость прежних национальных окраин.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

С. Г. БАРХУДАРОВ

РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ ЗА 40 ЛЕТ

Развитие русской советской лексикографии связано с длительной научной традицией составления академических словарей русского языка. Известно, что работа над словарем русского языка всегда считалась одной из главных задач в деятельности Отделения русского языка и словесности Академии наук. На протяжении более полутораста лет в Академии почти непрерывно велась словарная работа. И каждый из изданных Академией словарей русского языка был большим событием в культурной жизни России.

Среди этих словарей наиболее крупными научными предприятиями были следующие четыре издания толкового словаря русского языка, каждое из которых отличалось по своему объему, направленности и принципам построения и представляло собой определенный этап в развитии лексико-грамматической теории и техники в нашей стране: 1) «Словарь Академии Российской» в шести частях (1789—1794), 2) «Словарь церковнославянского и русского языка», сост. Вторым отд-нием Имп. Акад. наук (1842—1847), 3) «Словарь русского языка» акад. Я. К. Грота, т. I — буквы А—Д (1891—1895), 4) «Словарь русского языка» под ред. акад. А. А. Шахматова (буквы Е—Ж—З) (1897—1907). К этим академическим словарям примыкает известный «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (1-е изд. — 1863—1866; 2-е изд. — 1880—1882).

Советская академическая лексикография по своим словарным и фразеологическим материалам, по системе филологической разработки значений и оттенков значения слова, по технике показа сферы употребления слова, по способу грамматической характеристики слова в значительной степени опиралась на опыт, с одной стороны, гротовской, а с другой — шахматовской редакции словаря русского языка. Поэтому считаю необходимым напомнить в общих чертах историю возникновения и принципы построения этих двух словарей.

Отделение русского языка и словесности АН вслед за выходом в свет «Словаря церковнославянского и русского языка» поставило вопрос о возобновлении подготовительных работ и о переиздании словаря с исправлениями и дополнениями. В 1854 г. Отделение опубликовало «Мнения о новом издании русского словаря и правила издания, утвержденные Вторым отделением Академии наук». Отделение, согласно с мнением И. И. Срезневского, намечало теперь к изданию словарь русского языка, не объединяя его со словарем церковнославянским. «Нельзя смешивать, — говорится в этом „Мнении“, — старославянского наречия с русским совершенно безусловно. Самая измененность первого у русских показывает, что нам принадлежит та часть его, которая принята, изменена и возделана нами... составитель Словаря... не может быть смелее писателей и народа, не может включить в Словарь русский того, что не употребляется в наших книгах или в нашем народе» (стр. 9). Быстрое

развитие общественной жизни, русской художественной литературы, науки, искусства и связанный с этим сильный рост русского языка указывали на необходимость «в новом издании стеснить пределы словаря в отношении к церковнославянскому языку», а также вообще относительно слов устарелых, отживших, малоупотребительных. Состав будущего издания должен был определяться новым положением: «Помещать в Словаре современного русского языка слова современного нашего общества, современной нашей жизни — семейной, общественной и умственной...» (стр. 13). После основной статьи за подписью председателя Второго отделения акад. И. И. Давыдова следовали записки и замечания об объеме, плане и построении нового издания словаря виднейших филологов того времени: Д. И. Бердникова, Ф. И. Буслаева, Н. И. Греча, Я. К. Грота, В. И. Даля, Г. П. Павского, И. И. Срезневского, С. П. Шевырева.

Предполагавшееся издание не было осуществлено в свое время, хотя Отделение продолжало заботиться о собирании материалов и работало над подготовкой примерных листов словаря. Примерные листы слов на букву А, подготовленные акад. И. И. Давыдовым, были напечатаны в V томе «Материалов для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики», в 1861 г. Но тотчас вслед за этим, в 1863—1866 гг., вышел «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля в 4 томах, издание которого, хотя и построенное на иных основаниях, все же отвечало задаче Отделения и несколько смягчало остроту назревшей общественной потребности. Словарь Даля был переиздан в 1880—1882 гг. А в «Отчете о деятельности Отделения» за 1886 год было заявлено о возобновлении работ над «составлением полного словаря русского языка,который совмещал бы в себе все его богатство». С этого времени в протоколах и отчетах Отделения постоянно сообщается о ходе работы над словарем. Руководство работами было поручено акад. Я. К. Гроту.

В отношении цели и назначения словаря было указано, что он «имеет по преимуществу практический характер». «Отделение русского языка и словесности имело в виду дать словарь, который отвечал бы потребностям образованного класса людей вообще, но к которому мог бы прибегать с пользою и литератор и ученый» («Предисловие», стр. XII). Самый подбор лексики указывает на большие сдвиги в понимании того, каков должен быть состав словаря современного русского литературного языка; так, иностранные заимствованные слова и неологизмы включались в словарь постольку, поскольку они, отвечая преобразованиям «общественного и государственного быта», входили в общее употребление. Как указано в положении втором, в словаре помещались частично областные слова, встречающиеся у писателей или представлявшиеся составителям словаря ценными по своему содержанию. Основной же состав словаря относился к литературному языку. Вместе с расширением словарного состава расширялась и семантическая обработка словарных статей: в них более тщательно и детально указывались значения слов и приводились примеры их употребления у писателей «первоклассных и некоторых второстепенных». Новый словарь по своему объему был значительно больше предшествующего издания 1847 г.

Основная работа по словарю производилась редактором его акад. Я. К. Гротом. Корректурные листы словаря обсуждались сначала на заседаниях Отделения, затем исправленные корректуры рассылались членам других Отделений, многим ученым и любителям русского слова, выразившим готовность принять участие в их чтении, дополнении и исправлении. Лишь после такого широкого просмотра текст окончательно редактировался и поступал в печать. Вполне понятно, что работа по составлению и изданию «Словаря русского языка» шла медленно: I том, на буквы

А — Д, печатание которого было начато в 1891 г., вышел лишь в 1895 г. Он был закончен уже после смерти акад. Грота (в мае 1893 г.), главным образом благодаря трудам акад. А. Ф. Бычкова. Дальнейшее редактирование этого издания было поручено в конце 1894 г. вновь избранному члену Отделения А. А. Шахматову.

Взявшись за порученное ему дело с исключительной энергией, новый редактор обратил внимание на недостаток точных документированных материалов, по которым надлежит прежде всего устанавливать самый словарный состав литературного языка, а затем определять значения слов и показывать примеры их употребления. Приостановив составление словаря, Шахматов, с согласия Отделения, целиком отдался собиранию обширных материалов из произведений писателей XIX в., а также из учебной и научно-популярной литературы по разным областям знания. Широко собиравшиеся материалы позволяли значительно расширять и углублять словарные статьи, давать более тонкую и подробную семантическую характеристику слов с большим выделением типичных словосочетаний, оборотов и идиоматических выражений, с рядами соответствующих примеров из произведений писателей. Была выработана более полная и последовательная система подачи грамматических сведений, входящих в словарную статью, введены инославянские параллели. Вслед за всеми этими подготовительными работами Шахматов предложил коренное изменение плана словаря, настаивая на включении в него вместе с литературной лексикой и лексики диалектной, сведения о которой в это время стали поступать в Отделение в ответ на рассылавшиеся Отделением «Программы для собирания великорусских говоров». К непосредственной работе над словарем были привлечены многие работники с мест, среди которых были известные знатоки народного языка, быта, творчества; материалы, доставленные ими, встречаются уже на первых страницах нового издания. В число источников «Словаря русского языка» вошли богатые материалы русского фольклора: былины, песни, сказки, пословицы.

В конце 1897 г. был закончен и вышел из печати 1-й выпуск новой редакции, обозначенный как 1-й выпуск II тома (Е — Железный). В «Предисловии» к нему были даны объяснения по поводу происшедших изменений в программе издания.

Уже в «Предисловии» к 1-му выпуску 1891 г. была отмечена трудность разграничения общерусских слов и слов областных. В дальнейшем, с накоплением обширного материала, затруднения эти становились все ощутительнее: «. . . во-первых, далеко не всегда выяснялось, насколько то или другое областное слово распространено, так как среди областных слов попадаются нередко такие, которые известны на большом пространстве России, но чужды общеупотребительному языку, языку Москвы и Петербурга, центров нашей образованности; во-вторых, самый язык наших писателей изобилует областными словами: Тургенев, Кольцов, Григорович, гр. Л. Толстой, Мельников, Гл. Успенский, Златовратский и др., описывая народную жизнь, не только влагают в уста действующих лиц слова местного, областного происхождения, но и сами охотно их употребляют; в-третьих, наконец, оказывалось, что в „общеупотребительном" языке недостает слов для выражения очень многих понятий, определенно выражаемых областными словами: таковы, в особенности, слова, относящиеся к различным явлениям природы, многим ремеслам и производствам» (стр. V). В силу этих соображений «Отделение русского языка и словесности, оставаясь при том положении, что в основу Словаря должен быть положен современный наш живой язык, решило обнять этот язык во всей его совокупности, т. е. включить в настоящее издание весь словарный материал, представляемый живыми говорами» (там же).

«Итак, задача Словаря естественным образом расширилась: сначала областные слова допускались в него в виде исключений, теперь они входят в Словарь по законному праву...

Таким образом, Словарь русского языка по своему объему и своим задачам приближается к Толковому словарю живого великорусского языка Даля, отличаясь от него главным образом тем, что не исключает словарного материала из памятников XVIII века. В Словаре Даля впервые смешаны два языка — язык письменный и живой язык современных великорусских говоров. Это нисколько не умалило его значения как справочного руководства: он удовлетворяет вполне и научным, и практическим требованиям. В отличие от предыдущих трех выпусков, здесь нашли место многие слова церковнославянские, а именно те из них, которые употребляются нашими духовными писателями или встречаются в русском переводе книг Св. Писания» (там же, стр. VI—VII).

Корректурные листы по-прежнему рассылались «всем, кто выражал свое согласие помочь Отделению в его работах. Листы эти возвращались большею частью со многими поправками и дополнениями, значительно увеличившими и изменившими первоначальную редакцию» (стр. VIII). В первом выпуске было указано 73 лица, которые «постоянно» читали корректурные листы «Словаря русского языка».

А. А. Шахматов вел словарную работу с исключительным знанием и пониманием словарного дела, с необыкновенным вниманием и редкой энергией. С 1897 до 1907 г. он составил и выпустил под своей редакцией полный II том «Словаря русского языка» на буквы Е, Ж, З — девять выпусков, более 93 печатных листов, 2966 столбцов текста, не считая предисловий и приложений со списками сокращений и перечней многочисленных источников словаря, причем этот перечень занял около 2 печатных листов. Если гротовская редакция превышала словарь 1847 г. в $1^1/_2$—2 раза, то новая редакция Шахматова превышала его более чем в 10 раз.

Главная и первая задача Академического словаря, по Шахматову, заключается «в зарегистрировании по возможности всех слов русского языка с указанием их значений и степени распространенности»[1]. Одно из основных требований Шахматова к словарю, которое сохраняет силу и для нас, заключается в том, чтобы каждое слово, каждое его значение и оттенок значения, каждое типичное употребление слова, каждое фразеологическое сочетание непременно имело бы точную документацию, т. е. опиралось бы на цитату из литературного произведения или из какого-либо другого авторитетного источника.

Нормативность, в нашем понимании этого слова, была чужда всему лингвистическому мировоззрению А. А. Шахматова. «... Странно было бы вообще, — писал он в ответ на записку И. Х. Пахмана,— если бы ученое учреждение вместо того, чтобы показывать, как говорят, решалось указывать, как надо говорить. Очевидно, что такое учреждение упразднило бы таким образом те два авторитета, которые одни могут иметь решающее значение в вопросах языка — это, во-первых, авторитет самого народа с его безыскусственным словоупотреблением, во-вторых, авторитет писателей — представителей духовной и умственной жизни народа. Вот почему Академия должна дать в словаре отечественного языка по возможности полное описание существующего словоупотребления; ее словарь должен содержать не плоды сочинительства и „научных“ соображений о том, как

[1] См. А. А. Шахматов, Несколько слов по поводу записки И. Х. Пахмана, «Сб. Отд-ния русск. языка и словесности Имп. Акад. наук», т. LXVII, № 1, СПб., 1899.

следует говорить, а такой надежный материал, из которого было бы видно, как говорит народ в различных областях России, как выражаются современные писатели, в каком значении употреблялись те или другие слова писателями прежнего времени и т. д.».

Дальнейшая работа над словарем продолжалась по тому же плану, за которым твердо установилось наименование «шахматовской редакции». Но сам Шахматов сохранил только общее руководство над ней.

С 1906 г. начали выходить выпуски IV тома на букву К под редакцией Д. К. Зеленина. Для томов на буквы И, Л, М, Н были приглашены редакторами С. К. Булич, С. П. Обнорский, П. Л. Маштаков, В. И. Чернышев. Начавшаяся подготовка соответствующих томов была замедлена с начала войны 1914 г. В августе 1920 г. умер А. А. Шахматов [1].

Работа над «Словарем русского языка» возобновилась в 1922 г., когда была организована при Академии наук Комиссия по составлению словаря русского языка под председательством акад. В. И. Истрина. Вначале работа заключалась лишь в разборке материалов, собранных до Октябрьской революции под руководством А. А. Шахматова. С 1924 г. Комиссия приступила к планомерной работе по подготовке к печати новых выпусков. Редакторами отдельных томов состояли: С. П. Обнорский, В. И. Чернышев, Л. В. Щерба, Е. С. Истрина, П. Л. Маштаков, И. А. Фалев.

В октябре 1930 г. была образована Комиссия по русскому языку, в состав которой вошли ранее существовавшие на самостоятельных началах три комиссии: словарная, диалектологическая и по собиранию словарных материалов по древнерусскому языку. Председателем Комиссии по русскому языку состоял сначала акад. Е. Ф. Карский, а затем акад. Н. С. Державин. С октября 1931 г. Комиссия вошла в состав Института языка и мышления на правах его самостоятельного отдела.

Перед Словарной комиссией прежде всего возник серьезный вопрос: вносить ли во вновь подготавливаемые томы словаря новые слова, новые значения, новые типы словоупотребления, которые стали появляться в XX в., в особенности после Великой Октябрьской революции.

Трудность разрешения этого вопроса заключалась в том, что Комиссия практически располагала лишь материалами по литературному языку, собранными еще в конце прошлого столетия и только частично в первом десятилетии XX в. Перед Комиссией стояла дилемма: или приостановить работу над очередными томами словаря и приступить к серьезному пополнению картотеки новыми материалами, извлеченными из многочисленных литературных источников XX в., на что потребовались бы многие годы, учитывая скудные ассигнования, которые тогда Академия наук могла выделить Комиссии, и ограниченный состав работников словаря (5—6 человек), или же продолжить работу над словарем по плану А. А. Шахматова. Отделение русского языка и словесности решило, что «издаваемый словарь в области языка литературного должен представлять собой словарь русского классического литературного языка, как последний сложился под пером выдающихся писателей двух веков, XVIII и XIX, конечно, главным образом, — последнего. Следовательно, и вновь обрабатываемые выпуски Словаря должны выходить по типу уже вышедших с теми, разумеется, видоизменениями, которые вызываются самим процессом работы. Что же касается новых слов, новых словообразований и новых значений старых слов, которые частью вызываются новизною самой жизни, а большею частью чисто литературными побуждениями, то собирание и издание их, по определению Отделения, должно составить особую

[1] О лексикографических трудах А. А. Шахматова см. статью Е. С. Истриной «А. А. Шахматов как редактор словаря русского языка» (ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 5).

задачу» [1]. Таким образом, «Словарь русского языка», издаваемый в первые годы после Октябрьской революции Академией наук, по своим принципиальным установкам почти ничем не отличался от дореволюционного словаря А. А. Шахматова: в нем не нашли отражения лексическая и семантическая система русского литературного языка XX в., в особенности те сдвиги, которые произошли в русском языке после Великой Октябрьской революции.

Однако это не значит, что лексикологическая работа в Академии наук СССР, теоретическая мысль в области общих вопросов лексикологии шли прежними путями и темпами. До образования Словарной комиссии в Академии наук не было объединяющего коллективного центра. Каждый редактор тогда работал индивидуально, исходя из своих лингвистических убеждений и языковых представлений и привычек. С организацией Комиссии, имеющей штатных научных сотрудников, возник руководящий, организующий коллективный центр в области академической лексикографии: работа каждого редактора коллективно обсуждалась на заседаниях Комиссии, которые регулярно созывались еженедельно, а в случае надобности и два раза в неделю.

Комиссия, помимо текущей работы над продолжением издания «Словаря русского языка», занималась подготовительными работами для целой серии будущих словарей русского языка. Комиссия наметила вести исследовательскую работу в двух направлениях: во-первых, в направлении изучения народных говоров, во-вторых, в направлении разработки русского литературного языка в его истории (прежде всего XVIII—XIX вв.), а затем и в его современности.

Приступая к изучению областного языка, Комиссия решила прежде всего систематизировать тот огромный лексический материал, который накоплен трудами предшествовавших исследователей и собирателей и содержится в большей своей части в рукописных источниках. Решено было каждое областное слово заносить на карточку, с указанием его значения, с обозначением местности, где оно записано. Собранная таким образом картотека стала бы основным лексическим фондом областного русского языка. Этот фонд в дальнейшем систематически должен был пополняться новыми поступлениями. Параллельно предполагалось создать карточный фонд словарного материала с распределением по территориальным областям, районам.

Далее Комиссия считала своей задачей составление специальных словарей по разным признакам: по ремеслам, например плотничьему, портняжному, гончарному; по промыслам, например рыболовному, охотничьему; по бытовой обстановке, например по терминологии устройства домашнего жилища, домашнего хозяйства, по названиям платья и пищи различных местностей. Таковы в основном были широкие замыслы Комиссии в области изучения областного языка. Вдохновителем этих начинаний был член Комиссии С. П. Обнорский.

Еще шире был намечен перспективный план подготовки словарей русского литературного языка. План этот составлен был при ближайшем участии члена Комиссии Л. В. Щербы и сохраняет свою актуальность и в наши дни. Это дает основание более подробно воспроизвести существенные его части. «1) Издаваемый в настоящее время словарь дает материал по литературному языку XVIII и XIX столетий, который может быть назван классическим русским языком. На обязанности Отделения русского языка и словесности, в лице его Комиссии, лежит время от времени

[1] В. Истрин, Работа над Словарем русского языка в Академии наук, ИАН СССР, № 18, Серия VI, 1927, стр. 1665.

выпускать и добавления к этому словарю, содержащие в себе все вошедшее в литературный язык за определенный период времени, начиная с XX века. Эти добавления будут крайне поучительны, так как будут наглядно представлять современные изменения языка в связи с изменениями в структуре Общества и в материальной и духовной культуре его...

2) Другой задачей Комиссии, и может быть не менее насущной, является составление время от времени, например, два раза в столетие, «Словаря литературного языка данной эпохи». Этот словарь будет заключать в себе лишь слова, в той или другой мере актуальные для литературно-образованного общества определенного исторического периода. Таким образом в него не войдут слова устарелые, слова почему-либо непонятные и, конечно, все областные слова, поскольку они не вошли в какой-либо литературный стиль. Словарям этого типа, которые по самому существу своему должны иметь строго синхронический характер, желательно придать основательно проработанную стилистическую перспективу.

3) Третьей задачей Комиссии явилась бы подготовка идеографического словаря русского языка на подобие имеющихся аналогичных словарей на главных европейских языках, но, конечно,— в ином масштабе и по иному плану. Здесь, вероятно, нашел бы себе разрешение и вопрос о синонимическом Словаре русского языка, отсутствие которого чувствуется и школой и обществом...

4) Параллельно со всеми вышеуказанными задачами на Комиссии должна лежать и обязанность по составлению словарей к произведениям отдельных русских писателей. Это дополнило бы общий словарь теми материалами, которые все же могут быть там пропущены, богаче документировало бы стилистическую работу со словарем и представляло бы большой историко-литературный интерес, давая возможность сравнения словарей разных писателей между собой и с общим словарем...» [1]

Для реализации намеченной программы работ, рассчитанных на долгие годы, Комиссия, естественно, нуждалась в значительном расширении состава сотрудников, в большой финансовой поддержке. Но Комиссия не смогла получить ни новых сотрудников, ни новых ассигнований. Поэтому ее работа ограничилась подготовкой очередных выпусков «Словаря русского языка» и некоторым пополнением картотеки новыми материалами по русскому литературному языку XIX—XX вв. и по русской областной лексике. Новые выпуски словаря на буквы И (Л. В. Щерба), Л (С. П. Обнорский), М (П. Л. Маштаков), Н (В. И. Чернышев), О (Е. С. Истрина) представляют большую ценность как по собранному и систематизированному огромному лексическому и фразеологическому материалу, так и по тщательности грамматической и семантической обработки этого материала.

В 1937 г. наша общественность и печать обратили внимание на неудовлетворительное состояние подготовки и издания Академического словаря русского языка. Этот словарь ни по своему замыслу, ни по характеру построения, ни по материалу, ни по темпам и срокам издания не отвечал тем требованиям, которые к нему предъявляли широкие круги советской интеллигенции. Не соответствовал словарь и насущным задачам развития русского литературного языка советской поры. Остро стал вопрос о новом типе словаря. К сожалению, сложная и актуальная проблема разработки нового типа Академического словаря русского языка в силу различных причин с самого начала попала в руки небольшой группы мало сведущих в лексикографии и вообще в языкознании людей. Вся их сила тогда состояла в том, что они считались приверженцами «нового учения»

[1] В. Истрин, указ. соч., стр. 1672—1673.

о языке и действовали от его имени. Известные наши специалисты и знатоки словарного дела академики Л. В. Щерба и С. П. Обнорский были освобождены от работы в словаре, а Е. С. Истрина несколько позже сама вынуждена была прекратить лексикографическую деятельность. Оставленные же на работе опытные и квалифицированные словарники — чл.-корр. АН СССР В. И. Чернышев, старший редактор И. А. Фалев, редактор Л. Ляпунова — фактически находились в зависимом положении и вынуждены были работать под контролем преданных марровскому учению сотрудников Института языка и мышления.

«Проект словаря современного русского литературного языка», изданный Институтом языка и мышления в 1938 г., носил следы вульгарного социологизма. Самая основная задача словаря была сформулирована нечетко, противоречиво. «Словарь должен быть толково-историческим и нормативным; он должен охватить все богатство русского литературного языка с его лексикой и семантикой в пределах его развития от эпохи Пушкина и до наших дней; он должен явиться проводником правильного понимания социального значения слов русского языка и руководством к общепринятому употреблению слов и оборотов речи в их значениях и формах»[1]. При этом «принцип нормативности подчиняет себе интересы истории языка»[2].

В процессе работы скоро обнаружилось основное противоречие в самом замысле нового словаря: сочетание в одном словаре принципов историзма и нормативности, стремление показать «социальное значение слова», понимаемое в духе марровской идеи классовости языка, с одной стороны, и желание описать современное общенациональное, «общепринятое употребление слов и оборотов речи в их значениях и формах», с другой.

В. И. Чернышев, главный редактор I тома, в своем докладе на собрании Отделения литературы и языка от 26 мая 1939 г. отмечал: «Вообще при практической работе над подготовкой текста I тома словаря редакция употребляла большие усилия, чтобы очистить текст от случаев обработки в духе вульгарного социологизма». И действительно, благодаря напряженному труду В. И. Чернышева, I том словаря, вышедший из печати в 1948 г. и дополнительным тиражом в начале 1950 г., был значительно обновлен и улучшен, хотя первоначальные вульгарно-социологические установки в этом томе нашли довольно яркое отражение.

II том (вышел из печати в 1951 г.) и III том (вышел из печати в 1954 г.) были составлены и подготовлены к печати еще до лингвистической дискуссии. В процессе печатания они подверглись обстоятельному редактированию и по возможности были освобождены от ошибочных установок «Проекта» 1938 г. Начиная с IV тома (буквы Ж—З, редактор А. М. Бабкин) Академический словарь составляется уже по новой инструкции, учитывающей требования советской лексикографической науки.

Говоря об академических толковых словарях, необходимо всегда помнить, что основная ценность их заключается в том, что они широко иллюстрированы, т. е. каждое значение слова, каждый оттенок значения, каждое употребление слова опирается на ряд цитат, взятых из авторитетных источников. Появление новых значений, новых фразеологических сочетаний, отмирание отдельных значений и особенно передвижение слов или отдельных их употреблений из одного стиля в другой — все это должно быть показано подбором соответствующих материалов. Из-

[1] В. И. Чернышев, Принципы построения академического словаря современного русского литературного языка, «Р. яз. в шк.», 1939, № 2.
[2] Там же, стр. 54—55.

местно, что одна удачная иллюстрация в словаре способствует иной раз уяснению смысла слова гораздо лучше, чем любые словесные описания. Значение слова раскрывается не только и не столько в его толковании, сколько в цитатах, иллюстрирующих его употребление. Цитаты в Академическом словаре имеют двоякое назначение: с одной стороны, они раскрывают значение слова, с другой — показывают, как устойчивое и общее значение применяется к отдельным частным случаям. И эта вторая задача очень важна, так как истинное значение слова отчетливо обнаруживается, когда показано, в каком словесном окружении оно применяется. При этом необходимо иметь в виду, что употребление слова может быть или типичным, более или менее распространенным, или же очень индивидуальным, своеобразным. В отличие от шахматовской редакции словаря, где стремились по возможности регистрировать всякое употребление слова, в нашем Академическом словаре, имеющем ограниченный объем, показываются преимущественно лишь типичные, традиционные случаи словоупотребления, в том числе и образного. Здесь уместно вспомнить прекрасное практическое требование Л. В. Щербы к составителям нормативных словарей: «Не мудрствуй лукаво, а давай как можно больше примеров» [1].

Академическая лексикография, как она сложилась в первое десятилетие после Великой Октябрьской социалистической революции, естественно, не могла полностью удовлетворить культурные потребности нового советского общества. Широкие слои советской интеллигенции нуждались прежде всего в компактном нормативном словаре современного русского литературного языка с четкой грамматической, семантической и стилистической характеристикой русской литературной лексики.

18 января 1920 г. В. И. Ленин писал наркому просвещения А. В. Луначарскому: «Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему, впервые, — ознакомиться с знаменитым словарем Даля.

Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел. Не пора ли создать словарь *настоящего* русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых *теперь* и *классиками*, от Пушкина до Горького...

Как бы Вы отнеслись к этой мысли?

Словарь классического русского языка?

Не делая шума, поговорите с знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне Ваше мнение» [2]. 5 мая 1920 г. Владимир Ильич в письме к М. Н. Покровскому снова поднимает вопрос о словаре: «Мне случилось как-то беседовать с т. Луначарским о необходимости издания хорошего словаря русского языка. Не вроде Даля, а словарь для пользования (и учения) всех, словарь, так сказать, классического, современного русского языка (от Пушкина до Горького, что ли, примерно)...

Луначарский сказал, что об этом он уже думал и что это не то делается, не то будет сделано.

Будьте любезны проверить, делается ли, и черкнуть мне» [3]. Спустя год, 6 мая 1921 г. В. И. Ленин в письме к Е. А. Литкенсу снова возвращается к вопросу об издании нового словаря русского языка: «т. Литкенс! Забыл при свидании просить Вас проверить, как стоит дело с комиссией ученых, составляющих словарь (краткий) *современного* (от Пушкина до Горького) русского языка.

---

[1] Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, стр. 103.

[2] В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 369.

[3] Там же, стр. 381.

Я давно, много раз уславливался об этом с Покровским и Луначарским. Делается ли? Что именно? Узнайте и напишите точно»[1]. Через несколько дней Владимир Ильич снова пишет Е. А. Литкенсу: «Воспользуйтесь отдыхом Покровского, чтобы, не обременяя его администрированием, начать работу по составлению словаря русского языка.

1) Назначьте комиссию 3—5 лучших филологов. Они должны в 2 недели разработать план и состав окончательной комиссии (для работы), ее состава, срока и пр.

2) Задание — краткий (*малый* «Ларусс» образец) словарь русского языка (от Пушкина до Горького). Образцового, современного. По новому правописанию.

3) По их (3—5) докладу *научно-академический* центр должен *утвердить*. Тогда к осени начнем»[2]. В конце мая того же года В. И. Ленин считает необходимым в письме к Е. А. Литкенсу еще раз напомнить о словаре: «Условимся, значит, по вопросу о словаре так:

1) приблизительно через месяц (в отсутствие Покровского) сделайте *формальное* постановление и назначьте *ответственное лицо* или *лица*.

2) На основе этого постановления составить *план* работы с указанием не только ответственных лиц, но и расходов и пайков.

Выполнять должны начать, по плану, с августа или сентября»[3].

Такой постоянный, неослабевающий интерес В. И. Ленина к изданию толкового словаря современного русского литературного языка, проявленный в тяжелые годы восстановления народного хозяйства и укрепления молодого советского государства, свидетельствует о том, какое большое значение придавал Владимир Ильич такому словарю в деле подъема и развития советской культуры. Знаменательно, что В. И. Ленин рассматривал толковый словарь как руководство «для пользования и учения всех».

Создание сжатого толкового нормативного словаря русского литературного языка от Пушкина до Горького, рассчитанного на массового читателя, было делом сложным, трудоемким. Группа советских филологов (В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский) во главе с Д. Н. Ушаковым, взявшаяся за создание такого словаря, смогла закончить и издать I том его лишь в 1934 г. Последний, IV том вышел из печати в 1940 г. Как первый опыт популярного нормативного словаря современного литературного языка «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова является крупным событием в истории советской лексикографии. Ценность этого словаря заключается в том, что, подводя итоги предшествующей работы над составлением толковых словарей литературного языка, он в доступной форме доводит до сведения массового читателя достижения академической лексикографии. В нем впервые в русской лексикографии широко и последовательно применяется специальная система помет, указывающих на чисто стилистическую природу слова или отдельного его значения (книжное, торжественное, просторечное, вульгарное), на выразительные оттенки слов (бранное, ироническое, неодобрительное, шутливое, презрительное и др.), на историческую перспективу (новое, старинное, устарелое, дореволюционное и др.), на специальную сферу применения слова (научное, техническое, канцелярское, поэтическое и др.). (Система стилистических помет разработана В. В. Виноградовым.) Словарь содержит большой материал, показывающий те изменения, которые произошли в русском языке после Великой Октябрьской революции. Определенную ценность представляют

[1] В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 416.
[2] Там же, стр. 421.
[3] Там же, стр. 428.

и нормативные указания словаря в области грамматической, произносительной, орфографической.

Трудно переоценить значение «Толкового словаря русского языка» Д. Н. Ушакова в развитии советской лексикографии. Достаточно указать, что в основе почти всех двуязычных русско-национальных и русско-иностранных словарей, в большом количестве издаваемых в течение последних пятнадцати лет у нас в Советском Союзе, лежит (в русской части) словарь Д. Н. Ушакова. Влияние этого словаря заметно сказывается и на новых томах большого академического «Словаря современного русского литературного языка».

На основе словаря Д. Н. Ушакова одним из его авторов С. И. Ожеговым составлен однотомный «Толковый словарь русского языка» под ред. С. П. Обнорского (первое издание 1949 г., 2-е, исправленное и дополненное, 1952 г.). В нашей лексикографической традиции словарь С. И. Ожегова представляет собой первый удачный опыт создания однотомного научного нормативного словаря. В этом словаре словарный состав русского литературного языка наших дней, в его активной части, нашел широкое отражение, стилистическая оценка слов довольно точно передает систему современного словоупотребления. Большое научное и практическое значение имеет проведенная в словаре нормализация в области грамматических форм, орфографии и ударения [1].

В 1955 г. вышел из печати словарь-справочник «Русское литературное ударение и произношение», подготовленный Институтом языкознания АН СССР под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. Это первый опыт «создания краткого общедоступного справочника, который должен, во-первых, давать ответы на конкретные вопросы о правильном произношении отдельных слов и выражений, во-вторых, служить пособием по общим вопросам русского литературного произношения и ударения» (из «Предисловия»). И как первый опыт словарь безусловно является положительным явлением в советской лексикографии. Самостоятельную научную ценность имеет приложенная к словарю статья «Сведения о произношении и ударении» [2].

К типу словаря-справочника примыкает и большой «Орфографический словарь русского языка» Института языкознания АН СССР (редакторы С. И. Ожегов и А. Б. Шапиро). В нем спорные случаи правописания унифицированы на основе данных «Правил русской орфографии и пунктуации». По охвату лексики и по полноте показа грамматических форм данный словарь превосходит все орфографические словари, изданные у нас за советское время. В этом его практическая ценность [3].

Большое принципиальное и научное значение имеет выход в свет в 1956 г. I тома четырехтомного «Словаря языка Пушкина», подготовленного сотрудниками группы Пушкинского словаря Института языкознания АН СССР (ответственный редактор словаря — акад. В. В. Виноградов, редактор I тома — И. С. Ильинская). Это первый в нашей стране полный словарь языка писателя, составленный на уровне требований современной научной лексикографии. С выходом его осуществится давнишняя мечта русской филологической общественности — подготовить словарь великого русского поэта, основоположника русского литературного языка.

---

[1] Критический разбор словаря С. И. Ожегова дан в статье А. П. Евгеньевой «К вопросу о типе однотомного толкового словаря русского языка советской эпохи» (ВЯ, 1953, № 3).

[2] См. отзывы об этом словаре С. П. Обнорского («Р. яз. в шк.», 1956, № 5) и А. Аникина («Р. яз. в национальной шк.», 1957, № 1).

[3] См. рецензии С. П. Обнорского (ИАН ОЛЯ, 1957, вып. 3) и К. И. Былинского и Д. Э. Розенталя (ВЯ, 1957, № 5).

(Идея создания словаря Пушкина возникла еще в 1899 г., в столетнюю годовщину рождения поэта.)

Основная задача словаря — описать факты русского литературного языка, засвидетельствованные произведениями Пушкина [1]. И эта задача выполнена составителями со всей тщательностью и большим знанием дела. Принципы составления словаря подробно описаны акад. В. В. Виноградовым в «Предисловии к I тому»[2].

Словарь Д. Н. Ушакова при всех его бесспорных достоинствах в наши дни значительно устарел: он отражает словарный состав русского литературного языка 20—30-х годов и сейчас уже не может в полной мере удовлетворять современным требованиям. За истекшее после выхода словаря время в словарном составе русского языка произошли значительные изменения: он обогатился новыми словами, оформились новые значения и смысловые оттенки у многих слов, пополнился фразеологический состав, произошли заметные стилистические сдвиги в употреблении отдельных групп слов. Назрела острая потребность в толковом словаре русского языка наших дней.

Учитывая это, Президиум АН СССР принял в 1952 г. постановление, обязывающее Институт языкознания составить новый краткий толковый, нормативный, общедоступный словарь русского языка. «Инструкция» этого словаря, определяющая его тип, состав, структуру и принципы составления, была опубликована для широкого обсуждения в 1953 г. В текущем году вышел из печати I том нового четырехтомного «Словаря русского языка» (буквы А—Й, редактор А. П. Евгеньева). Отличительная особенность этого словаря заключается в том, что он, как и все большие академические словари, построен на материале богатой картотеки Института языкознания АН СССР и иллюстрирован авторитетными цитатами из различных литературных источников—классических и современных советских писателей, ученых, публицистов. Составители стремились творчески пользоваться положительным опытом предшествующих русских лексикографов и учесть достижения советской лексикологической науки. Общая научная и практическая значимость этого словаря самоочевидна.

*

Общепризнано, что капитальные толковые словари языка являются материальной базой для многих специальных филологических разысканий. С другой стороны, успехи лексикографии как дисциплины преимущественно научно-прикладного характера находятся в прямой зависимости от степени и интенсивности разработки теоретических лингвистических дисциплин, как-то: лексикологии (включая и семасиологию), проблем стилистики, общей теории лексикографии, теоретической грамматики, методологии изучения вопросов истории литературного языка, а также конкретных исторических исследований о движении семантической структуры отдельных групп лексики, об изменениях в словарном составе языка в определенную историческую эпоху и т. п.

В дореволюционной России эти разделы языкознания, имеющие первостепенное значение для лексикографической практики, как известно, разрабатывались слабо. Только в советское время многие из указанных проблем стали в центре исследовательских интересов языковедов. Здесь в первую очередь следует указать на многочисленные основополагающие

[1] [Г. О. Винокур], «Словарь языка Пушкина», в кн. «Проект словаря языка Пушкина», М.—Л., 1949.

[2] См. рецензии Ю. С. Сорокина (в настоящем номере журнала) и Р. Р. Гельгардта (ИАН ОЛЯ, 1957, № 3).

труды по лексике и лексикологии, по стилистике, по истории русского литературного языка, по языку художественной литературы, по языку писателей, по теоретическим вопросам грамматики В. В. Виноградова и обстоятельное двухтомное исследование Л. А. Булаховского «Русский литературный язык первой половины XIX века».

Стимулирующее влияние на разработку теоретических основ советской лексикологии и лексикографии имели в особенности следующие богатые идеями и наблюдениями работы В. В. Виноградова: «О формах слова» (ИАН ОЛЯ, 1944, вып. 1), «Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины» («Труды юбилейной научной сессии ЛГУ», Секция филол. наук, Л., 1946), «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке» (сб. «А. А. Шахматов», М.—Л., 1947), «Основные типы лексических значений слова» (ВЯ, 1953, № 5), «О некоторых вопросах теории русской лексикографии» (ВЯ, 1956, № 5) и ряд конкретно-исторических исследований по развитию семантики отдельных русских слов и выражений [1]. Общие лексикологические проблемы поставлены и освещены также в книге А. И. Смирницкого «Лексикология английского языка» (М., 1956), в докторской диссертации В. А. Звегинцева «О принципах семасиологических исследований» (см. автореферат — М., 1954) и в недавно вышедшей книге О. С. Ахмановой «Очерки по общей и русской лексикологии» (М., 1957).

Из теоретических работ наибольшей популярностью среди советских лексикографов заслуженно пользуется статья Л. В. Щербы «Опыт общей теории лексикографии» (Этюд 1 — Основные типы словарей) (ИАН ОЛЯ, 1940, № 3). Преждевременная смерть помешала Л. В. Щербе закончить намеченную серию этюдов по теории лексикографии, которые он хотел посвятить основополагающим проблемам лексикографии: природе слова, его значению и употреблению, его связям с другими словами того же языка, построению словарной статьи в связи с семантическим, грамматическим и стилистическим анализом слова. Вряд ли можно безоговорочно принять все лексикографические положения и утверждения Л. В. Щербы [2]. Однако статья его, блестяще написанная и четко аргументированная, побуждает к дальнейшей разработке поставленных в ней задач. Одна из важных задач нормативных толковых словарей — это установление норм (грамматических, стилистических, орфографических, произносительных). Но понятие языковой нормы как конкретно-исторического, общественно-осознанного явления и пути и способы ее выявления в теоретическом плане у нас пока еще никто не разрабатывал. Важное значение для советских лексикографов-практиков имеет следующая мысль Л. В. Щербы (указ. статья, стр. 97—98): «Очень часто норма допускает два способа выражения, считая оба правильными. Нормативный словарь поступил бы в высшей степени неосторожно, если бы забраковал одну из них, руководствуясь чистейшим произволом или личным вкусом редактора: не надо забывать, что синонимика является богатством языка, которое позволяет ему развиваться, предоставляя говорящему и пишущему широкие возможности для более тонкой нюансировки их мыслей (то же относится, конечно, и к складывающимся литературным языкам, где на первый взгляд иногда даже кажется, что нормы вовсе нет, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что она просто очень широка). Не менее нужно опасаться

[1] Библиография работ В. В. Виноградова дана в сб. «Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шестидесятилетию» (М., 1956).

[2] См., например, серьезные возражения против ряда мыслей Л. В. Щербы в статьях Н. И. Ф е л ь д м а н «Об анализе смысловой структуры слова в двуязычных словарях» («Лексикографический сборник», вып. 1, М., 1957) и «О специфике небольших двуязычных словарей» (ВЯ, 1952, № 2).

и произвольной дифференциации синонимических форм: на этих путях легко можно сделать литературный язык без надобности затрудненным...

В чем же должна состоять нормализаторская роль нормативного словаря? В поддержании всех живых норм языка, особенно стилистических (без этих последних литературный язык становится шарманкой, неспособной выражать какие-либо оттенки мысли); далее, в ниспровержении традиции там, где она мешает выражению новой идеологии; далее, в поддержании новых созревших норм там, где проявлению их мешает бессмысленная косность. Все это происходит помимо всяких нормативных словарей; однако эти последние могут помогать естественному ходу вещей, а могут и мешать ему, направляя развитие языка по ложным путям».

Эти указания имеют первостепенное значение для советских лексикографов-нормализаторов именно в наши дни, когда кое-где наблюдаются ясные архаизаторские тенденции при установлении языковых норм [1].

В области изучения общих и конкретных вопросов русской лексикологии и лексикографии у нас в течение последнего десятилетия наблюдается значительное оживление. Опубликовано большое количество статей по различным проблемам русской современной и исторической лексикологии. Показательно, что за последние годы защищены десятки диссертаций по вопросам истории и теории лексикографии: В. В. Розановой «„Словарь церковнославянского и русского языка", составленный Вторым отделением Академии наук, СПб., 1847 (История создания, принципы построения)» (Л., 1952); Г. П. Галовановой «Я. К. Грот как лексикограф» (Л., 1953); М. В. Канкава «В. И. Даль как лексикограф» (докторская диссертация) (Тбилиси, 1952); В. П. Ковалева «Сочетания слов в словаре языка писателя (преимущественно на материале повестей Л. Н. Толстого)» (М., 1955), Н. З. Котеловой «Характеристика синтаксических связей слов в толковом словаре» (Л., 1954) и мн. др. Среди многочисленных работ по русской исторической лексике выделяются два монографических исследования: Ф. П. Филина «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи» (Л., 1949) и П. Я. Черных «Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период» ([М.], 1956)[2].

Показателем роста и оживления научной мысли в области лексикологии и лексикографии в Советском Союзе является возникновение специальных периодических органов: «Лексикографічний бюлетень», издаваемый Академией наук УССР, и «Лексикографический сборник» Института языкознания АН СССР (вышел 1-й выпуск, находятся в печати выпуски 2—3-й), в которых публикуются интересные и актуальные для лексикографической практики статьи.

Определенное научное и большое организующее и руководящее значение имеют инструкции для составителей словарей: 1) «Словарь русского языка. Инструкция для редакторов», сост. С. П. Обнорским (М. —Л., 1936); 2) «Проект „Словаря современного русского литературного языка"» (М.—Л., 1938); 3) «Проект „Словаря языка Пушкина"» (М.—Л., 1949); 4) «Инструкция для составления „Словаря современного русского литературного языка (в трех томах)"» (б. м., 1953); 5) «Инструкция для составления „Словаря современного русского литературного языка (в 14 томах)"» (находится в печати).

---

[1] О лексикологических работах Л. В. Щербы см. статью Е. С. Истриной «Л. В. Щерба как лексикограф и лексиколог» (сб. «Памяти акад. Л. В. Щербы», Л., 1951).

[2] Почти полная библиография работ по русской лексике и лексикографии приводится в докладе В. В. Виноградова на Международном совещании славяноведов в Белграде: «Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР» (М., 1955).

Сравнение этих инструкций показывает, как в них заметно совершенствуется и углубляется постановка и освещение центральных вопросов практической лексикографии, как плодотворные идеи советской теоретической лексикологии (в особенности идеи В. В. Виноградова) постепенно проникают в практику составления словарей.

Безусловно, наши академические словари далеки от совершенства: в них все еще имеются непоследовательности разного характера, неточные толкования, спорные случаи раскрытия семантической структуры слова, не всегда ясны методика выделения и размещения значений слов, принципы классификации фразеологизмов, особо спорны приемы толкования семантически однородных или близких слов или отдельных значений и т. п. Поэтому естественно, что взыскательного знатока-лексиколога наши словари не могут вполне удовлетворить. Некоторое отставание лексикографии от тех высоких научных требований, которые законно предъявляют ей наши теоретики-лексикологи, объясняется главным образом тем, что до сих пор не определено, какими приемами и методами можно и нужно реализовать в нормативных толковых словарях весь комплекс этих сложных научных требований. Кроме того, многие насущные вопросы практической и теоретической лексикографии еще не разрешены в должной мере и конкретности[1].

Русская академическая лексикография за сорок лет своего развития преодолела немалые трудности и достигла определенных успехов. Но самым бесспорным достижением, гарантирующим дальнейшее ее быстрое движение, является то, что она в настоящее время располагает большим коллективом молодых, вполне подготовленных к лексикографической работе специалистов, среди которых имеется не один десяток талантливых и творческих работников.

---

[1] См. о них в статье О. С. Ахмановой, В. В. Виноградова, В. В. Иванова «О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии» (ВЯ, 1956, № 3), а также в передовой статье «Лексикографического сборника» (вып. 1).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

М. М. ГУХМАН

ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ[1]

1

За последние десятилетия развитие сравнительного изучения индоевропейских языков определялось по преимуществу двумя факторами: 1) открытием новых языковых материалов, постепенно включавшихся в орбиту исследования; 2) поисками, а отчасти и использованием новых приемов анализа языковых фактов [2].

Как известно, открытие и последующее изучение хеттского и тохарского языков прежде всего в значительной степени изменили представления о древнейшей структуре общеиндоевропейского языка и о его диалектном членении, хотя они оказали влияние и на историческое осмысление давно известных фактов отдельных групп и языков [3].

Новые материалы помогли внести временну́ю перспективу в реконструкцию общеиндоевропейских форм, способствуя восстановлению истории общеиндоевропейского языка и расширению проблематики сравнительно-исторических исследований. В то же время факты хеттского и тохарского языков, используемые при изучении диалектного членения индоевропейского языка, помогли обнаружить сложные, переплетающиеся линии древних изоглосс и вскрыть многоступенчатые процессы интеграции и дифференциации в пределах индоевропейской языковой общности. Под влиянием хеттских и тохарских материалов изменилось отношение к данным греческого и древнеиндийского языков, используемых для реконструкции общеиндоевропейского состояния.

Отчасти в связи с расширением перспектив сравнительно-исторических исследований, но главным образом под влиянием развития других областей языкознания растет интерес к вопросам методики сравнительного языкознания. Традиционная система исследовательских приемов, объединяемая обычно понятием сравнительно-исторического метода, сложилась в связи с решением относительно узкого круга вопросов: основное содержание сравнительной грамматики индоевропейских языков XIX и XX вв. может быть определено как реконструкция звукового и морфем-

[1] Основой статьи послужил доклад автора, прочитанный в ноябре 1956 г. на сессии по германскому языкознанию в Ин-те языкознания АН СССР.

[2] Показательны в этой связи материалы VII Международного лингвистического конгресса (см. «Proceedings of the Seventh International Congress of Linguists», parts 1—2, London, 1956—в разделах, посвященных сравнительному языкознанию).

[3] Здесь можно напомнить, например, что ларингальная теория и фонетическая теория корня не только определили современное понимание фоно-морфологической структуры индоевропейского языка-основы, но и повлияли на интерпретацию фактов отдельных языков. См. анализ германского материала в работах Лемана (W. Lehmann, Proto-Indoeuropean phonology, Austin, 1952, а также отдельные его статьи в журнале «Language» за последние годы); интерпретацию древнеиндийского материала см. в монографии Т. Бэрроу (T. Burrow, The Sanskrit language, London, 1955) и др.

ного состава праязыка накануне обособления отдельных языковых групп. Возникшая позднее задача дальнейшего проникновения в глубь истории общеиндоевропейского языка, стремление восстановить последовательные этапы его развития требовали пополнения старой системы приемов. Именно с этим связано интенсивное применение так называемой внутренней реконструкции в индоевропеистике последних десятилетий. Однако по мере углубления в историю общеиндоевропейского языка эффективность применения внутренней реконструкции уменьшалась. Необходимо было найти какие-то дополнительные материалы и приемы анализа. Вместе с тем и распространение сравнительно-исторического метода в области семасиологии и синтаксиса индоевропейских языков вело, как это уже отмечалось в литературе, к поискам новых путей исследования [1].

Наряду с этим несомненные достижения методики исследования в других областях лингвистической науки в свою очередь влияли на развитие сравнительного языкознания и вносили изменения в традиционную компаративистику. Так, успехи методики языкового анализа синхронной лингвистики, в особенности достижения фонологии, открыли новые возможности для совершенствования приемов исследования сравнительного языкознания. Вопрос о соотношении методики языкового анализа, дескриптивной лингвистики и сравнительного языкознания, являющийся одним из аспектов более общей проблемы о соотношении диахронной и синхронной лингвистики, был впервые со всей определенностью поставлен еще в тезисах Пражского кружка (конец 20-х годов). В последующие годы он подымался в отдельных исследованиях, а на VII Международном конгрессе языковедов различные варианты трактовки этой проблемы нашли свое выражение в выступлениях Ельмслева, Фурке, Мартине, Мэтьюса и др. [2]. Доминирующим было мнение о желательности перенесения приемов фонологии, дескриптивной грамматики и семасиологии в сравнительно-исторические исследования. Идеи эти получили уже частичную реализацию в исследованиях Куриловича и Фурке о передвижении согласных в германских языках [3], в статье Сафаревича об индоевропейских задненёбных [4], поскольку здесь фонологические принципы применялись к проблемам сравнительно-исторического языкознания. В свою очередь Э. Бенвенист наметил пути использования приемов семасиологии в этимологических разысканиях [5].

В настоящее время большинство компаративистов не отрицает необходимости использовать в сравнительном языкознании некоторые принципы и приемы, сложившиеся в синхронной лингвистике; спор по преимуществу может и должен идти о том, какие элементы синхронного анализа языка следует включить в сравнительно-историческое исследование, как эти привнесенные элементы, сочетаясь со старыми приемами, должны

[1] См., например, следующие статьи: С. Б. Бернштейн, Основные задачи, методы и принципы «Сравнительной грамматики славянских языков», ВЯ, 1954, № 2; В. Н. Ярцева, Проблема выделения заимствованных элементов при реконструкции сравнительно-исторического синтаксиса родственных языков, ВЯ, 1956, № 6.

[2] См. «Proceedings...», стр. 427—429 и сл., 431 и сл.

[3] См.: J. Kuryłowicz, Le sens des mutations consonantiques, «Lingua», vol. I, 1, 1947; J. Fourquet, Les mutations consonantiques du germanique, Paris, 1948; ср. также Э. А. Макаев, Некоторые явления системы согласных германских языков с фонологической точки зрения, «Научная сессия [Ин-та языкознания АН СССР] по вопросам германского языкознания. 27—30 ноября 1956. Тезисы докладов», М., 1956.

[4] См. J. Safarewicz, Pochodzenie trzech szeregów spółgłosek tylnojęzykowych w prajęzyku indoeuropejskim, «Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU», t. 46, № 1—5, 1945.

[5] См. E. Benveniste, Problèmes sémantiques de la reconstruction, «Word», vol. 10, № 2—3, 1954.

быть подчинены основным задачам сравнительно-исторического языкознания.

Значительно более сложным является вопрос о том, необходимо ли в поисках новых путей развития сравнительного языкознания обращаться к материалам, а отсюда — и к приемам типологических исследований. Вопрос этот неоднократно ставился как в теоретическом, так и в практическом плане. Он остается актуальным и в настоящее время, поскольку существуют такие сферы реконструкции общеиндоевропейского языка, для которых материал родственных языков оказывается пока что недостаточным: это проблемы сравнительно-исторического синтаксиса и вопросы, связанные с изучением первоначального значения словоизменительных категорий; большие трудности вызывает и восстановление самой истории языка-основы.

2

По своим задачам, по материалу и приемам анализа лингвистических фактов типологические исследования резко отличаются от сравнительно-исторических. Общим для всех типологических исследований, независимо от их частных особенностей, является выделение и изучение определенных структурных категорий, устанавливаемых на основании сопоставления языков, не связанных генетической общностью.

Общим для типологических исследований, существенно отличающим их от сравнительного языкознания, является сопоставление не материально одинаковых и генетически тождественных элементов, а элементов, не связанных ни материально, ни генетически, но обнаруживающих общие черты в структурных моделях или типах отношений (например, в распределении функций между элементами падежной системы, специально в оформлении субъектно-объектных отношений, в характере видовых противопоставлений, в типе фонологических противопоставлений и т. д.).

Общим для типологических исследований, составляющим отличие от сравнительно-исторического языкознания, является сопоставление не отдельных звуков, морфем, словоизменительных форм, а сопоставление относительно целостных систем, известных структурных отношений, более общих или более частных корреляций (например, сопоставление определенных фонологических систем, синтаксических моделей, словоизменительных парадигм).

В типологических исследованиях всегда сопоставляются категории функционально общие, так как только функциональная общность и образует основу любого типологического сопоставления, специфика же сравнительно-исторического языкознания допускает сопоставление элементов, функционально не тождественных на данном временно́м отрезке, если только они тождественны генетически (например, сопоставление форм германского претерита с индоевропейским перфектом или аористом при восстановлении временной системы германских языков или форм индикатива и конъюнктива для реконструкции архетипа и.-е. личных окончаний).

Можно сказать, что исходная позиция сопоставления, применяемого в любом типологическом исследовании, — структуральна, исходная же позиция сопоставления, применяемого в сравнительном языкознании, — материальна. Приемы исследования и характер привлекаемого материала тесно связаны. Надо вместе с тем отметить, что сами типологические исследования имеют известные разновидности: условно можно выделить синхронно-типологические и историко-типологические исследования. В первых путем сопоставления разных языков, безотносительно к их генетической общности, устанавливается в чисто статическом плане наличие сходных

структурных особенностей. Наиболее ярким примером синхронно-типологических исследований может служить известная монография Л. Ельмслева о падеже [1]. При историко-типологических исследованиях путем сопоставления разных языков, опять-таки безотносительно к их генетической общности, устанавливают известные общие тенденции развития; в качестве примера можно сослаться на работы Ван-Гиннекена, Тромбетти, И. И. Мещанинова и др. Конечно, само это разграничение довольно условно.

3

Прежние работы, посвященные интересующей нас проблеме, могут быть разбиты на три группы.

Первая группа исследований не ставит никаких методико-теоретических вопросов. Знакомство с неиндоевропейским языковым материалом (в одних случаях более глубокое, в других — довольно поверхностное) ведет к сопоставлению единичных фактов индоевропейских языков со специфическими категориями языков других семей и далее к реконструкции структурных отношений, не засвидетельствованных непосредственно материалом индоевропейских языков. Так, еще Потт в конце XIX в. [2] дал пример сопоставления структурных особенностей так называемой эргативной конструкции с особенностями оформления именительного и винительного падежей *-o-* основ в индоевропейских языках. Х. Уленбек в 1901 г. развил мысль Потта и осуществил реконструкцию падежной системы индоевропейского праязыка на основании структуры падежных противопоставлений в языках с эргативной конструкцией [3]. Методика сопоставления и последующая реконструкция, примененные Уленбеком, повторяются впоследствии во многих однотипных работах (Г. Карольсфельда, Г. Вельтена, П. Кречмера, И. Кноблоха [4] и других). Поэтому следует несколько подробнее остановиться на указанной статье Уленбека.

В методике сопоставления и выводах Уленбека обращают на себя внимание три момента, очень типичные для данной группы исследований.

1. Падежное противопоставление, характерное для так называемой эргативной конструкции, отрывается от той системы координирующих признаков, в которой данное противопоставление реально существует. Координирующими признаками прежде всего является четкое различие переходного и непереходного глагола (или глагола действия и состояния), если эта конструкция существует в языках с оформившимися глагольными категориями, или различие в оформлении схемы предиката, иногда и то и другое; отсутствие этих координирующих признаков в индоевропейских языках не принимается авторами во внимание.

2. Так называемая эргативная конструкция рассматривается в тех языках, где она обнаружена, как нечто данное, вне ее исторического осмыс-

---

[1] L. Hjelmslev, La catégorie des cas. Etude de grammaire générale, «Acta jutlandica»: VII, 1 — 1935; IX, 2 — 1937.

[2] A. F. Pott, Unterschied eines transitiven und intransitiven Nominativs, «Beiträge zur vergl. Sprachforsch.», Bd. VII, Hf. 1, Berlin, 1871.

[3] См. C. Uhlenbeck, Agens und Patiens im Kasussystem der indogermanischen Sprachen, «Indogerm. Forsch.», Bd. XII, 1901, стр. 170—171 (русский перевод см. в сб. «Эргативная конструкция предложения», М., 1950, стр. 101—102).

[4] См.: Г. Ш. Карольсфельд, О переходных и непереходных глаголах, перевод с нем., сб. «Эргативная конструкция предложения», М., 1950; H. V. Velten, On the origin of the categories of *voice* and *aspect*, «Language», vol. VII, № 4, 1931; P. Kretschmer, Objektive Konjugation im Indogermanischen, Wien, 1947; J. Knobloch, La voyelle thématique-e-/-o- serait-elle un indice d'objet indo-européen?, «Lingua», vol. III, 4, 1953.

ления. Однако для картвельских языков, по мнению А. С. Чикобава, характерные для данной конструкции отношения являются чем-то вторичным.

Вместе с тем Уленбек не пытался показать в неиндоевропейских языках тенденций перехода к новому типу противопоставлений, характерному для падежной системы индоевропейских языков, что в какой-то степени могло оправдать привлечение данного материала.

3. Привлекаемый материал индоевропейских языков не подвергался необходимой обработке. Между тем далеко не ясным является историческое место склонения с основами на *-o-* в именном словоизменении индоевропейского праязыка, в равной степени как и древность тех соотношений, которые выступали в приведенных примерах. Если предполагать эргативное прошлое общеиндоевропейского языка, то оно во всяком случае было настолько отдаленным, что с ним могут быть соотнесены только такие явления индоевропейских языков, древность которых более или менее очевидна.

Те же приемы и та же методика выступает и в исследованиях Вельтена и Карольсфельда о залогах, в статье Кречмера, пытавшегося найти остатки объективного спряжения в индоевропейских языках, в статье Кноблоха и т. д. [1]. Методика сопоставления и приемы реконструкции, примененные в этих работах, не представляются нам достаточно разработанными, чтобы их можно было использовать в сравнительно-исторических исследованиях.

Вторая группа исследований, очень близко примыкающая к первой, представлена трудами советских языковедов [2] и связана с популярной в тридцатых и сороковых годах теорией стадиальности. Не останавливаясь здесь ни на различных вариантах этой теории, ни на ее критике, поскольку по данной тематике написано много работ и критических исследований, следует отметить наиболее характерные для этой группы приемы введения и использования неиндоевропейского материала, полученного в результате анализа некоторых структурных моделей в различных неиндоевропейских языках (например, структуры инкорпорированного комплекса в языках Севера [3], семантико-синтаксической структуры «предикативных имен» в тюркских языках [4], дативной конструкции в картвельских языках [5] и т. д.

Введение неиндоевропейского материала основывалось прежде всего на стадиальных типологических построениях, которым приписывалась общеязыковая значимость. Именно в стадиальных схемах устанавливалась довольно произвольная относительная хронология между сопоставляемыми структурными моделями, причем обычно неиндоевропейские модели расценивались как стадиально более древние, в отличие от закономерностей индоевропейских языков, и служили основанием для реконструкции древнейших этапов истории этих языков. Для методики же сопоставления характерным являлось отсутствие должного

[1] Ср. также отдельные работы Э. Леви, привлекавшего типологические параллели при освещении вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков, например его статью: E. L e w y, Zur urindogermanischen Flexion, «Indogerm. Forsch.», Bd. 56, Hf. 1, 1938.

[2] См. следующие работы: С. Д. К а ц н е л ь с о н, К генезису номинативного предложения, М.—Л., 1936; А. В. Д е с н и ц к а я, Архаические черты в индоевропейском словосложении, сб. «Язык и мышление», т. 11, 1948, стр. 133—152; М. М. Г у х м а н, Происхождение строя готского глагола, М.—Л., 1940.

[3] См. А. В. Д е с н и ц к а я, указ. соч.

[4] См. М. М. Г у х м а н, О стадиальности в развитии строя индоевропейских языков, ИАН ОЛЯ, 1947, вып. 2.

[5] Там же.

сравнительно-исторического осмысления тех закономерностей индоевропейских языков, которые сопоставлялись с неиндоевропейскими структурными моделями. Хотя сопоставляемые структуры нередко рассматривались в системе координирующих признаков, материал отдельных групп индоевропейской семьи, например германских языков, греческого и древнеиндийского, взятый к тому же из разных исторических эпох этих языков, непосредственно сопоставлялся с неиндоевропейскими моделями в целях реконструкции более древнего состояния, без достаточно тщательного предварительного исследования исторического места данных структурно-семантических отношений в индоевропейской языковой семье. Следствием подобной методики сопоставления являлось искаженное представление о закономерностях развития индоевропейских языков. Таким образом, и этот опыт включения результатов типологических исследований в сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков нельзя считать удачным.

Третью группу составляют исследования структурального направления. Теоретические основы этих исследований были впервые разработаны в тезисах Пражского кружка и были развиты в ряде трудов, в том числе в ранних работах Ельмслева. Существенным для задач сравнительной грамматики являлось здесь стремление преодолеть ту обособленность сравнительного языкознания и типологии языка, которая была типична для младограмматического направления. Однако эти важные для развития сравнительной грамматики положения были у названных авторов лишь производными по отношению к центральной проблеме о соотношении диахронной и синхронной лингвистики. В этом отношении интересны не только известные тезисы Пражского кружка, но и статьи, опубликованные в первом томе «Трудов Пражского лингвистического кружка», особенно же статья чешского германиста Б. Трнки [1] «Аналитический метод сравнения и сравнительно-историческая грамматика».

Справедливо отмечая, что в прошлом сравнительное изучение, например, славянских языков сводилось в основном к генетическим проблемам, т. е. к поискам общего прототипа, авторы «Тезисов» указывают на необходимость более широкого применения сравнения, так как этот метод позволяет вскрыть законы структуры лингвистических систем и эволюцию последних. Материалом же сравнения, по мнению авторов, могут являться в равной степени неродственные и родственные языки. При такой постановке вопроса до известной степени стираются грани между сравнительно-историческими и типологическими исследованиями, хотя авторы «Тезисов» и выделяют в специальный пункт значение структурального сравнения родственных языков. Конечно, тезисная форма не могла дать сколько-нибудь полного представления о том, каковым мыслили себе тогда пражцы соотношение сравнительной грамматики и приемов типологических исследований. Весьма существенно, однако, что согласно формулировкам, приведенным в «Тезисах», сравнительный метод отнюдь не сводился к синхронному сопоставлению структурных систем разных языков, но должен был вскрыть основные тенденции развития отдельных языков.

В несколько иной форме эти мысли повторяются и в названной выше статье Трнки. Противопоставляя еще в более резкой форме прежнему диахроническому или историческому методу метод синхронно-сравнительный или аналитический, автор считает, что они взаимно дополняют друг друга. Поэтому Трнка полагает, что, например, при изучении истории германских языков следует применять оба метода: при помощи перво-

[1] См. B. Trnka, Méthode de comparaison analytique et grammaire comparée historique, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», vol. I, 1929, стр. 33—38.

го прослеживают изменения отдельных языковых явлений, второй используется при более сложном и глубоком изучении тех различных эпох существования германских языков, которые подлежат в дальнейшем сравнительному анализу.

Объединение методики изучения родственных и неродственных языков и вместе с тем своеобразный синтез сравнительной грамматики и общего языкознания декларирует и Ельмслев в предисловии к своей известной монографии «Категория падежа». «Этот очерк, — пишет автор, — должен показать, что́ мы понимаем под общей грамматикой. Следует отказаться как от противопоставления морфологии синтаксису, так и от деления лингвистики на общее и сравнительное языкознание. Синтетическим путем следует объединить всю совокупность фактов. Тем самым «общая грамматика» помогла бы разрешению тех эволютивных проблем, которые в области «синтаксиса» остались неразъясненными традиционным методом. Индоевропейское языкознание должно основываться на общем языкознании, а эволютивная лингвистика на лингвистике синхронной».

Таким образом, после длительного разобщенного развития сравнительного языкознания и типологических исследований, в конце 20-х годов нашего столетия намечается стремление к весьма своеобразному их объединению, различно преломлявшееся у разных исследователей в зависимости от их научных интересов. Насколько новыми были высказанные здесь идеи, можно судить, если сопоставить их с известными рассуждениями А. Мейе в его небольшой монографии «Сравнительный метод в историческом языкознании», где не только противополагаются два вида сравнения — сравнение, имеющее целью обнаружить общие закономерности, и сравнение, применяемое для того, чтобы добыть исторические сведения, но и подчеркивается, что первый тип сравнения несовместим с конкретно-историческими исследованиями [1].

Отметим, что *сравнительно-типологические исследования* структурального типа имели в основном *сопоставительный* характер, даже в тех случаях, когда их авторами были такие блестящие компаративисты, как Бенвенист [2].

Монография Ельмслева о категории падежа, содержавшая в предисловии столь интересные обещания, оказалась образцом синхронно-типологического исследования, остающегося в пределах сопоставительного анализа. Практически указанная работа дает серию очерков-описаний структуры падежных систем разных языков, объединенную лишь единым принципом рассмотрения, выработанным чисто дедуктивным путем. Этим единым принципом является сведе́ние всего разнообразия падежных систем к трем разновидностям (системы с одним, двумя и тремя измерениями). Материал разных языков, по замыслу автора, служит наглядной иллюстрацией трех типов структур. Этот материал предполагалось в дальнейшем использовать как своеобразный типологический комментарий при выявлении основы падежных противопоставлений в индоевропейских языках. Но вопрос об историческом (временно́м) соотношении различных падежных систем между собой, об относительной хронологии рассмотренных явлений в указанной работе не ставился. Попытка синтезирования типологических и конкретно-исторических исследований, типологии и сравнительной грамматики привела в рассмотренной работе к полному пренебрежению историческим, или, по терминологии самого Ельмс-

[1] А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, перевод с франц., М., 1954.

[2] См., например, E. Benveniste, Structure des relations de personne dans le verbe, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. 43, fasc. 1, 1947.

лева, эволютивным принципом. Небезынтересно отметить, что и Н. С. Трубецкой пошел по пути отказа от принципов сравнительно-исторического языкознания, заменив их методикой синхронно-типологических сопоставлений [1].

Практически отсутствуют элементы исторического рассмотрения и в интересном исследовании Бенвениста о категории лица в глаголе. Установление на базе сопоставления материала разных языковых семей некоторых общих закономерностей в соотношении 1-го, 2-го и 3-го лица, выделение «неличного» характера 3-го лица отнюдь не служат здесь основанием для реконструкции. Не случайно в более поздней статье Бенвенист, широко используя некоторые приемы синхронной лингвистики, подчеркивает вместе с тем необходимость изучать различные варианты значений в функционировании отдельных лексических единиц, не прибегая при этом к универсальным семантическим категориям и закономерностям [2].

Автор совершенно справедливо полагает, что сопоставительно-типологические и сравнительно-исторические исследования представляют собой *две разных области лингвистической науки*, несмотря на широкое использование тех приемов синхронной лингвистики, которые связаны с системным анализом языковых форм [3].

Синхронно-сопоставительные типологические исследования представляют собой особую сферу лингвистической науки, близкую задачам общей грамматики, но никак не проблематике сравнительно-исторических исследований. В этом смысле был прав А. Мейе, настаивавший на разграничении указанных двух видов сопоставлений. Более того, материал таких сопоставительных исследований не может быть непосредственно включен в сравнительно-историческое языкознание. Тот факт, что так называемая эргативная конструкция обнаруживается в результате многочисленных синхронно-сопоставительных исследований во многих исторически и территориально весьма далеких друг от друга языках [4], еще не дает основания реконструировать ее для общеиндоевропейского языка. Это оказалось бы возможным только в том случае, если бы было предварительно показано, во-первых, что данное построение типично, узуально для большинства языков, во-вторых, что оно типологически является более древней моделью, и, в-третьих, что подобные тенденции развития подтверждаются материалом нескольких семей языков и являются *общими закономерностями развития языковой структуры*. В противном случае мы имеем дело с чисто случайными сопоставлениями и аналогиями.

Естественно, что еще менее убедительны единичные сопоставления с произвольно выбранными фактами из материала неиндоевропейских языков. Так, реконструкция первичного состава согласных фонем индоевропейских языков представляет до настоящего времени значительные труд-

---

[1] См. N. S. Trubetzkoy, Gedanken über das Indogermanenproblem, «Acta Linguistica», vol. I, fasc. 2, Copenhague, 1939.

[2] См. E. Benveniste, Problèmes sémantiques...

[3] Небезынтересно вместе с тем, что и у Ельмслева, и у Бенвениста эта системность реализуется в типологических исследованиях весьма ограниченно, только внутри определенной словоизменительной парадигмы (система падежей, система многих форм глагола), безотносительно к более широким обязательным координирующим признакам. Так, например, Бенвенист не касается системы оформления категории лица в местоимениях; между тем во многих языках и здесь наблюдается обособление третьего лица. У Ельмслева почти не показана связь разных падежных систем с оформлением субъектно-предикативно-объектных связей и т. д.

[4] См. в этой связи, помимо указанных выше статей, сообщение К. Регамей на VII Международном конгрессе языковедов (см. «Proceedings...», стр. 129—130).

ности; спорным является, например, исконный характер аспирированных согласных, представленных в древнеиндийском звонкими смычными с придыханием; спорным является и вопрос о том, каково историческое соотношение между противопоставлением «глухой смычный — звонкий смычный» и противопоставлением «сильный — слабый». Сопоставления для доказательства той или иной гипотезы с материалами, произвольно выбранными из неиндоевропейских языков, не могут дать никакой точки опоры, так как остается неизвестным, во-первых, насколько данное явление типично вообще и, во-вторых, является ли оно в индоевропейских языках чем-либо первичным или вторичным.

Современные теории индоевропейского корня ведут к предположению о его преимущественно консонантном характере. Сложная система доказательств, осуществленная при помощи высокой техники современных приемов анализа, сделала вероятным предположение о том, что в ранний период истории индоевропейского языка вокальный элемент был представлен неким нейтральным звуком, лишенным качественной определенности, характерной для вокализма более поздних этапов развития индоевропейской семьи. Нечто сходное, как известно, отмечал Трубецкой в фонологической системе адыгейского языка. Однако привлечение в этом случае адыгейского материала не может служить подтверждением правильности такой реконструкции. Оно лишь показывает возможность существования подобного языкового типа.

Примеры можно было бы продолжить, однако представляется несомненным, что как в области собственно грамматики, так и в области фонологических изысканий сопоставительный материал, не обладающий узуальностью и не позволяющий определить относительную хронологию изучаемых явлений, тенденции их развития, не способен дать ничего достоверного для реконструкции и не может служить доказательством делаемых выводов. В лучшем случае он показывает, что аналогичные явления возможны в языке.

Вместе с тем могут быть случаи, когда материал синхронно-типологических исследований служит стимулом к пересмотру некоторых схем традиционной сравнительной грамматики. Вернемся к рассмотренной выше работе Бенвениста. Приведенный в этой статье сопоставительный материал позволяет сделать вывод о распространенности типа парадигмы спряжения, в которой выделяется неличный характер 3-го лица. Конечно, сам этот вывод на дает еще основания для предположения, что некогда, в эпоху существования индоевропейской общности, имелось подобное построение, а тем более, что оно было исконным, но узуальный характер приведенных фактов позволяет рассматривать под новым углом зрения те формы, которые «нарушают» в индоевропейских языках симметричность построения. В этой связи, естественно, могут получить новое осмысление и славянские формы типа *плете*, представленные, в частности, некоторыми русскими диалектами. Возникает необходимость еще раз с новых позиций рассмотреть соотношение разных парадигматических рядов личных показателей в индоевропейских языках, тем более, что многое, считавшееся исконным, явилось, по-видимому, результатом более позднего выравнивания.

Иными словами, сопоставительный материал синхронно-типологических исследований, если он показывает узуальность наблюденного факта, может служить стимулом к пересмотру старых схем сравнительной грамматики под новым углом зрения, однако пересмотр этот должен осуществляться только на материале родственных языков при помощи совокупности исследовательских приемов, включаемых в сравнительно-исторический метод.

4

Для задач, которые решаются сравнительно-историческим языкознанием, бо́льшую пользу мог бы принести материал историко-типологических исследований. Преимуществом подобных исследований является то, что условно можно назвать фактором времени, т. е. та относительная хронология в освещении сопоставляемых структурных единиц, которая позволяет отличать более древнее и более новое, первичное и вторичное, а тем самым позволяет наметить общие тенденции развития. Наличие относительной хронологии в освещении рассматриваемых явлений — то обязательное условие, которое делает возможным использование результатов подобных трудов для реконструкции искомых явлений в истории индоевропейских языков. Сложность же заключается в том, чтобы уловить действительно типичное, узуальное, общее для развития языков, а не случайное, единичное. Наиболее убедительны в этом отношении наблюдения в области закономерностей развития звукового состава и фонологических систем.

Еще в работе 1941 г. Р. Якобсон, намечая определенную последовательность в овладении ребенком звуками речи, указывал вместе с тем, что универсальное и панхроническое значение, а также внутренняя логика установленной последовательности (имеется в виду развитие звуков) позволяет утверждать тот же тип следования и в глоттогонии [1]. В этой связи в работе Р. Якобсона приводятся материалы из трудов Тромбетти, Ван-Гинневена, Зоммерфельда и других, позволяющие установить первичность определенных типов звуков по отношению к другим звукам, например первичность взрывных по отношению к щелевым.

Наблюдения в указанной области накапливались в ряде работ последних десятилетий. Использование подобных материалов в сравнительно-историческом языкознании представляется вполне целесообразным; известно, что Н. С. Трубецкой еще в ранних своих работах (впоследствии это вошло в его старославянскую грамматику) использовал общие закономерности фонетических процессов в целях реконструкции. В этой связи можно указать, что известным подтверждением гипотезы о наличии в общеиндоевропейском языке звонких смычных с придыханием, давших в древнеиндийском *bh*, *dh*, *gh*, а в других индоевропейских языках — либо звонкие смычные чистые, либо щелевые, является узуальность такого перехода, тогда как предположение о щелевом характере этих прототипов сталкивается с невозможностью объяснить придыхательные в древнеиндийском, если не прибегать к предположению о звуковой субституции, обусловленной действием субстрата. В частности, и спор о том, какой тип противопоставления в системе индоевропейских смычных является первичным: «глухой — звонкий» или «слабый — сильный», мог бы быть до известной степени разрешен при помощи установления узуальности перехода от одного типа к другому. При этом вновь следует подчеркнуть, что сопоставляемый индоевропейский материал должен быть каждый раз обработан в сравнительно-историческом плане: привлекаться должны не случайные факты единичных индоевропейских языков, а факты, осмысленные как древний общеиндоевропейский инвентарь.

Как видно из приведенных примеров, возможность использования в сравнительно-историческом языкознании тех или иных данных историко-типологических исследований прежде всего основывается на в ы с о к о м у р о в н е р а з р а б о т к и: 1) п р о б л е м о б щ е й ф о н о л о-

[1] R. J a k o b s o n, Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, «Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar. Jan. 1940— Dec. 1942» («Uppsala Universitets årsskrift», 1942, 9), Uppsala — Leipzig, 1942.

гиии 2) особенностей фонетического строя индоевропейских языков. Эти необходимые условия нередко отсутствуют при анализе фактов, относящихся к другим аспектам языка. Историко-типологические труды в области собственно грамматики пока не дали ничего столь же разработанного и достоверного, что, конечно, связано и с значительно более сложным характером грамматического материала. С другой стороны, отнюдь не все элементы грамматического строя представляют одинаково благодарный объект историко-типологических исследований; очевидно, что только структурно-системные отношения, а не материальный инвентарь являются объектом таких разысканий.

В этой связи привлечение, например, неиндоевропейских языков при реконструкции и изучении развития материального состава отдельных словоизменительных и словообразовательных формативов было бы совершенно нецелесообразным. Напротив, историко-типологический комментарий определенных системных отношений внутри словоизменительных парадигм индоевропейских языков мог бы привести к пересмотру соотношения имеющихся в них параллельных форм. Он мог бы помочь и в реконструкции процесса развития системы значений именных и глагольных форм. Однако при данном состоянии разработки общей грамматики и такое включение материала типологических исследований представляется мало желательным. Сколько-нибудь убедительных историко-типологических исследований в этой области нет. Нет и достаточного количества накопленных наблюдений, которые позволили бы делать какие-либо выводы. Отнюдь не случайна бедность и произвольность наблюдений в этой области (см., например, статью Вельтена «Об эволюции рода, падежей и частей речи»[1]). Именно здесь наиболее сложно историческое осмысление сопоставляемого материала разных языков. Даже те языковеды, которые весьма склонны к подобным сопоставлениям, как, например, Кноблох, полагают, что они возможны лишь в отношении явлений, находящихся на грани морфологии и синтаксиса. Быть может, этим объясняется тот факт, что общая грамматика в части морфологии значительно более статична, чем общая фонология. Слишком многообразны здесь системы отношений и связей, чтобы можно было установить какие-то общие тенденции развития, выявить относительную хронологию сопоставляемых фактов с тем, чтобы в дальнейшем использовать полученные выводы при реконструкции индоевропейских форм. Даже такие общепринятые положения, как, например, первичность вида по отношению к времени, установленная на материале многих языков, не дают еще основания для каких-либо выводов, поскольку исторический материал ряда языков обнаруживает здесь значительно более сложные взаимоотношения. Поэтому вопрос о характере противопоставления в общеиндоевропейском языке тех глагольных форм, к которым исторически восходят презенс и перфект, не может быть разъяснен при помощи приемов и материала историко-типологических исследований.

Развитие морфологических моделей настолько индивидуально, что на современном этапе языкознания использование материала и приемов историко-типологических исследований в сравнительно-исторической морфологии даже на стыке с синтаксисом оказывается пока невозможным. Оно будет сводиться к случайным и мало убедительным аналогиям.

Иной характер имеет синтаксис. Как сами синтаксические модели (структура словосочетания, структура предложения), так и тенденции их развития обнаруживают гораздо больше общего в раз-

[1] H. V. Velten, Sur l'évolution du genre, des cas et des parties du discours, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. 33, fasc. 2, Paris, 1932.

ных языках. Типы синтаксических связей имеют гораздо более «общечеловеческий» характер, чем морфологические модели. Они гораздо менее индивидуальны и менее разнообразны. Поэтому возможно не только синхронно-описательное сопоставление, но и установление определенных тенденций развития, а следовательно, внесение перспективы, учет относительной хронологии, которая и позволяет в дальнейшем использовать их в сравнительной грамматике индоевропейских языков при реконструкции первоначального состояния.

Так, например, вопрос о соотношении именных оборотов и развитой системы придаточных предложений в индоевропейских языках остается до настоящего времени одним из весьма неясных разделов индоевропейского синтаксиса. Если спорным являлся, да и частично является в настоящее время вопрос о том, были ли абсолютные конструкции в славянских языках и германских языках исконным, а не заимствованным (из греческого, латыни) образованием, то тем более неясным следует считать проблему об историческом соотношении в индоевропейской семье языков обоих типов построения сложного синтаксического целого. Дописьменные этапы развития сложного синтаксического целого остаются неясными. Изучение материально-разнообразных явлений разных языков, сводимых, однако, структурно к небольшому числу моделей, и дальнейшее выявление тенденций их развития в плане общей грамматики, возможно, и было бы интересным. Методика подобного анализа и его выводы могли бы пролить свет на историю отмеченных выше явлений индоевропейского синтаксиса.

Аналогичные исследования могли бы дать положительные результаты и в отношении других разделов синтаксиса. Однако во всех случаях включению данных историко-типологических исследований в сравнительную грамматику индоевропейских языков должна предшествовать тщательная разработка соотношения рассматриваемых моделей в плане общей исторической грамматики на материале разных неродственных языков

Если, таким образом, при реконструкции синтаксических моделей общеиндоевропейского языка материал типологических исследований мог бы служить дополнительным источником, то возможность его использования зависит от степени разработанности проблем глоттогонической типологии. К сожалению, современное состояние изучения этих вопросов отнюдь не создает благоприятных условий для привлечения типологического материала в сравнительное языкознание.

Выше мы указывали, что слияние общего и сравнительного языкознания, типологических и сравнительно-исторических исследований, прокламируемое многими языковедами, не было достигнуто. По сути дела подобное слияние вряд ли следует считать желательным, так как каждый вид анализа имеет свои задачи. Однако строго научная разработка глоттогонических проблем могла бы дать вспомогательный материал для сравнительного языкознания. В то же время исследование закономерностей развития родственных языков обогащает так называемую общую грамматику. Но последнее положение — это уже иной аспект рассмотрения интересующей нас проблемы, и оно нуждается в специальном изучении.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

О. Н. ТРУБАЧЕВ

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Общеславянский этимологический словарь, традиционное построение; современное состояние вопроса; сравнение с романскими и германскими этимологическими словарями; компромисс при составлении этимологического словаря; специфика славянской этимологии

1. История составления этимологических словарей славянских языков, как известно, открывается появлением общеславянских этимологических словарей Фр. Миклошича и Э. Бернекера. «Этимологический словарь славянских языков» Фр. Миклошича[1], игравший длительное время выдающуюся роль при изучении славянской лексики, был в значительной степени (если не полностью) заменен словарем Э. Бернекера [2]. В нашу задачу не входит обсуждение исключительно этимологической стороны словаря Бернекера, которая, кстати сказать, отличается высоким научным уровнем, получила в свое время прекрасную оценку и сохраняет большое значение до настоящего времени. В данном случае нас интересуют в первую очередь принципы, на которых строится словарь как таковой. Еще первые критики словаря Бернекера указывали, что этот словарь построен в общем совершенно так же, как словарь Фр. Миклошича, представляя некоторым образом коллекцию исконных и заимствованных, древних и поздних слов разных славянских языков. В предисловии к словарю Э. Бернекер указывает, что он стремился исчерпать исконную общеславянскую лексику всех славянских языков, объединяя всякий раз родственные формы под общеславянской праформой; в словарь включено также большое количество заимствований, среди которых есть как общеславянские и ранние заимствования отдельных славянских языков, так и новые заимствования. Необходимость включения последних Э. Бернекер оговаривает для тех случаев, когда слова представляют «особенный интерес», добавляя, что во многих случаях решающим соображением являлся учет потребностей начинающих славистов. Это приводило к тому, что в словаре нашло место значительное количество недавних западных заимствований в польском и русском языках, а также множество турецких заимствований в южнославянских языках. Такой состав не мог не сообщить работе Э. Бернекера, воспринимаемой обычно как общеславянский этимологический словарь, определенного отпечатка теоретической невыдержанности, на что указал А. Мейе сразу же после ознакомления с первыми выпусками словаря[3].

[1] F. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien, 1886.

[2] E. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I (A—L), Heidelberg, 1908—1913.

[3] См. его рецензию на словарь Э. Бернекера в журнале «Rocznik slawistyczny» t. II (Kraków, 1909).

2. Следует признать, что истекшие со времени издания словаря Э. Бернекера сорок с лишним лет внесли мало нового в разработку проблематики общеславянского этимологического словаря. Прежде всего остался незаконченным и сам словарь Э. Бернекера, а новые замыслы такого рода оказывались недолговечными и не доживали до своего осуществления. Здесь можно вспомнить о планах А. Мейе и Я. Розвадовского, об обширных рукописных материалах к славянскому этимологическому словарю, которые оставил Г. А. Ильинский. Известно, что И. М. Коржинек был намерен окончить словарь Э. Бернекера и вел определенную работу в этом направлении. Возможно, данное обстоятельство дает право заключить, что принципы построения словаря, примененные Э. Бернекером, по-прежнему считались наиболее приемлемыми. К сожалению, при обсуждении проблем, связанных со славянским этимологическим словарем, которое имело недавно место у нас и в Чехословацкой Академии наук (в январе 1954 г.)[1], как-то обошли вопрос оценки принципов Э. Бернекера и, собственно говоря, не дали достаточно конструктивных указаний относительно построения общеславянского этимологического словаря. Предложения Р. А. Ачаряна, имевшего большой собственный опыт создания этимологического словаря армянского языка, в известной мере оригинальны, но плохо учитывают специфику славянского словаря. Нельзя строить общеславянский этимологический словарь на основе одного из современных славянских языков.

Кажется, наиболее серьезно в последнее время относится к идее создания славянского этимологического словаря чехословацкие слависты. Опытный этимолог В. Махек выступил в печати со статьей, посвященной проблематике славянского этимологического словаря [2]. В. Махек указывал на необходимость составления подобного синтетического труда по славянским языкам. Однако он так и не затронул проблематики построения славянского этимологического словаря как таковой и не определил во всяком случае своего отношения к соответствующим принципам Э. Бернекера, ограничившись в статье проблематикой этимологических исследований. В докладе на вышеупомянутой конференции В. Махек полнее изложил программу этимологического словаря. Сообщив о намерении использовать в предстоящей работе материалы И. М. Коржинека, собиравшегося завершить труд Э. Бернекера, В. Махек охарактеризовал цель подготовляемого словаря: полностью объяснить словарный состав славянских языков, причем должны быть привлечены и важнейшие диалектные слова. Последний момент оказался в центре развернувшейся затем дискуссии, во время которой указывали на большую разнородность диалектного материала; многие участники предлагали привлекать диалектизмы ограниченно, лишь при условии их значимости в сравнительном отношении. Оригинальную точку зрения представил на дискуссии А. В. Исаченко, высказавшийся за концентрацию усилий на этимологическом словаре какого-либо отдельного славянского языка — чешского или старославянского. В общем, судя даже по сжатому отчету «Славии», дискуссия была интересной и важной; в частности, можно, отнюдь не предрешая успеха коллективного труда Чехословацкой Академии наук по созданию славянского этимологического словаря, признать весьма симптомати-

[1] См.: Р. А. Ачарян, О составлении этимологического словаря славянских языков, ВЯ, 1952, № 4; В. И. Абаев, О принципах этимологического словаря, ВЯ, 1952, № 5; М. Н. Петерсон, О составлении этимологического словаря русского языка, там же. См также «Slavia», ročn. XXIV, seš. 1, 1955, стр. 141—145 (под рубрикой «Zprávy. Konference o slovníku jazyka staroslověnského a o etymologickém slovníku jazyků slovanských»).

[2] V. Machek, O potřebě a problematice slovanského etymologického slovníku, «Slavia», ročn. XXII, seš 2—3, 1953.

ческими выступления, в которых, с одной стороны, было указано на трудность решения проблемы диалектизмов в подобном словаре, а с другой, выражалось сомнение в целесообразности славянского этимологического словаря как такового.

3. Сопоставление состояния славянской этимологической лексикографии с положением в германской и романской может дать любопытные выводы. Такое сопоставление оправдано тем, что в судьбе этих трех групп языков много близкого: общее индоевропейское происхождение, развитие из отдельного группового праязыка, отсутствие в настоящее время этого праязыка. Особенно интересно отметить состояние этимологической разработки германской группы языков. Как известно, германский этимологический словарь, собственно говоря, отсутствует, зато имеется целый ряд этимологических словарей отдельных германских языков: немецкого, голландского, английского, датского, норвежского, шведского, исландского, готского. Отсутствие современного общегерманского этимологического словаря не представляется нам случайным. Известная лексическая самостоятельность современных германских языков сообщает опытам создания общегерманского этимологического словаря характер нереального свода[1]. Бóльшая однородность славянских языков имеет своим следствием то, что идея славянского этимологического словаря продолжает десятилетиями жить в умах славистов, хотя до настоящего времени не нашла своего реального воплощения, отвечающего современным требованиям. Дело, очевидно, в том, что принципиального различия между положением в германской и славянской группах языков нет. С другой стороны, обе названные группы языков диаметрально противостоят романской группе, в которой мы имеем дело с редкостной сохранностью традиции, когда налицо все звенья цепи — от праязыка до современных романских языков. В сущности развитие во всех трех слу̀чаях протекало совершенно аналогично, имея своим источником один праязык, но есть существенное различие, которое приобретает особое значение в вопросе составления этимологического словаря каждой из названных групп. Это различие заключается в том, что в основе романских языков лежит единый культурный язык организованного государства (имевший письменность), в то время как прагерманский и праславянский языки никогда не представляли такого единства. Несомненно, что древняя диалектная разнородность отражалась также в словаре. Во всяком случае, постоянный учет этой древней разнородности гарантирует от серьезных заблуждений, неизбежных, если предполагать единые праязыки также для таких групп, как германская и славянская[2].

Э. Бернекер, создавая этимологический словарь славянских языков, решил задачу искусственно, хотя вполне возможно, что сама специфика проблемы и условия того времени не давали ему возможности иного решения. Это особенно бросается в глаза при сравнении словаря Бернекера с любым латинским этимологическим словарем (А. Вальде или А. Эрну-А. Мейе). Принципиальное сходство общеславянского и латинского словарей в том, что оба — словари мертвых родоначальников семей родственных языков. Но письменная засвидетельствованность латинского языка значительно меняет положение вещей. Этимологический словарь латин-

[1] Большей реальностью отличаются, видимо, опыты этимологической обработки отдельных ветвей германской группы; ср.: F. Holthausen, Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Altwestnordischen, Altnorwegisch-isländischen..., Göttingen, 1948; еще раньше: H. S. Falk und A. Torp, Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1910—1911.

[2] Ср. В. Пизани, Этимология. История—проблемы—метод, перевод с итальянск., М., 1956, стр.52—53.

ского языка неизбежно реалистичен по своему составу: он отражает реально засвидетельствованную лексику. Для общеславянского языка ничего подобного не существует. Это, казалось бы, внешнее различие между общеславянским и латинским языками ощутимо сказывается на характере соответствующих словарей. В итоге славянский этимологический словарь в его известной форме представляет довольно причудливое смешение по крайней мере двух словарей: типа латинского этимологического словаря и типа романского этимологического словаря В. Мейер-Любке. Мы привыкли видеть в словаре Э. Бернекера как нечто полагающееся огромное количество поздних заимствований. Подсчеты, результат которых может, очевидно, колебаться в известных пределах, показывают, что в словаре Э. Бернекера содержится: общеславянских слов и ранних заимствований 1050, слов, известных отдельным славянским языкам, 103, поздних заимствований (главным образом отдельных славянских языков) 1278, неясных по происхождению слов 227.

Отсюда следует, что на общее число слов в словаре Э. Бернекера (2658) приходится 1278 поздних заимствований, т. е. словарь почти на половину занят словами, не имеющими никакого отношения к общеславянской лексике. Разумеется, это анахронизм, который трудно извинить даже мотивами объединения всех этимологий в одном справочнике. Это становится особенно заметным при сравнении с латинским этимологическим словарем, который есть одновременно словарь общероманский; мы не найдем в этимологическом словаре латинского языка всех слов современных романских языков, требующих этимологического изучения, по той естественной причине, что их не знал латинский (общероманский) язык. К ним относятся все слова, не имеющие общероманского характера: славянизмы румынского языка и других романских диалектов Балкан, галльская лексика французского языка, большое количество германских заимствований французского и итальянского языков, среди которых многие заимствованы очень рано, и др. Именно в правильном отборе общероманской лексики как основного ядра словаря выражается реалистический характер латинского этимологического словаря. В этом свете славянский этимологический словарь Э. Бернекера нельзя не признать составленным искусственно. В методологическом отношении он уже с самого начала не мог не стоять ниже любого латинского этимологического словаря.

Наиболее оправданным в такой ситуации был бы, по-видимому, этимологический словарь праславянского языка, для чего потребовалось бы — в качестве первого этапа — составление праславянского словаря[1]. Однако нельзя не заметить, что подобный умозрительно составленный праславянский словник будет иметь весьма относительную ценность. Исходить в случае со славянскими языками из какой-то идеально понятой общей базы и создавать на этой базе славянский этимологический словарь — значит так или иначе поставить под вопрос включение многих слов, общеславянский характер которых проблематичен. В настоящее время, когда не учтен еще удовлетворительно материал всех славянских языков в отдельности и, тем более, когда этот материал еще не получил достаточно исчерпывающей обработки в этимологических словарях отдельных славянских языков, упомянутый синтез вряд ли будет полезен. К тому же в итоге такой сводной работы возникнет своеобразная фикция. Подобной фикцией еще в большей степени является любой, даже лучший современный индоевро-

[1] Сообщают, что в Кракове под руководством Т. Лер-Сплавинского готовится праславянский словарь, который должен отразить всю лексику праславянского языка конца его существования (см. F. Sławski, Z doświadczeń przy pracy nad Słownikiem etymologicznym języka polskiego, «Język polski», t. XXXVI, zesz. 4, 1956, стр. 275).

пейский этимологический словарь ввиду неизбежных в нем значительных искусственных хронологических смещений. Правда, считается, что в рабочем порядке обобщающий свод такого рода для индоевропейских языков приемлем и в известном смысле полезен.

4. Естественно, что в составлении этимологического словаря присутствует определенная доза компромисса. Авторы первых таких трудов были вынуждены прибегать к компромиссу чрезвычайно часто, что диктовалось условиями работы и практическими соображениями. Э. Бернекер отдавал себе отчет в компромиссном характере своего словаря. Тогда еще не было этимологических словарей отдельных славянских языков, и Э. Бернекер, естественно, стремился в этих условиях дать как можно больше материала. Многие из прежних трудностей сохраняются и в наше время. Так, например, мы, очевидно, не сможем достичь такого уровня разграничения проблематики, который отличает романскую этимологию. Благоприятные условия последней позволяют четко разграничивать, например, латинский и французский этимологические словари. Более того, не менее четко различаются латинский и романский этимологические словари, причем первый содержит ретроспективное исследование общероманской лексики на индоевропейском сравнительном фоне, а второй — скорее преломление и развитие той же общероманской лексики в жизни отдельных романских языков.

Замечательно при этом то, что, например, романский этимологический словарь не повторяет материала и методов латинского этимологического словаря, а французский или испанский этимологические словари, в свою очередь, не повторяют, как правило, материалов романского этимологического словаря. Каждый из них занимается своей этимологической проблематикой. При таком чрезвычайно четком различении форм в максимально благоприятных условиях непрерывной письменной традиции компромисс сводится практически к минимуму. В. Мейер-Любке точно указывает круг не привлекающихся слов[1]. Хотя для славянской этимологии многое из перечисленных преимуществ является недосягаемым, но естественное стремление совершенствовать тип славянского этимологического словаря предполагает и здесь сведение компромисса до минимума. В частности, это должно выражаться в определении соотношений между общеславянским этимологическим словарем и этимологическим словарем отдельного славянского языка.

5. Пожалуй, именно для этимологии романских языков характерно столь четкое разграничение между ретроспективной этимологией латинской (общероманской) лексики с обязательным выходом в индоевропейскую этимологию и собственно романской этимологией — также большой самостоятельной областью, определяющей лицо этимологических словарей отдельных романских языков и синтетических этимологических словарей вроде труда В. Мейер-Любке. Кроме уже известных специфических условий, это объясняется значительным фонетическим развитием современных романских форм, для объединения которых вокруг латинской праформы очень часто требуется целое этимологическое исследование. Так, из лат. *turbāre* «возмущать, волновать» произошли итал. *trovare* «находить, захватить, встречать» и франц. *trouver* «находить», но их происхождение настолько затуманено фонетическим и особенно своеобразным семантическим развитием, что для его определения потребовались, как рассказывают, напряженные искания Г. Шухардта, результатом которых явилась его блестящая, убедительная этимология в духе принципа

[1] W. Meyer Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, 3-e Aufl., Heidelberg, 1935, стр. VIII.

«Wörter und Sachen». Г. Шухардт объяснил семантическое развитие этих слов в плане рыболовецкой терминологии: «волновать, мутить воду»› «находить, ловить рыбу в мутной воде»› «находить (вообще)»[1]. Только этимология может, например, установить, что франц. *aisé* «удобный, покойный» восходит к лат. *adjacens* «окрестность, свободное пространство». Такие примеры исключительно типичны для романской этимологии в целом.

В славянской этимологии мы находим несколько иное положение. Письменная история здесь короче, и праязык не сохранился, но главное, видимо, не в этом, а в более глубокой специфике славянского языкового развития, выражающейся в относительном консерватизме и, следовательно, сравнительной прозрачности словообразовательных связей и бо́льшем единообразии форм по славянским языкам. Возвести русское, польское или сербское слово к общеславянской форме в большинстве случаев еще не значит дать этимологию соответствующего русского, польского или сербского слова. В то же время сложность развития романских форм как раз ограничивает романскую этимологию вопросом выяснения отношений романских форм к латинской, на чем собственно романская этимология прекращается (здесь имеется в виду исконная романско-латинская лексика). В этом нужно усматривать коренное отличие романской этимологии от славянской. Славянская этимология, конкретно этимология русских, польских, сербских и др. слов, — по преимуществу этимология ретроспективная, и она не может довольствоваться констатацией общеславянской праформы, прозрачной для большинства случаев, но обязательно предполагает выход в родственные индоевропейские языки. Одним словом, в собственно славянской этимологии мало реальной представляется деятельность такого ученого, как Я. Малькиль, который весьма плодотворно занимается испанской этимологией исключительно в охарактеризованных рамках, т. е. практически — без выхода в другие индоевропейские языки[2]. Этим различием должна объясняться, на наш взгляд, несравненно бо́льшая пропорция не только общеславянской, но также индоевропейской этимологии в этимологическом словаре любого из славянских языков. Совершенно очевидно, что существенной частью славянской этимологии является выяснение славянских словообразовательных связей; полная надежность этой стороны сообщает этимологии значительную вероятность.

Таким образом, в вопросе относительно рамок словарной статьи сравнение с романскими этимологическими словарями показательно. Этимологические словари французского, испанского и других романских языков и в этом резко отличаются от латинского этимологического словаря. Если мы обратимся к славянским словарям, мы сразу отметим отсутствие сколько-нибудь принципиальных различий между словарем Э. Бернекера и словарями отдельных славянских языков: установки, сравнительный фон, этимологическая часть у них в значительной степени совпадают. Новый русский этимологический словарь М. Фасмера в принципе уделяет почти не меньше, чем словарь Э. Бернекера, внимания общеславянским сравнениям и индоевропейской этимологии. Следовательно, если в вопросе построения общеславянского этимологического словаря в целом сравнение с романской этимологией, в частности с латинским этимологическим сло-

[1] H. Schuchardt, Romanische Etymologiln, II, «Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wiss.», Bd. 141, 1899.

[2] Ср., например, Y. Malkiel, Studies in the reconstruction of Hispano-Latin word families, Berkeley—Los Angeles, 1954: I—The Romance progeny of Vulgar Latin (*re*)*pedāre* and cognates..; II— Hispano-Latin **pedia* and **mania*..; III — The coalescence of *expedīre* and *petere* in Ibero-Romance. Автор указывает, что «хронологически ядро этой монографии составляет реконструкция лексических форм и значений, вторично развившихся или существенно видоизмененных в провинциальной народной латыни» (стр. III).

варем, очень поучительно демонстрирует недостатки существующей формы славянского словаря, то в вопросе построения словарной статьи этимологического словаря отдельного славянского языка констатируемое отличие от практики французского этимологического словаря представляется необходимым и закономерно отражает специфику славянской этимологии.

Объем этимологического словаря отдельного славянского языка; вопросы теории этимологического словаря отдельного славянского языка; лексическая дифференциация; ее древний характер; значение этимологического словаря отдельного славянского языка

6. Среди вопросов построения этимологического словаря отдельного славянского языка заслуженным интересом пользуется вопрос об объеме словаря. О существующих на этот счет мнениях лучше всего говорят установки, которым следуют сами авторы словарей. А. Брюкнер пишет в предисловии к своему словарю: «Работа не охватила всех слов: из иноязычных исключены все новые европейские, относящиеся к моде, спорту, искусству и политике, к промышленности и технике; из исконных — все слишком специальные, относящиеся к естествознанию, медицине, ремеслу, и носящие местный характер, диалектные или искусственные, преимущественно из студенческого жаргона, или непристойные. Тем самым словарь ограничивается средним литературным языком»[1]. Ф. Славский сообщает, что его словарь «объясняет прежде всего так называемые праслова, т. е. слова, имеющиеся и в других славянских языках, часто — общеславянские. Его задача — дать полный обзор основных общеславянских слов в современном польском языке...Из иноязычных слов учитывается только древнейший слой, который в среднем лингвистическом сознании часто уже не считается заимствованным»[2].

Очевидно, что А. Брюкнер, ограничивая определенным образом рамки словаря, все же считал необходимым отразить в нем многообразие лексики. В то же время Ф. Славский подчиняет свой словарь несколько более жесткой схеме. Концепция словаря А. Брюкнера, как нам кажется, более продумана в деталях и в целом. Можно спорить с обоими авторами, но с Ф. Славским следует, по нашему мнению, спорить по принципиальному вопросу, тогда как А. Брюкнеру приходится возражать скорее по частным вопросам. Не следует думать, что этимологический словарь должен отражать только исконную и древнюю лексику, иными словами — основной словарный фонд, как предлагал М. Н. Петерсон[3]. К слову сказать, Ф. Славский неудачно оперирует понятием «праслов», т. е. «слов, имеющихся и в других славянских языках» (см. выше.) Этимология славянских языков знает немало «праслов», известных только одному из славянских языков, и это весьма существенно, поскольку имеет прямое отношение именно к специфике этимологических словарей отдельных славянских языков; но к этому вопросу еще придется вернуться ниже. Недавно опубликовавший свои наблюдения над новыми этимологическими словарями славянских языков В. Поляк считает, что теоретически этимологический словарь чешского языка должен содержать все слова чешского языка[4]. Тех авторов, которые по традиции вносят обычно в словарь лишь местные слова и старые заимствования, В. Поляк упрекает в незнании этимологи-

[1] A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, [1927], стр. IX.

[2] F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, zesz I$_1$. Kraków, 1952, стр. 5.

[3] М. Н. Петерсон, указ. статья, стр. 77.

[4] V. Polák, Nad novými etymologickými slovníky slovanskými, «Rocznik slawistyczny», t. XVIII, cz. 1, 1956.

ческой проблематики новых культурных слов. Он указывает, например, на то, что Ф. Славский не приводит слов *aksamit*, *alun*, *aloes*, *aras*, *arena*, *armata*, *bardysz*, *bażant*, которые есть даже у Э. Бернекера. Напротив, М. Фасмер необычайно расширил свой словник, в том числе — за счет большого количества заимствованной топонимики.

Попытаемся охарактеризовать объективные критерии, на которых, по нашему мнению, должен строиться этимологический словарь данного языка. К этимологическому словарю подходит определение словаря-справочника, который, как говорил Л. В. Щерба, вовсе не призван отражать единого языкового сознания (в отличие от нормативных словарей), но объединяет слова, принадлежащие разным эпохам и нуждающиеся в объяснении[1]. Требование исчерпывающей полноты, которое естественно предъявить к этимологическому словарю-справочнику, вряд ли вызовет принципиальные возражения. Здесь опять нельзя не согласиться со справедливым заявлением Л. В. Щербы, что «...всякий краткий словарь вызывает у серьезных людей в конце концов раздражение, так как он всегда оказывается недостаточным во всех тех случаях, когда словарь действительно нужен»[2]. Правы те, кто предъявляет к этимологическому словарю максимальные требования, ибо если то или другое редкое, неупотребительное слово не найдет отражения в таком словаре, где же его подлинное место? Несомненно, однако, и то, что эта точка зрения нуждается в уточнении. Составитель этимологического словаря должен, по-видимому, избрать вариант в известном смысле компромиссный, основанный, с одной стороны, на наиболее широком представлении всех форм, имеющих хождение в языке и нуждающихся в этимологическом объяснении, с другой — и прежде всего — на учете фактов генетического родства, так как в конечном счете этимологический словарь основывается именно на отражении этого родства. Сочетание обоих названных принципов способно с достаточной степенью объективности отражать этимологию данного языка в наиболее полном значении этого слова.

Со стороны построения «Русский этимологический словарь» М. Фасмера[3] в основном отвечает описанным максимальным требованиям, если, к тому же, сделать скидку на те несколько индивидуальные моменты, которые объясняются кругом преимущественных интересов автора (довольно обширное включение топонимики, этнонимов, вообще — собственных имен). Лишними с точки зрения изложенных принципов в словаре М. Фасмера окажутся разные искусственные образования и аббревиатуры, например: «*Путеводиус* „фантастическая звезда, указывающая дорогу“, у С. Михалкова («Новый мир», 1945, № 9, стр. 47). Искусственное латинизированное образование от *путеводитель* или *путеводная звезда* и т. п. по аналогии имен вроде *Сириус*» (т. II, стр. 468); *летнаб* из *летчик-наблюдатель* (т. II, стр. 36); *СССР* (т. II, стр. 712). Словник М. Фасмера отличается, можно сказать, исчерпывающей полнотой. Конечно, и здесь можно говорить о пропусках, как известно из опубликованных рецензий на словарь, но это лишь единичные, случайные пропуски, а не десятки слов, не удовлетворявших схеме автора, что отмечается для других подобных словарей. Из пропусков, которые мы можем указать дополнительно, здесь назовем отсутствующие в словаре *дикобраз*, *лётка*, *холудина*. Заметим, что существуют различные затруднения, стесняющие достижение полноты объема в справочнике такого типа, как этимологический словарь отдельного язы-

[1] Л. В. Щ е р б а, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, стр. 89—90.

[2] Там же, стр. 106.

[3] M. V a s m e r, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, II, III (Lief. 19—22), Heidelberg, 1953—1957.

ка (например, русского). Сюда относятся непристойные слова, которые являются весьма древними образованиями и представляют значительный интерес в этимологическом отношении. Этим словам посвящена обширная литература, и они отражены с соответствующими нужными пояснениями в словаре М. Фасмера. Но все дело в том, что и словарь, и упомянутая литература представлены на других языках (главным образом на немецком), так что вопрос об одиозности этих слов практически не стоит; в русской же этимологической литературе нам не приходилось встречать справок о соответствующих словах.

7. Может показаться, что составленный таким образом полный этимологический словарь языка будет очень разнородным и хаотичным в отношении состава и, следовательно, окажется ниже с методологической точки зрения, чем, например, словарь «упорядоченный», отражающий основную, древнейшую лексику. Действительно, этимологический словарь-справочник данного языка есть собрание разновременного «языкового материала», употребляя определения Л. В. Щербы, в то время как нормативный словарь представляет «языковую систему»[1]. Однако даже собранный таким образом «языковой материал» явится одноплоскостным отражением многих сменявших одна другую «языковых систем», т. е. отнюдь не хаотическим с точки зрения соотношения частей. Наиболее устойчивые и характерные тенденции обязательно найдут здесь отражение, пусть в смещенном виде. В данном смысле, возможно, показателен опыт учета — в известных границах точности — соотношения основных частей «языкового материала» (в нашем случае — этимологического словаря отдельного языка). Это имеет прямое отношение к старому вопросу лексической дифференциации языков, связанных общим происхождением из одного праязыка.

Нам представляется ясным в данной связи, что вопрос лексической дифференциации родственных языков — вопрос органический, генетический. Последнее важно для определения нашей позиции по отношению к неорганическим средствам упомянутой дифференциации, которые часто рассматриваются исследователями в общем плане лексической дифференциации. Роль неорганических (заимствованных) средств дифференциации действительно велика, но заимствования, главным образом поздние, занимают особое место, что, кажется, общепризнано. Вряд ли возможно поэтому приводить среди примеров древней лексической дифференциации отдельных польских диалектов такие слова, как *magazyn*, *malwa*, *marzec*, *maszynista*, *mechanik*, *medytować*, *mirt*, *misja*, *misjonarz*, *monopol*, *monstrancja*, *mundur*, *musztra*, *muzyka* и под.[2].

Средний тип этимологического словаря, как нам кажется, удачно подходит для проверки указанных положений, если учесть первостепенное внимание составителей к фактам лексики, при естественном опущении прозрачных фактов морфологии. Наблюдения и основанные на них выводы интересны, во-первых, потому, что они относятся к проблеме лексической дифференции и, во-вторых, потому, что позволяют более определенно судить о возможном характере этимологического словаря отдельного славянского языка.

8. Памятуя полезное указание, что «каждое исследование должно будет оперировать точными величинами (préciser), если оно занимается особен-

---

[1] Л. В. Щерба, О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, ИАН СССР, Серия VII— Отд-ние обществ. наук, 1931, № 1, стр. 115.

[2] См. H. Olesińska, Kilka uwag o wzajemnych stosunkach ilościowych w słownictwie gwar polskich, «Język polski», t. XXXVI, zesz. 4, стр. 297.

ностями лексики или словаря»[1], предлагаем ниже результаты подсчетов состава нескольких этимологических словарей. Точность подсчетов, естественно, должна колебаться, как уже говорилось выше. Главное, что нас интересует, — это отражение лексической дифференциации, причем мы понимаем ее скорее в генетическом плане (см. выше).

У Брюкнера:

Общеславянских слов (и ранних заимствований)	2217
Западнославянских слов	71
Польских слов	91
Поздних заимствований	2283
Экспрессивных, звукоподражательных, неясных по происхождению слов	320
Собственных имен	97

У Славского[2]:

Общеславянских слов (и ранних заимствований)	669
Западнославянских слов	18
Польских слов	7
Поздних заимствований	374
Экспрессивных, звукоподражательных, неясных по происхождению слов	151
Собственных имен	=

У Голуба—Копечного[3]:

Общеславянских слов (и ранних заимствований)	2026
Западнославянских слов	121
Чешских слов	177
Поздних заимствований	1775
Экспрессивных, звукоподражательных, неясных по происхождению слов	394

У Фасмера[4]:

Общеславянских слов (и ранних заимствований)	3191
Восточнославянских слов	72
Русских слов	93
Поздних заимствований	6304
Экспрессивных, звукоподражательных, неясных по происхождению слов	1119
Собственных имен и этнонимов	818

Попытки статистического учета степени относительной эволюции отдельных сторон языка известны давно. Например, основоположник так называемого количественного метода Я. Чекановский пытался применением этого метода при освещении истории польского языка на фоне праславянского показать, что древнейшее состояние меньше всего сохранилось в современной лексической дифференциации польских диалектов сравнительно с фонетической и морфологической дифференциацией. В связи с этим Я. Чекановский неоднократно выдвигал следующее общее поло-

[1] P. Guiraud, Les caractères statistiques du vocabulaire. Essai de méthodologie, Paris, 1954, стр. 55.
[2] В рамках первых четырех выпусков словаря.
[3] J. Holub—F. Kopečný, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1952.
[4] Bd. I, II, III (1—22) Lief. 1—4.

жение: «в морфологических явлениях отразилась наиболее древняя дифференциация, в лексических — самая младшая, в то время как фонетические явления дают нам картину промежуточного периода» [1]. Подобное утверждение в такой общей форме вызывает принципиальные возражения. Относительно морфологических явлений факты говорят о возможности здесь дифференциаций в весьма поздние эпохи; ср. хотя бы продемонстрированное Р. Бошковичем развитие новых морфологических черт, общих только словенскому и сербо-хорватскому языкам, т. е. предполагающих поздний период, как, например, суффикс -*ħa* [2]. С другой стороны, подсчеты показывают, сколь невелик процент основных лексических отличий каждого славянского языка в отдельности, которые подтверждали бы мысль о поздней продуктивности лексической дифференциации. Напротив, сохранение в отдельных славянских языках, наряду с огромным большинством общеславянской лексики, также небольших, но весьма характерных групп древней по виду лексики, не обнаруживающей общеславянского характера и вместе с тем исконной (примеры см. ниже), говорит скорее о том, что лексическая дифференциация может отражать древние отношения.

Т. Лер-Сплавинский придает лексическим фактам решающее значение в вопросе древнейших диалектных связей индоевропейского языка. Так, 94 германо-славянских лексических параллели при 52 германо-балтийских приводят его к выводу о более тесных связях и древнейшем соседстве германской и славянской групп. Точно так же 55 славяно-арийских соответствий в лексике при трех балто-арийских свидетельствуют, по его мнению, о близости праславянских территорий к арийским [3]. Я. Чекановский, анализируя в свою очередь материалы Т. Лер-Сплавинского, отмечает, что в вопросах родства языков словарные данные представляют в целом менее яркую, хотя и правильную картину; на сей раз он не отрицает доказательной силы лексических отношений в древний период [4]. Однако следующий за этим уже известный вывод об отражении в словаре наиболее поздней дифференциации плохо вяжется с предыдущими рассуждениями Я. Чекановского, в которых он исходил как раз из оценки данных лексики как показателей древней дифференциации славянского и балтийского языков. «Хотя, несмотря на неоднократные попытки, мне не удалось заинтересовать лингвистов этими интересными закономерностями, я полагаю, что и здесь (в вышеупомянутых лексических соотношениях праславянского. — *О. Т.*) мы стоим перед лицом факта, что в грамматических данных отразились более древние отношения, а в словаре — более поздние» [5].

Выше уже указывалось на ошибочность столь общего утверждения. Но было бы неверно искать какое-то абсолютно противоположное решение. В обоих случаях прямым результатом было бы искаженное освещение отдельных моментов истории языка. Очевидно, нужен разносторонний учет отношений внутри системы языка. Лексическая дифференциация от-

[1] J. Czekanowski, Różnicowanie się dialektów prasłowiańskich w świetle kryterium ilościowego, «Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze», t. II, 1932, стр. 486; ср.: его же, Wstęp do historii Słowian, Lwów, 1927, стр. 142—155 (2-е изд. — Poznań, 1957, стр. 283); его же, Polska synteza slawistyczna w perspektywie ilościowej, Kraków, 1947, стр. 40—41.

[2] Р. Бошковић, Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници, «Јужнословенски филолог», књ. XV, 1936, стр. 1—154.

[3] T. Lehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznań, 1946, стр. 42—43.

[4] J. Czekanowski, Polska synteza slawistyczna w perspektywie ilościowej, стр. 38—40.

[5] Там же, стр. 40—41.

нюдь не является наиболее поздним продуктом не только относительно распадения славянского единства, но и относительно, например, балто-славянского периода. Интересное нижеследующее высказывание Я. Чекановского согласуется скорее с этой нашей мыслью, чем с ходом его предыдущих рассуждений: «...комплексы грамматических особенностей и слов, общих для балтов и славян, образуют старшую фазу, даже в сравнении со специфическими особенностями архаических балтийских языков, а специфические особенности славянских языков отражают самые младшие отношения...»[1]. Разве можно в этой связи говорить, что словарные данные вообще моложе грамматических? Разумеется, балто-славянские лексические связи старше специфически славянских или балтийских морфологических явлений.

В общем следует принять, что в отдельных славянских языках, например в польском, хорошо сохранилась большая часть праславянской лексики[2]. С другой стороны, польский словарь сохранил также небольшую группу характерных древних слов, присущих только польскому или только западнославянским языкам (распространение таких слов может в отдельных случаях наблюдаться лишь в части языков западнославянской группы, как бы отражая следы древних диалектных различий). Сохранение этих различных элементов словаря позволяет смотреть на лексику как на нечто устойчивое и рано сложившееся в целом, а на лексическую дифференциацию — как на показатель древних делений и различий.

9. Так как выше в общей форме уже говорилось о лексической дифференциации, позволим себе привести ниже ряд конкретных примеров, которые нам представляются чрезвычайно важными в сфере лексической дифференциации с точки зрения этимологического словаря отдельного славянского языка. В понятие лексической дифференциации можно, очевидно, вкладывать довольно широкое содержание, если привлекать сюда также заимствования самого позднего времени. Нежелательность такого широкого понимания сказывается в далеко идущем выводе о позднем характере лексической дифференциации вообще. Поэтому отсечение большой массы явных поздних заимствований позволяет лучше понять характер лексической дифференциации и связанную с ней роль этимологического словаря отдельного славянского языка.

Если начать с русского языка, то следует сразу указать, что речь идет не о различиях типа вост.-слав. *хороший*, *сорок* или русск. *лошадь*, которые в учебных пособиях всегда приводят в первую очередь как наиболее характерные. Как раз эти слова менее всего интересны, потому что они либо имеют славянскую этимологию (*хороший*:*хоронить*; правда, некоторые считают *хороший* иранизмом), либо заимствованы (*сорок*, *лошадь*). Здесь интересны древние диалектизмы, не имеющие других славянских соответствий, но зато располагающие вероятными соответствиями в других индоевропейских языках. При этом, естественно, наибольшего доверия заслуживают соответствия в ближайших индоевропейских языках, например балтийских, хотя возможны исключения. Есть неясные слова, имеющие, однако, древний вид, например:

Из русского словарного состава:

русск. (вост.-слав.) *багáтье* «огонь под золой»: греч. φώγω «жарить»;
багор: англо-сакс. *весса* «мотыга»;
вадéнь, белорусск. *вадзéнь* «овод»: литовск. *úodas* «комар»;

[1] Там же, стр. 41.
[2] См. Т. Лер-Сплавинский, Польский язык, М., 1954, стр. 63—64.

верпу, др.-русск. *вьрпу* «*рву*»: литовск. *verpiù*, латышск. *vèrpu* «пряду»;
глу́да «ком»: нем. *Kloß*—то же;
глу́дкий «гладкий, скользкий»: литовск. *glaudùs* «гладкий, плотно прилегающий»;
глу́здъ «ум», также укр.: др.-исл. *gl̨oggr* «умный»;
глы́ба: лат. *glēba* «земля»;
до́роб «короб, сито», укр. *доробáйло* «сито», русск. *доробить* «гнуть»: литовск. *darbas* «плетенка», др.-инд. *drbháti* «плетет»;
затéя: латышск. *tiev̂êt* «стремиться»;
жу́ткий литовск. *žudýti* «убивать»;
жень «ремни бортников»: литовск. *genỹ's* — то же;
корзи́на: латышск. *kur̃za* «коробка»;
клеклый, *клекнуть* «слежаться»: литовск. *suklẽkęs*, *klèkti*—то же;
кишéть: литовск. *kušė̃ti* «двигаться, шевелиться»;
куст: литовск. *kúokštas* «куст»;
коромы́сло: литовск. *kárti* «вешать»;
лéзвие, укр. *лéзо*—то же;
мизги́рь «паук»: литовск. *mezgù*, *mègsti* «вязать», нем. *Masche* «петля»;
ови́н, белорусск. *ёвня*—то же: литовск. *jáuja* «овин», *javaĩ̃* «хлеб»;
росома́ха < * *соромаха*: литовск. *šermuõ̃* «горностай»;
юти́ть;
я́елый «быстрый, резкий», литовск. *jẽ̃gti* «быть в состоянии, мочь».

Из словарного состава западнославянских языков:

чеш. *bedla*, польск. *bedła* «род гриба»: литовск. *budelė*—то же;
чеш. *dbáti*, польск. *dbać* «заботиться»;
чеш. *hlemýžď* «улитка»: латышск. *glemezis*;
чеш. *kmen* «род, племя; основы»;
чеш. *koumati* «исследовать, наблюдать»;
чеш. *kouzlo* «волшебство, чудо»;
польск. *kpić* «насмехаться, издеваться»;
чеш. *krb* «очаг»;
в.-луж. *křida*, н.-луж. *kšida* «сито»: лат. *cribrum*—то же;
чеш. *klesnouti* «упасть, снизиться», польск. *klęsnąć* «пасть», *klęska* «падение, поражение»: литовск. *klemšióti* «неуклюже передвигаться»;
чеш. *pán*, польск. *pan* «господин»;
чеш. *patřiti* «смотреть; принадлежать», польск. *patrzyć* «смотреть»;
чеш. *pouhý* «простой»;
чеш. *šetřiti* «беречь», польск. *szatrzyć*: латышск. *skatīt*;
чеш. *trvati*, польск. *trwać* «продолжаться, длиться»: др.-инд. *turvati* «побеждает».

Из словарного состава южнославянских языков:

болг. *бърна* «губа»: литовск. *burnà* «рот»;
болг. *гъ́дел* «щекотанье»: герм. **kutilõn*, нем. *kitzeln* «щекотать»;
болг. *лош* «плохой», словенск. *lõšen*;
болг. *чи́тав* «целый, невредимый», серб. *чи́тав* «целый, цельный»:литовск. *kietas* «твердый»;
серб. *хрḯд* «скала, утес».

Совершенно очевидно, что место указанных древних диалектизмов и многих им подобных — в этимологическом словаре отдельного славянского языка. Полный учет этих важных слов и всесторонняя их характеристика, а также этимологические связи представляют одну из важных задач словарей упомянутого типа. Сведение всех подобных слов к гипотетической праславянской форме в общеславянском этимологическом словаре типа Бернекера не только нежелательно, но сплошь и рядом даже трудно заранее предвидеть, насколько оно чревато ошибками. В словаре Э. Бернекера анахронизм возможен всякий раз, когда форма, достоверно известная только в одном славянском языке, обобщается и предлагается как общеславянская, с возведением к общеславянской праформе: *glěmyždžь* —

чеш. *hlemýžď*; *golmę* — русск. *голомя*. Чем сложнее в таких случаях реконструкция общеславянской праформы, тем возможнее становится вероятность ошибок и натяжек. Болг. *кáрам* «гоню, везу, еду», совершенно неизвестное другим славянским языкам, хотя, по-видимому, древнее слово, Э. Бернекер помещает под общеславянский праформой *karajǫ*, *karati* (стр. 488). Однако условность этого объяснения слишком очевидна ввиду омонимичности с достоверным славянским итеративным глаголом *karajǫ* «караю, наказываю».

10. На основании изложенного можно сделать некоторые общие выводы. Последние десятилетия ознаменованы прежде всего появлением этимологических словарей отдельных славянских языков — русского, польского, чешского, болгарского — и подготовкой новых словарей для языков, ранее не имевших этих словарей: словацкого, сербо-хорватского, полабского, что отнюдь не является случайностью. В силу известной специфики славянского языкового развития этимологический словарь отдельного славянского языка является аспектом общеславянского этимологического словаря, удобным ввиду наименьшего момента гипотетичности по сравнению с общеславянским этимологическим словарем как таковым. Расплывчатые и обычно весьма схематические представления о первичной славянской лексике, беспомощность в тех случаях, когда речь идет о несомненно древних, но не полно засвидетельствованных словах, заставляют считать наиболее реалистическим типом именно этимологический словарь отдельного славянского языка. При этом опасность необоснованных обобщений, натяжек, хронологических смещений значительно сокращается.

Необходимость подробных этимологических словарей для каждого славянского языка совершенно очевидна. При отсутствии же таких словарей сведения по истории и этимологии отдельных слов могут носить весьма искаженный, фантастический характер даже у серьезных исследователей. Так, Э. Бернекер указывает, хотя и неуверенно, для укр. *кóдло* «отродье, род» праславянскую форму *kъdьlo* (стр. 658); К. Оштир сближал укр. *кóдло* со слав. *čędo*, *чадо*, основываясь на их семантической близости. И только когда мы узнаем у М. Фасмера (т. I, стр. 588), что укр. *кóдло* — поздняя местная форма, заимствованная из польск. *godło* «герб», мы понимаем всю беспочвенность прежних этимологий.

Значение этимологического словаря отдельного славянского языка становится еще более очевидным, когда речь идет о лингвистической географии, о точных данных географического распространения форм, которые могут также решить судьбу той или иной этимологии. Это хорошо показал Ф. Славский на примере старого польск. *grędǫ* «рысью», диал. *grędo* «быстро», которые не относятся к ст.-слав. *грѧдѫ* «иду», как думал наряду с другими Э. Бернекер, но вместе с целым рядом кавалерийских терминов заимствованы из немецкого; ср. ср.-в.-нем. *gerant* «причастие от *rennen* „бежать, гнать, быстро ехать„»; ср. также ограниченное распространение современного диал. *grędą* (Кашубия, Мазовше, Познанское воеводство)[1]. Слово *grędą* и его этимология должны быть отражены только в польском этимологическом словаре.

Проблемы славянской этимологической лексикографии многообразны. Она нуждается в различных формах, но наиболее реальной вообще, а на данном этапе — просто необходимой является форма полного этимологического словаря для каждого из важнейших славянских языков в отдельности. В заключение стоит вспомнить, как правильно говорил об этом А. Мейе почти пятьдесят лет назад, касаясь включения Э. Бернекером

[1] F. S ł a w s k i, Z doświadczeń przy pracy nad słownikiem etymologicznym języka polskiego, «Język polski», t. XXXVI, zesz. 4, стр. 279.

в свой словарь разнородных и поздних слов отдельных славянских языков: «Правда, зато мы получаем практически почти полный этимологический словарь главных славянских языков. Но это всего лишь видимость: этимологический словарь должен, чтобы быть полезным, показывать собственную историю каждого слова в каждой группе; этого можно достигнуть только в словаре, посвященном каждому языку. Этимологический словарь общеславянского языка, издаваемый г-ном Бернекером, подготавливает составление этимологических словарей болгарского, сербского, русского, польского и т. д.; он не смог бы заменить все эти труды, напротив, он заставляет желать их появления и показывает их необходимость. История каждого слова, диалектные формы могут быть там даны со всей нужной подробностью. И когда будут готовы все эти отдельные словари, словарь общеславянского языка приобретет такую точность, которая сейчас недосягаема. Ошибочным было бы желание заменить, даже временно, эти необходимые специальные этимологические словари, скорейшее составление которых нужно стимулировать» [1].

[1] A. Meillet, указ. рец., стр. 58—59.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

Ю. В. КНОРОЗОВ

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ МАЙЯ

До настоящего времени среди специалистов еще распространено мнение о том, что на территории Америки до европейской колонизации не было письменности в собственном смысле слова. Различные системы письма, употреблявшиеся индейцами, рассматривались как пиктографические или идеографические. Однако сейчас уже точно установлено, что древние цивилизованные народы Америки (майя, сапотеки, ольмеки, а также кечуа и аймара) пользовались иероглифическим письмом того же типа, как и в Старом Свете (Китай, Шумер, Египет и т. д.). Иероглифическое письмо, в отличие от пиктографии, передает звуковую речь; наиболее характерными признаками его являются: наличие трех категорий знаков (идеографических, фонетических и ключевых), многозначность знаков и приблизительность передачи фонетического состава слов.

На территории Мексики и Центральной Америки обнаружены памятники иероглифической письменности трех народов — майя, сапотеков и так называемых ольмеков.

Древние города майя расположены четырьмя основными группами. В центральную группу (около озера Петен-Ица) входит древнейший и наиболее крупный из городов майя Тик'аль, вокруг которого много других древних поселений, в том числе Вашактун, где найдены самые ранние датированные надписи майя (IV в. н. э.). В южную группу входят Киригуа и Копан, второй по величине после Тик'аля древний город майя с замечательными памятниками скульптуры и архитектуры (в их числе знаменитая лестница, на которой начертаны иероглифы). В юго-западную группу входят города долины реки Усумасинты: Паленке, Йашчилан, Бонампак, Пьедрас Неграс и расположенный еще дальше на юго-запад город Тонина. Северную группу составляют города Юкатана, из которых наиболее известны Чичен-Ица, Ушмаль и Майяпан. Во всех древних городах майя обнаружено большое количество надписей на камне. В конце XIX — начале XX вв. появились обширные публикации этих надписей. Кроме того, в европейских библиотеках были найдены три рукописи майя, вывезенные из Америки в XVI в.

Ольмеками принято называть неизвестный народ, живший на побережье Мексиканского залива на месте теперешних штатов Табаско и Вера-Крус. Памятники цивилизации ольмеков стали известны главным образом в результате раскопок американского археолога М. Стирлинга в Ла-Вента, Трес-Сапотес и Серро-де-лас-Месас. Иероглифических надписей ольмеков пока найдено немного — стела из Трес-Сапотес, три стелы из Серро-де-лас-Месас и надпись на статуэтке из Туштлы. Общее количество знаков в ольмекских надписях — около 50. Более $^1/_3$ всех знаков — очень близкие варианты знаков майя. В ольмекских надписях имеются даты, записанные теми же цифрами, которые употребляли майя (точка для единицы и черточка для пяти). Письмо ольмеков совершенно не изучено.

В изучении древней цивилизации сапотеков (штат Оахака) основную роль сыграли раскопки мексиканского ученого А. Касо. Важнейшими центрами здесь были Монте-Альбан и Митла. В Монте-Альбан найдено более 20 иероглифических надписей, главным образом на стелах. Самые древние надписи, состоящие из 3—4 иероглифов, начертаны на каменных плитах с изображениями так называемых «танцоров». Кроме того, известны надписи в Киуланан, Сосо, пять надписей в Сачилья и более 15 надписей без указания места находки. Опубликовано более 50 сапотекских надписей. Общее количество знаков в сапотекских надписях — около 100. Некоторые сапотекские знаки весьма близки к знакам майя, однако большинство их отличается и от знаков майя, и от ольмекских знаков. А. Касо определил сапотекские иероглифы, обозначающие названия дней, пользуясь сходством между календарями сапотеков, майя и астеков.

Центральноамериканские иероглифические системы письма оказали сильное влияние на пиктографию соседних племен и народностей. В развалинах тольтекской столицы Толлан встречаются отдельные знаки, похожие на иероглифы майя и сапотеков, но не найдено ни одной надписи. По сообщению мексиканского историка Ф. де Альва Иштлильшочитля, у тольтеков были книги с записью исторических событий и пророчеств. Тольтекские рукописи не сохранились, но имеется большое количество позднейших астекских рукописей, по-видимому, следующих тольтекской традиции. Астекские рукописи были пиктографическими; в них обычно изображался ряд сценок, каждая из которых соответствовала целому рассказу или, реже, фразе. Основной пиктографический текст часто дополнялся отдельными словами, записанными с помощью идеограмм и фонетических знаков, то есть иероглифическим способом. Однако иероглифы употреблялись не для записи целых фраз, а исключительно для передачи имен собственных, географических названий и дат. Таким образом, у тольтеков и астеков были только начатки иероглифического письма, дополнявшие пиктографию. Астекские иероглифы почти совершенно не стандартизированы. Ряд знаков совпадает со знаками майя и сапотеков.

Три центральноамериканские системы письма — майя, сапотеков и ольмеков — весьма сходны между собой, и вряд ли возможно отрицать их общее происхождение, несмотря на то, что многие знаки сапотеков не имеют никаких аналогий у майя. Ольмекское письмо, несомненно, ближе к майя, чем сапотекское. При этом следует отметить, что майя и сапотеки относятся к различным языковым семьям, а языковая принадлежность ольмеков неизвестна. У названных трех систем есть много общих черт: знаки обычно заключаются в овал или прямоугольник; фигуры людей и животных, как правило, не встречаются, а изображаются только головы в профиль («лицевые» знаки); знаки обычно соединяются в группы, соответствующие словам; строчки пишутся слева направо и сверху вниз; во всех трех системах письма употребляются одинаковые цифры.

Древнейшие надписи у всех трех народов восходят к рубежу нашей эры. Большинство ученых сходится на том, что письменность возникла в первые века до н. э. До расшифровки письмен сапотеков и ольмеков нет возможности точно определить, насколько они связаны с письмом майя и какой народ первым изобрел письмо. Однако соответствие названий изображенных предметов и фонетического чтения знаков у майя дает возможность предположить, что иероглифическое письмо впервые появилось у них. Это предположение подтверждается также тем, что именно у майя найдено наибольшее количество памятников письменности.

По количеству сохранившихся текстов письменность майя не имеет себе равных на континенте Америки. Пока не изучены иероглифические тексты, нет возможности успешно изучать древнюю цивилизацию майя.

Кроме того, изучение письма майя, вероятно, значительно облегчит дешифровку сапотекских и ольмекских надписей.

Хотя письмо майя изучается уже около столетия, расшифровать его удалось только в 1951 г. Термин «расшифровка» часто понимается неправильно. Одни авторы называют расшифровкой любое произвольное толкование неизвестных знаков, другие под расшифровкой понимают полный, законченный перевод текстов, записанных неизвестными письменами. И то, и другое неверно.

По различным косвенным признакам можно определить смысл отдельных иероглифов; но если и удается определить смысл иероглифа, то это еще не означает, что данный иероглиф можно прочесть. Например, изображение собаки в рукописях майя сопровождается иероглифом из двух знаков. Есть все основания предполагать, что этот иероглиф передает слово «собака». Но в языке майя имеется несколько синонимов, и все они означают «собака». Кроме того, неизвестно, насколько древнее произношение отличалось от нового. Возможно также, что многие слова древнего языка вообще не сохранились в новом. Определение смысла иероглифа дает возможность узнать, какое понятие выражает слово, записанное иероглифом; в то же время остается неизвестным, какое именно это слово и как оно произносится. Если смысл ряда иероглифов определен правильно, создаются возможности для попыток чтения.

В отличие от определения смысла отдельных иероглифов по косвенным признакам, расшифровка — это начало точного фонетического чтения слов, записанных иероглифами. В результате расшифровки изучение текстов становится отраслью филологии.

Смысл многих иероглифов майя известен по источникам XVI в. 20 иероглифов, обозначающих дни, и 18 иероглифов, обозначающих месяцы, были приведены в работе Диэго де Ланда[1] (у майя год состоял из 18 двадцатидневных месяцев, а каждый день месяца имел свое название). Ланда привел также соответствующее каждому иероглифу название дня или месяца, записанное испанскими буквами. В других рукописях колониального периода приведены древние цифры майя. Зная цифры, иероглифы дней и месяцев и календарь майя, уже первые исследователи XIX в. на основании арифметических расчетов определили смысл ряда иероглифов. Рукописи майя в основном календарного содержания, и каждый параграф относится к тому или иному дню и числу недели (у майя была тринадцатидневная неделя, дни которой не имели названий, а обозначались цифрами). Так как даты в параграфах рукописей идут в строго определенном порядке, не составляет труда подсчитать очередную дату, даже если она полностью стерлась. В некоторых случаях числа недели вместо цифры обозначаются иероглифами. Например, на стр. 19 Дрезденской рукописи число недели перед параграфом записано иероглифом из трех знаков. Арифметический расчет показывает, что здесь должна быть цифра 11. Аналогичным образом на стр. 9 той же рукописи вместо числа 3 стоит иероглиф из двух знаков. Точно так же, путем арифметических расчетов, были определены иероглифы, означающие нуль, 20 и т. д. Исследования XX в. почти исключительно шли по линии попыток определения смысла иероглифов путем арифметических расчетов. Этим путем можно было, конечно, определить смысл только тех иероглифов, которые так или иначе связаны со счетом. Таких иероглифов нашлось немного, да и то смысл их удалось определить самым приблизительным образом, например: «иероглиф счета вперед», «иероглиф счета назад» и т. д.

[1] Диэго де Ланда, Сообщение о делах в Юкатане (1566), М.—Л., 1955, гл. XL.

Как читаются все эти иероглифы, смысл которых удалось определить, оставалось неизвестным. Для передачи иероглифов дней и месяцев употреблялись названия, приведенные Д. Ланда, хотя они во многих случаях, безусловно, не являются чтением иероглифов. Другие иероглифы обозначались просто европейским словом или подходящим по смыслу словом майя.

Смысл ряда иероглифов, передающих названия животных (собаки, индюка, попугая, ягуара и других), удалось определить путем сличения текста и рисунков в рукописях майя. В рукописях над изображением какого-либо животного, например ягуара, обычно встречается один и тот же иероглиф. В ряде случаев такие определения оказались правильными. Аналогичным образом были определены иероглифы богов. Так как оставалось неизвестным, что это за боги, их обозначали буквами латинского алфавита: бог А, бог В и т. д.

Расшифровка письма майя значительно облегчалась тем, что Д. де Ланда привел в своей работе список 30 алфавитных и слоговых знаков. Однако многие знаки у Ланда написаны настолько неясно, что их долгое время не могли разобрать. Кроме того, Ланда одним и тем же знакам давал совершенно различные толкования. Например, знак дня *Cauac* фигурирует в составе иероглифов месяцев *Yax* и *Ceh*, а также в качестве слогового знака *cu*. Многим исследователям эти противоречия казались непреодолимыми.

Попытки расшифровать письмо майя, т. е. перейти от толкования смысла к точному фонетическому чтению иероглифов, неоднократно предпринимались в XIX в. Наибольшие успехи были достигнуты французским ученым Л. де Рони. Используя алфавит Ланда, он первый правильно прочел слово «индюк» (*cutz*), записанное двумя фонетическими знаками, и первый правильно объяснил характер письма майя. Кроме того, он определил иероглифы, обозначающие различные цвета и страны света, хотя и не смог их прочесть. Примеру Л. де Рони последовал американский ученый С. Томас, которому удалось правильно прочесть еще три слова (*moo* «попугай», *kuch* «гриф», *le* «силок»). Однако правильные чтения отдельных слов у Л. де Рони и С. Томаса носят случайный, несистематический характер; полностью отсутствуют убедительные перекрестные чтения (когда один и тот же знак читается одинаково в разных словах). Только сейчас выяснилось, какие из многих десятков предложенных этими учеными чтений действительно правильны.

Противникам фонетического чтения иероглифов удалось к началу XX в. свести на нет все достижения французской школы расшифровщиков. Немногие правильные чтения полностью игнорировались. Нигилистическое отношение к первым попыткам расшифровки определялось, в основном, теоретическими взглядами, возобладавшими в XX в. Письмо майя стало рассматриваться как идеографическое. Наличие алфавитных знаков целиком отрицалось, и все знаки толковались как идеограммы, символы или ребусы. Исходя из этих взглядов, Э. Дж. Томпсон толкует, например, иероглиф собаки следующим образом: иероглиф состоит из двух знаков, первый знак изображает ребра животного и является символом собаки, второй знак — символ смерти. Сочетание символа собаки с символом смерти объясняется тем, что, по представлениям древних майя, собака провожала тени умерших в загробный мир[1]. По мнению Томпсона, это толкование и является расшифровкой. Ясно, что такая «расшифровка» не может помочь понять какой-либо другой иероглиф. Томпсон так и пишет:

[1] J. Eric S. Thompson, Maya hieroglyphic writing. Introduction, Washington, 1950, стр. 78.

«Расшифровка новых знаков не упрощает задачу толкования остальных, как это бывает в кроссворде или в письме, где употребляется алфавит»[1].

Как указывалось выше, мы понимаем под расшифровкой переход к точному фонетическому чтению иероглифов. Такая расшифровка является ключом к чтению текстов, потому что, опираясь на уже известные знаки, можно читать любые новые слова, в которых эти знаки встречаются. Разумеется, расшифровка в этом смысле основана на тезисе, утверждающем, что любое иероглифическое письмо является записью звуковой речи. Критерием правильности расшифровки служит перекрестное чтение. Если знак читается одинаково в нескольких словах, то это дает основание считать его чтение достоверным. Для иллюстрации правильности расшифровки, предложенной автором настоящей статьи в 1951 г., можно привести несколько примеров таких чтений.



Ланда в своем алфавите[2] приводит слоговой знак *cu* (табл., *1*). Этот знак стоит первым в иероглифе индюка (табл., *11*), смысл которого определен путем сличения текста и рисунков. В языке майя употребляются два синонима для выражения понятия «индюк» — *cutz* и *ulum*. Можно предположить, что иероглиф индюка является фонетической записью слова *cutz* и что второй знак в этом иероглифе (табл., *2*) читается *tz*. Знак *tz*

[1] J. Eric S. Thompson, The rise and fall of Maya civilization, Norman, 1954, стр. 167.

стоит первым в иероглифе собаки (табл., *12*), смысл которого установлен путем сличения текста с рисунками. Вторым в иероглифе собаки стоит знак, которым по алфавиту Ланда передается звук *l* (табл., *3*). В языке майя имеется несколько синонимов для выражения понятия «собака»—*pek*, *tzul*, *ah bil*, *bincol*. Можно предположить, что иероглиф собаки является фонетической записью слова *tzul*, так как первый знак иероглифа читается *tz*, а второй *l*. Если эти чтения правильны — а они подтверждаются и алфавитом Ланда, и косвенным определением смысла иероглифов путем сличения их с рисунками, — то получается, что один и тот же знак может употребляться и как слоговой, и как алфавитный.

Как указывалось выше, на стр. 19-а Дрезденской рукописи вместо цифры 11 написан иероглиф из трех знаков (табл., *13*). Естественно предположить, что этот иероглиф является фонетической записью числительного «одиннадцать» (на языке майя *buluc*). Значение первого знака неизвестно, второй знак в алфавите Ланда и в иероглифе собаки читается *l*, третий знак в алфавите Ланда и в иероглифе индюка читается *cu*. Получается чтение? —*l*—*cu*. Отсюда можно заключить, что здесь действительно записано слово *buluc*, причем первый знак (табл., *4*) читается *bu*, второй может читаться не только *l*, но и *lu*, а третий — не только *cu*, но и *c*, т. е. подтверждаются предыдущие наблюдения. В надписи из Йула (1B5) встречается иероглиф, состоящий из тех же двух знаков, что и иероглиф индюка (табл., *14*), с той разницей, что они идут в обратном порядке. Следовательно, этот иероглиф читается *tzuc*, что значит «отряд». Такое чтение подтверждается наличием перед иероглифом цифры 4 (четыре точки), потому что «четыре отряда» (*can tzuc*) играли значительную роль в истории майя. На стр. 37-а Дрезденской рукописи фраза начинается иероглифом (табл., *15*) из двух знаков. Первый из них *l* (*lu*), а второй — *b* (*bu*). Следовательно, иероглиф читается *lub* «падать», «идти дождю» (в сочетании *lub chaac*). Такое чтение вполне подтверждается рисунком, сопровождающим фразу.

Отсюда ясно, что чтение иероглифов, в которых встречается один из известных знаков, не составляет труда, если лексика в достаточной степени известна. Рассмотрим другой пример. Д. де Ланда в своем алфавите приводит знак *k* (табл., *5*). В третьем примере написания слов у Ланда этот же знак передает слог *ka* (в слове *kati*, табл., *16*). Следовательно, данный знак, подобно рассмотренным выше, может употребляться и как слоговой, и как алфавитный. В Дрезденской рукописи неоднократно встречается иероглиф (табл., *17*), который, судя по сопровождающим текст рисункам, может означать «дар», «брать». Иероглиф состоит из двух знаков. Первый знак, по Ланда, читается *k*(*a*). Второй знак (табл., *6*), также по Ланда, передает слог *ma*. Следовательно, иероглиф читается *kam* «получать». На стр. 6 Парижской рукописи встречается иероглиф из трех знаков (табл., *18*). По Ланда, первый знак читается *u*, второй *ka*, третий *ha*. Получается чтение *ukah* «жажда» (обычное слово в пророческих текстах). В конце Мадридской рукописи есть глава о пчелах. В этой главе постоянно повторяется иероглиф из двух знаков (табл., *19*), второй из них читается *k*(*a*), первый неизвестен. Естественно предположить, что этот иероглиф читается *pak* «носить мед». Такое чтение подтверждается и рисунками, и употреблением знака *p*(*a*) в других иероглифах.

Таким образом, знак *c*(*u*) читается одинаково в алфавите Ланда и в словах *cutz*, *buluc*, *tzuc*. Знак *l*(*u*) читается одинаково в алфавите Ланда и в словах *tzul*, *buluc*, *lub*. Знак *k*(*a*) читается одинаково в алфавите Ланда и в словах *kati*, *kam*, *ukah*, *pak*. Знак *m*(*a*) читается одинаково в третьем примере Ланда (*ma in kati*), в слове *kam*, в имени бога *Mam* (табл., *20*) ,прочтенном проф. Д. Келли, и других случаях. Все эти чтения

являются перекрестными и полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к расшифровке. Сверх того они подтверждаются также алфавитом Ланда и косвенным определением смысла иероглифов путем арифметических расчетов или сличения текста с рисунками.

Расшифровка дала возможность приступить к изучению языка иероглифических текстов. Есть все основания полагать, что тексты написаны на языке того времени, когда было изобретено иероглифическое письмо (первые века до нашей эры). Этот древний язык стал литературным и священным. Жрецы писали на нем до испанского завоевания, тогда как разговорный язык за полторы тысячи лет сильно изменился во всех отношениях.

Для того чтобы изучать язык иероглифических текстов, необходимо, конечно, определить чтение всех знаков, которых в письме майя около 300. Работа эта еще не завершена. Наибольшие трудности представляет чтение идеограмм. Даже в тех случаях, когда ясен смысл идеограммы, трудно выяснить, какое слово она передает. Точно определить чтение идеограммы можно в том случае, если она употребляется также в качестве фонетического знака, как, например, идеограмма солнца (*kin*). Можно также использовать случаи, когда идеограмма заменяется фонетическим написанием. Например, слова *cutz* «индюк» и *тоо* «попугай» имеются и в идеографической, и в фонетической записи.

Идеограмму обычно определяют как знак, передающий слово. Такое определение встречается и в моих статьях. Однако более точные наблюдения показывают, что идеограмма передает только корень. Идеограмма не может передавать корень с аффиксами, т. е. грамматическую форму слова (имея в виду, конечно, синтетические, а не аналитические формы). Это наблюдение полностью подтверждается употреблением идеограмм в иероглифических системах письма Старого Света.

В каждом языке есть верхняя граница фонетического состава корня слова. Корень, например, может быть односложным, двухсложным или трехсложным (или соответственно двухрадикальным, трехрадикальным, считая радикалом согласный звук при неустойчивых гласных). Так как и идеограммы, и фонетические знаки в иероглифическом письме общего происхождения, то ни идеограмма, ни фонетический знак не может передавать больше звуков, чем максимальный фонетический состав корня данного языка. В языке майя корни односложны (открытый или закрытый слог). Отсюда следует, что никакая идеограмма или фонетический знак в письме майя не может передавать больше, чем закрытый слог. Поэтому, например, идеограмма ягуара не может быть прочтена *balam* или *bolay*, так как в этих словах окончания *-am* и *-ay* являются суффиксами. Точно так же идеограмма совы не может быть прочтена *muan*, потому что это слово имеет суффикс *-an*, который не может быть выражен идеограммой.

Фонетические знаки в письме майя всегда передают только один слог. Состав этих слогов точно такой же, как и состав корней языка майя, а именно: они могут состоять из одного гласного звука [тип А], из гласного и согласного [тип АБ], из согласного и гласного [тип БА] и из двух согласных с гласным между ними [тип БАБ].Знаки открытых слогов употребляются также для передачи отдельных согласных звуков в конце слова, и поэтому их правильнее назвать алфавитно-слоговыми знаками типа Б(А). Широкое употребление этих знаков— характерная особенность письма майя.

Так как имеется по нескольку алфавитно-слоговых знаков для одного и того же согласного звука (но с разными гласными), например *k*(*a*), *k*(*u*), *k*(*e*) и т. д., то, казалось бы, безразлично, какой из этих звуков употребить, чтобы передать один согласный звук в конце слова. Однако писцы майя

довольно строго придерживались следующего орфографического правила: для передачи согласного звука в конце слова следует употребить такой алфавитно-слоговой знак, подразумеваемый гласный которого тождествен предыдущему гласному звуку слова. Такого рода написание можно назвать сингармоническим. Так, например, в слове *tzul* употреблен алфавитно-слоговой знак *l(u)*, а в имени богини *Chel* — знак *l(e)*. Сингармоническое написание, безусловно, преобладает, хотя в ряде случаев встречаются отклонения от него — например, в слове *kuch* «гриф» употреблен знак *ch(e)*, а не *ch(u)*. Проф. Д. Келли (в письме от 27 января 1957 г.) предложил очень интересное объяснение этому явлению. По его мнению, корни древнего языка майя были двухсложными. При этом конечный гласный звук был обычно тождествен предыдущему, хотя имелись и отклонения. Предположение Д. Келли подтверждается рядом наблюдений над лексикой языка майя. Если оно окажется правильным, тогда можно считать, что иероглифическое написание точно фиксирует конечные корневые гласные звуки, впоследствии исчезнувшие.

Фонетика древнего литературного языка майя, несомненно, значительно отличалась от известной нам фонетики разговорного языка времен испанского завоевания. В отношении гласных звуков прежде всего следует отметить широкое распространение сингармонизма в новом языке. В непереходных глаголах гласный звук суффикса *-hal* изменяется соответственно гласному корня, а согласный звук *h* исчезает, в результате чего появляются глаголы типа *hanal*, *cimil*, *ukul*. В глаголах страдательного залога гласный звук суффикса *-bal* подвергается такому же изменению, а согласный *b* исчезает. Этот процесс сингармонизации глаголов был в полном разгаре во времена испанского завоевания, тогда как в древнем языке его еще не было.

Произношение согласных звуков также значительно изменилось. Можно отметить закономерные переходы звуков *t—ch*, *ch—c*. Например, слова древнего языка *te* «дерево», *chuan* «небо» в новом языке произносятся *che*, *caan*. В древнем языке был звук *ng*, который в новом языке переходит в *h* или *n*.

Точно так же следует отметить ряд серьезных изменений в грамматике. В новом языке появляется группа личных имен существительных в результате переосмысления префиксов *ah-* и *ix-*, которые в древнем языке не давали указания на пол. Особенно сильно изменилось спряжение глаголов. Непереходные глаголы в древнем языке имели суффиксы *-ngal* (настоящее время), *-ngi* (прошедшее время), *-ngom* (будущее время). Впоследствии эти суффиксы стали произноситься в одних случаях *-hal*, *-hi*, *-hom(-om)*, в других случаях *-nal*, *-ni*, *-nom*. Только в некоторых глаголах сохранился архаический суффикс настоящего времени, например *lolancal* «цвести» (прошедшее время *lolni*). В этих случаях древний звук *ng* воспринимается уже как сочетание согласных *nc* (иногда *nh*). Затем, как говорилось выше, произошла сингармонизация многих непереходных и пассивных глаголов. Кроме того, следует отметить исчезновение суффикса будущего времени *-om*, который встречается как архаизм в текстах колониального периода. В дальнейшем появилось аналитическое спряжение с помощью временны́х частиц в сочетании с местоименными аффиксами, тогда как в древнем языке преобладало суффиксальное спряжение. В связи с этим изменились основы настоящего и будущего времени переходных глаголов.

Изучение лексики языка иероглифических текстов весьма затрудняется тем, что пока плохо изучена лексика языка колониального периода. Даже важнейшие словари языка майя, в том числе словари из Вены и Сан-Франсиско, до сих пор не изданы. Однако лексики всех

словарей, копии которых имеются у зарубежных специалистов, не хватает даже для того, чтобы перевести тексты колониального периода. В так называемых книгах Чилам Балам, написанных на языке майя испанским алфавитом (большинство этих книг также не опубликовано), встречается настолько много непонятных и сомнительных слов, что переводы этих текстов, сделанные различными авторами, часто совершенно не похожи друг на друга. Достаточно сопоставить переводы Р. Ройса, А. Баррера Васкеса и М. Мэйкемсон, чтобы убедиться в этом.

Если в книгах Чилам Балам встречается настолько много непонятных слов, что крайне трудно дать точный перевод, то в древних иероглифических текстах дело обстоит, естественно, гораздо хуже. В них встречается некоторое количество понятных слов среди непонятного или сомнительного лексического материала, не имеющего аналогий ни в словарях, ни в текстах колониального периода. В этом, конечно, нет ничего удивительного, потому что язык иероглифических текстов на полторы тысячи лет древнее известного (или, вернее, очень плохо известного) нам языка майя XVI в. Поэтому нельзя ожидать быстрых успехов в чтении иероглифических текстов. С другой стороны, именно это обстоятельство делает язык майя особенно интересным для филологов, так как пока что это единственный язык на континенте Америки, развитие которого можно проследить на протяжении двух тысячелетий — с рубежа нашей эры до наших дней.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ О РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ

(По материалам диалектологических атласов) [1]

Изучение говоров русского языка методами лингвистической географии, начавшееся более десяти лет назад и осуществляемое силами филологов всей страны, в наибольшей степени характеризует собой современный этап развития диалектологии русского языка. Основным результатом этого изучения являются составленные и составляемые в настоящее время атласы русских народных говоров, одни из которых находятся в печати, а другие близки к завершению. Теоретические и методические основы подготавливаемых атласов, а также предварительный частичный обзор результатов проведенного картографирования получили некоторое, хотя еще и недостаточное, освещение в печати [2].

В настоящее время ожидается выход в свет «Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», во вступительной статье к которому значительно более полно, чем это было сделано в указанных выше статьях, освещены основные теоретические положения лингвистической географии русского языка. В связи с этим в данной статье мы останавливаемся на некоторых предварительных итогах тех этапов работы над атласами русских народных говоров, которые связаны с обследованием нескольких тысяч населенных пунктов на территории Европейской части СССР по существующей «Программе» и составлением первых четырех атласов [3]. Из всего возможного круга вопросов здесь будет в некоторой степени освещен вопрос о том, как обогатились наши сведения о русских народных говорах за последнее десятилетие. Предлагаемый ниже обзор ни в какой мере не является систематическим или исчерпывающим; рассмотрены в виде иллюстраций лишь некоторые отдельные стороны имеющихся материалов. В статье используются материалы, уже подвергшиеся картографированию и изученные в этой связи; преимущественно они относятся к территории Ленинградской, Новгородской, Псковской, Великолукской, Калининской, Смоленской, Калужской, Тульской, Московской,

[1] Статья подготовлена Сектором истории русского языка и диалектологии Института языкознания АН СССР.

[2] Р. И. Аванесов, Вопросы лингвистической географии русских говоров центральных областей, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 2; его же, Лингвистическая география и история русского языка, ВЯ, 1952, № 6; И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко, О некоторых синтаксических явлениях в говорах юго-западных и центральных областей к западу от Москвы, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР], X, М., 1956; В. Г. Орлова, Классификация южновеликорусских говоров в свете современных диалектных данных, ВЯ, 1955, № 6 (в этой статье см. также информацию о ходе составления атласов и карту, на которой показано размещение территорий трех атласов).

[3] «Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка», М.—Л., 1947.

Владимирской, Горьковской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областей. Использование материала является выборочным, что зависит как от объема статьи, так и от того, что далеко не весь материал в должной мере изучен и обобщен.

В ряде случаев огромный материал, собранный методом непосредственных наблюдений по единой для всех экспедиций «Программе», углублял наши сведения о диалектных фактах, уже предусмотренных «Программой»; нередко изменялись представления о внутренних закономерностях того или иного явления, о месте данного явления в языковой системе, о его связи с другими смежными явлениями, о его роли в классификации русских народных говоров. Картографирование материала давало возможность более глубокого понимания этих вопросов, давало более полные сведения о характере территориального распространения явлений. Однако наряду с этим весьма многие ответы на вопросы «Программы» содержали ценные дополнения, расширяющие круг наших сведений о диалектных различиях русского языка, сообщали новые факты, характерные для современных говоров.

Изучение собираемых в настоящее время данных о северных и северо-восточных говорах Архангельской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Костромской, Ярославской областей, Карело-Финской АССР и южных, находящихся на территории таких областей, как Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, а также о восточных говорах Поволжья будет проведено при составлении соответствующих атласов и намечено на ближайшее и последующее пятилетия.

*

В результате работы над атласами мы располагаем в настоящее время новыми данными о предударном вокализме южновеликорусских говоров. Вопрос о территории распространения диссимилятивного аканья и о наличии диссимилятивного аканья архаического типа, при котором редуцированный ъ появляется не только перед *а*, но и перед *о* и *е* определенного происхождения, уже освещался в печати [1]. При этом отмечалось, что в говорах с наиболее архаическими типами предударного вокализма наблюдается параллелизм: архаическому типу диссимилятивного аканья сопутствуют также архаические типы яканья (наблюдение, уже само по себе важное для изучения истории явлений).

При последующем изучении материала удалось установить, что утрата архаических отношений идет неравномерно после мягких и твердых согласных и совершается различными путями. Современные данные свидетельствуют также о том, что в ряде говоров диссимилятивный предударный вокализм после мягких согласных (обоянский тип) существует при отчетливо прослеживаемом различении семи гласных фонем под ударением (*а*, *о*, *е*, *ô*, *ê*, *у*, *и*). Однако не менее интересны и сведения о том, что обоянское яканье сохраняется в ряде говоров также при утрате различения семи ударенных гласных на основе определенного рода грамматических обобщений и лексикализации, при которых известную роль играет и то, какие именно гласные (*а* и *и*, ъ или *а* и *е*, ъ) выступают в первом предударном слоге. Этот материал является в настоящее время предметом специального исследования, включающего также разрешение вопроса о том, при каком именно исходном типе яканья и при каких характерных процессах развития могут формироваться различные более поздние типы предударного вокализма.

[1] Т. Г. Строганова, Одна из особенностей южновеликорусского вокализма, ВЯ, 1955, № 4.

На основе материалов атласов уже были внесены существенные добавления и уточнения в классификацию типов яканья, созданную в свое время Н. Н. Дурново[1]. В настоящее время имеются сообщения о новой разновидности ассимилятивно-диссимилятивного яканья, отмеченной в говорах Куйбышевской области, при которой гласный не *а* произносится только перед ударенным *е* из *е* и ь, в то время как перед *е* из *ě* и *о* из *е* произносится *а*. Уточнены представления о двух разновидностях умеренно-диссимилятивного яканья, имеющих одна — суджанскую, а другая — щигровскую основу[2]. Каждая из этих разновидностей распространена на самостоятельных территориях: первая — в восточной части Орловской области и, видимо, далее в восточном направлении; вторая — в западной части Тульской и в центральных районах Орловской области.

Намечаются также по крайней мере еще две территориально приуроченные разновидности диссимилятивно-умеренного яканья: одна, при которой перед *о* из ъ произносится *и* (на юге Калужской области), другая, при которой *а* произносится перед *и* и *ě*, стоящими после сочетаний согласных (в восточной части Смоленской, в некоторых северных районах Брянской области и южных районах Великолукской).

Имеются данные о наличии в них большого (гораздо бо̀льшего, чем это полагали ранее) количества северновеликорусских говоров с гласным *е* в соответствии и *е*, и *ě* в первом предударном слоге (*несу́*, *реку́*, *пряла́*), а также говоров, где наблюдается совпадение гласных неверхнего подъема в *е* (*несу́*, *река́*, *прела́*), тем не менее северновеликорусских по своему строю. Проводимое в настоящее время исследование открывает возможность своеобразной типизации предударного вокализма после мягких согласных для северновеликорусских говоров. При этой типизации будет учтена и такая, ранее неизвестная, разновидность предударного вокализма, при которой гласный *а* появляется и в соответствии этимологическому *е* (*нясу́*, *река́*, *пряла́*) вне связи с воздействием акающих говоров. Характерна также территориальная определенность распространения различных типов предударного вокализма северновеликорусских говоров, в связи с чем возрастает роль данного явления при классификации этих говоров.

Материалы атласов позволили внести много нового и в понимание ряда явлений ударенного вокализма. Наличие гласных особого качества и дифтонгов не только в соответствии *о* под восходящим ударением и *е* из *ě*, как это было известно ранее, устанавливалось уже в некоторых работах, построенных на материалах атласов[3]. Выяснено, что в ряде говоров, расположенных островами в Рязанской, Калужской, Воронежской и Белгородской областях, противопоставляются *o̯*, *o͡y* (из *о* под нисходящим ударением или из ъ, а также на месте *е* и ь) и *ô*, *yo͡* (из *о* под восходящим ударением). Аналогично противопоставление *e̯*, *e͡y* (из *е* и ь) и *ê*, *ye͡* (из *ě*). Характерной сопутствующей особенностью некоторых говоров, знающих подобное противопоставление ударенных гласных, является произношение не вполне смягченных согласных перед *e̯* и *e͡y*. Взятые

---

[1] По поводу разновидностей ассимилятивно-диссимилятивного яканья см.: Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., 1949, стр. 89—92; А. Н. Гвоздев, Таблица типов аканья и яканья, «Бюлл. Куйбыш. межобл. кабинета атласа русск. языка», вып. I, Куйбышев, 1948, стр. 18—19; Р.И. Аванесов, Лингвистическая география и история русского языка, стр. 34.

[2] Ср. ранее высказанные соображения об этих разновидностях в работе С. И. Коткова «Говоры Орловской области со стороны их вокализма», («Уч. зап. [Орловск. гос. пед. ин-та]», т. V, Кафедра русск. языка, вып. 2, Орел, 1951, стр. 70—80).

[3] С. С. Высотский, О говоре д. Лека (по материалам экспедиции 1945 г.), в кн. «Материалы и исследования по русской диалектологии», т. II, М.—Л., 1949.

в связи друг с другом эти две особенности представляют собой вновь выявленный характерный признак некоторых говоров южновеликорусского типа.

Наличие на территории современной Рязанской области определенного массива говоров, не изменивших *е* в *о*, давало уже возможность высказать предположение, что в прошлом этого изменения, может быть, не было и в других южновеликорусских говорах[1]. При обследовании более западных территорий (курских, орловских, брянских, смоленских, великолукских, псковских) не встретилось говоров, в которых непереход *е* в *о* был бы представлен столь последовательно, хотя в значительном количестве южновеликорусских, средневеликорусских и северновеликорусских говоров западного типа он известен в различной, но, однако, не повторяющейся из говора в говор лексике (*свёкла*, *свёкор*, *котёнок* и т. п.). Этот факт указывает, что вопрос о природе этого явления и о связи его с определенными диалектными группами можно будет окончательно решить лишь после обследования говоров северо-востока.

Уже отмечалось, что материалы атласов дали возможность установить распространение *в говорах Рязанской области* (Мещерский край)[2] такой черты, как произношение *е* вместо *а* между мягкими согласными (*з'ет'*, *п'ет'*, *д'ёд'а* и т. п.), считавшейся ранее исключительно северновеликорусской. Картографирование и изучение материала позволило доказать, что внешне аналогичное изменение *а* в *е* в глаголах (*дышет'*, *крич'ет'* и под.) в ряде говоров совершенно не связано с общим изменением *а* в *е* и встречается на совершенно особых территориях, где общее изменение *а* в *е* между мягкими совсем не отмечено и потому должно считаться диалектной особенностью, имеющей самостоятельное значение и развившейся, вероятнее всего, на основе грамматической аналогии с глаголами типа *гореть*.

Переходя к вопросам консонантизма, укажем, что только материалы, собранные при подготовке атласов, дали возможность установить действительную картину употребления аффрикат в русских народных говорах. Впервые выявлена значительная территория цокающих говоров на юго-востоке Европейской части СССР (во Владимирской, Рязанской, Горьковской областях). Стала известна самостоятельная территория говоров в Курской и Орловской областях, в которых утрачен затвор аффрикатами *ц* и *ч*. Отметим, что последнее явление (произношение типа *ш'ай*, *дбш'ка*, *нбш'*) было ранее недостаточно освещено в литературе.

Во время подготовки атласов был получен материал для создания типологии употребления аффрикат[3]. Материалы атласов убедительно показали отсутствие обязательной связи цоканья или утраты затвора аффрикатами с таким явлением, как шепелявость свистящих согласных. Как выяснилось, изменения твердых шипящих и свистящих согласных вообще не характерны для русского языка. Шепелявое произношение мягких свистящих в Псковской, Великолукской, Брянской областях отмечают на территориях, пограничных с Белоруссией. В Рязанской, Горьковской областях, Чувашской и Мордовской АССР говоры, знающие это явление, хотя и находятся в пределах общего массива цокающих говоров, группируются в пределах узкой полосы по обе стороны границы аканья и оканья, где происходит давнее взаимодействие носителей

[1] Р. И. Аванесов, Лингвистическая география и история русского языка, стр. 32.

[2] Р. И. Аванесов, Вопросы лингвистической географии русских говоров.., стр. 170.

[3] В. Г. Орлова, Типы употребления аффрикат как различительный признак русских народных говоров, ВЯ, 1957, № 1.

северновеликорусского и южновеликорусского наречий. Между тем многие исследователи исходили раньше из представления об обязательной связи шепелявости и цоканья или утраты затвора в аффрикатах по говорам.

К числу явлений, сведения о которых, притом отрывочные и неполные, поздно появляются в диалектологической литературе, относится произношение среднего *l*. Наличие этого звука долгое время считалось характерным только для северновеликорусских говоров. В настоящее время выяснено, что данная черта встречается и в южновеликорусских и средневеликорусских говорах, хотя и расположенных разбросанно и в общем немногочисленных, обычно данная черта бывает распространена лишь у части носителей говора. Употребление среднего *l* в одних говорах встречается только перед гласными непереднего ряда, а в других также и перед согласными, и на конце слова.

Впервые выявлены значительные группы говоров, в которых сохраняются неоглушенными звонкие согласные на конце и изредка в середине слова. Такие говоры находим в западной части Брянской и Смоленской областей (преимущественно по границе с Белоруссией), в Муромском районе Владимирской области[1], в Вачском, Мордовщиковском и Кулебакском районах Горьковской области. Спорадически их отмечают и в других местах. Ряд наблюдателей фиксирует наличие гласного призвука при неоглушенных согласных или также и при глухих согласных на конце слова. Возможно, что с утратой описываемого явления, протекающей весьма интенсивно, связано то, что в некоторых говорах подобное произношение согласных сохраняется лишь перед паузой, заменяясь употреблением глухих согласных в других положениях.

Разнообразные случаи изменения *в* в *х*, упоминавшиеся в литературе, не могли получить правильную оценку до их изучения методами лингвистической географии. В настоящее время выяснено, что изменение *в* в *х* в середине и на конце слов в основах (*дéхка*, *лáхка*, *голóх*, *корóх*) существует как собственно фонетическое явление в говорах рязанской мещеры, в которых более широко распространено произношение *в* как *ў* в тех же условиях.

Произношение *в* как *х* наблюдается на периферии той территории в пределах мещерских говоров, где распространено произношение *ў* и, может быть, связано с процессами взаимодействия с носителями губно-зубного *в*.

Изоглосса произношения *в* как *х* только во флексии род. падежа мн. числа (*столóх*, *дворóх*) выделяет бóльшую территорию, чем изоглосса случаев типа *лáхка*, *голóх*, и включает в свои пределы территорию этого последнего явления. Связь по территориальному признаку может свидетельствовать о едином генезисе двух названных явлений. Говоры, в которых сохраняются только случаи типа *столóх*, представляют, быть может, реликт более широкого произношения *х* вместо *в*, связанный с произношением определенной морфемы.

*

Различий между говорами русского языка, относящихся к области грамматики, меньше, чем различий фонетических. Они касаются преимущественно звукового выражения тех или иных формальных элементов.

[1] В. И. Тагунова, О сохранении звонких согласных на конце слова и перед глухими в муромских говорах, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», IV, М., 1953.

Следует отметить, что сведения о различиях этого рода в прошлом мало подвергались обобщению, с чем связано их недостаточное использование при создании классификации русских народных говоров. В этом нетрудно убедиться, обратившись к «Опыту диалектологической карты русского языка в Европе»: круг использованных при классификации морфологических особенностей узок; если для одних групп говоров указываются некоторые морфологические особенности, для других нередко не сообщается никаких данных. В связи с этим изучение материалов, представляющих собой ответы на вопросы «Программы» по морфологии, приобретает особый интерес.

Наряду с известной для южновеликорусских говоров возможностью образования форм им. падежа мн. числа на *-а* (таких, как *лошадя́*, *площадя́*, а также *матеря́*, *дочеря́* и форм *деревня́*, *яблоня́* и под.), для внутренней дифференциации южновеликорусских говоров может служить распространение основы им. падежа мн. числа подобных существительных суффиксом *-j-* (*лошад'йа́*, *матер'йа́*, *дочер'йа́*), отмечаемое преимущественно в говорах Тульской, Орловской, Рязанской областей, т. е. лишь в определенной части говоров южновеликорусского наречия. Укажем, что в западной части Ленинградской и Новгородской областей также выявлена небольшая группа говоров, в которых распространены формы им. падежа мн. числа типа *лошадья́*, но наряду с ними и специфические местные формы от существительных на *-а* (*берёзья*, *березья́* и т. п.).

Образование форм род. падежа мн. числа с окончанием *-ов* у существительных женского рода (*ба́бушков*, *я́годов*, *во́йнов* и т. п.) и существительных мужского рода с основой на шипящий (*ножо́в*, *шалашо́в* и т. п.) оказывается в той же мере свойственным южновеликорусским говорам, как и форма им. падежа мн. числа на *-а*, хотя характер этого образования по отношению к различным существительным неодинаков.

По образованию форм мн. числа может быть выделена, взятая в целом независимо от разделения на южновеликорусские, средневеликорусские и северновеликорусские говоры, западная территория говоров, выделяющаяся также и по ряду фонетических признаков[1]. Для говоров этой территории, расположенных на запад от линии Севск—Брянск—Вязьма—Сычевка—Новгород, характерно в им. падеже мн. числа окончание *-ы* (*-и*) у существительных мужского рода (*ле́сы* и *лесы́*, *го́роды и городы́*, *до́мы и домы́*, *во́лосы и волосы́*), в частности и в тех случаях, где в литературном языке сохраняется старая флексия двойственного числа (*бо́ки* и *боки́*, *рука́вы* и *рукавы́*, *гла́зы* и *глазы́*, *бе́реги* и *береги́*). Ср. в этих говорах окончание *-ы* (*-и*) и у слов со значением степеней родства (*зя́ти—зяти́*, *бра́ты—браты́*, *сы́ны—сыны́*); эти же формы в разбросанном виде известны и в курско-орловских говорах. Столь широкое распространение форм на *-ы* (*-и*) не дает основания считать их свойственными лишь средневеликорусским говорам с белорусским наслоением, как это имеет место в «Опыте диалектологической карты»[2].

Вне связи с вопросом о классификации говоров могут быть отмечены и еще некоторые наблюдения, касающиеся форм существительных. Для образования форм твор. падежа существительных женского рода с окончанием *-уй* (*дэ́вкуй*, *ня́н'уй*, *ра́нуй*), территориальное распространение которых, в основном, точно описано С. П. Обнорским[3], обычно указы-

[1] В. Г. Орлова, Классификация южновеликорусских говоров в свете современных диалектных данных, ВЯ, 1955, № 6.

[2] Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков, Опыт диалектологической карты русского языка в Европе, М., 1915, стр. 38.

[3] С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. I, Л., 1927, стр. 284—288.

вали в качестве решающих условий наличие задненебного согласного перед окончанием и двусложность самого окончания. По мнению А. А. Шахматова, сочетание *ойу* изменялось в результате ассимиляции в *уйу* и лишь затем в *уй*. Однако в настоящее время собран большой материал, показывающий, что окончание *-уй* широко известно и после взрывных, губных, шипящих согласных; встречается оно и в говорах, где существительные с двухсложным окончанием совсем не отмечены. Все это дает повод и основание для исследования соответствующих вопросов.

Пополнены ранее весьма ограниченные сведения об образовании форм сравнительной степени, в связи с чем появляется возможность и их территориального приурочения. Так, выявлены характерные для территорий, пограничных с белорусским и украинским языком, формы с двухсложной основой, представляющие перенос ударения с основы на окончание (*спокойнée*, *удобнée* и т. п.). Характерными для западных говоров оказываются формы со вторичным суффиксом *-ей* (*нижей*, *тоней*, *ширей*, *большей*). В Псковской и Великолукской областях (т. е. на части территории западных говоров) обнаружена компактная группа говоров, знающих формы *крепбше* (от *крепок*), *легбше* (от *легок*), на которые были лишь единичные указания в литературе. Обнаружены в говорах Владимирской, Горьковской, Ульяновской областей и в Чувашской АССР формы с суффиксом *-е* (*скорé*, *быстрé* и т. п.). Вопреки представлению о том, что в русских говорах неизвестны формы сравнительной степени с суффиксом *-ейш-* (*он старейше меня*), обнаружена группа говоров Калужской и Брянской областей, знающих это явление.

Пополняются — вообще чрезвычайно скудные — представления об образовании форм числительных и их территориальном распространении. В западной части средневеликорусских говоров (Псковская, Великолукская область) отмечены формы творительного падежа числительного *два* (совпадающие с дат. падежом), образованные от разных основ (типа *двум*, *двым*, *двюм*), из которых четкую локализацию в пределах Великолукской области имеет форма от основы *двы-*. Аналогичное распространение имеет форма твор. падежа *трёми*, распространенная и на более южных территориях, преимущественно в говорах, пограничных с Белоруссией. В тех же говорах, а также южнее, по границе с Белоруссией и далее на территории Брянской, Орловской областей с последующим распространением в юго-восточном направлении, отмечена форма твор. падежа *четырёми*, ранее известная лишь по единичным сообщениям.

В отношении глагольных форм большой интерес представляют данные о формах 3-го лица без окончания. Так, оставалось неясным, какие именно из восьми возможных форм 3-го лица (имеются в виду глаголы 1-го и 2-го спряжения с ударенной и безударной флексией в ед. и мн. числе в пределах каждого из спряжений) бывают представлены по говорам без окончания. Не было также данных и о территориальной локализации этих форм.

В настоящее время выявлены три самостоятельные территории распространения глагольных форм без окончания: северо-западная (говоры определенной части Псковской, Новгородской и Великолукской областей), юго-западная (западная часть Брянской области) и южная (на территории Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Рязанской областей с вероятным продолжением в восточном направлении). Наибольшее количество возможных форм без окончания (восемь встречается лишь в некоторых говорах северо-запада, где возможно употребление одновременно таких форм, как *он нес'б*, *пи́ша*, *они несу́*, *пи́шу*; *он кричи́*, *лю́б'а* *они крича́*, *лю́б'а*. Наиболее редкими и на других территориях почти не встречающимися формами являются *он кричи́*, *они несу́*, *они ста́ну*. Их

распространение в некоторых говорах северо-западной территории может поэтому считаться наиболее типичным. В говорах юго-западной территории почти совсем не встречаются формы мн. числа без *т*; распространены в различных сочетаниях формы ед. числа без окончания. В южных говорах (обычно южновеликорусских, кроме некоторых тульских говоров) отмечают формы и ед., и мн. числа без окончания (за исключением отмеченных выше редких северо-западных форм), причем употребление форм ед. числа распространено почти сплошь, формы же мн. числа встречаются в более редких говорах. Приведенная характеристика имеет самый общий и приблизительный характер. В дальнейшем необходимо специальное исследование материала, которое должно дать прежде всего типологию данного явления.

Для характеристики личных форм глаголов настоящего времени 1-го спряжения существенны встречавшиеся и раньше указания на произношение ударенного тематического гласного, определяющиеся наличием или отсутствием изменения *е* в *о*. Материалы атласов дают сведения об употреблении форм с *е*, не изменившимся в *о*, в западной части средневеликорусских говоров и говорах южновеликорусского наречия; по предварительным данным, эти формы не чужды и северновеликорусским говорам (кроме владимирско-поволжских). Интересна дальнейшая дифференциация говоров по данной черте. В западной группе говоров — как средневеликорусских, так и южновеликорусских — переход *е* в *о* в глаголах зависит от качества последующего согласного по твердости и мягкости: *несёшь* (перед бывшим мягким согласным), *несёть*, *несём*, *несёте*. В некоторых брянских говорах *о* появляется нефонетически и во 2-м лице мн. числа (*несёшь*, *несёть*, *несём*, *несёте*). В говорах Курской и Орловской областей, а также, видимо, и в более восточных, *е*, не изменившееся в *о*, представлено во всех формах (*несёшь*, *несёть*, *несём*, *несёте*) вне зависимости от фонетических условий.

Существенным для характеристики личных форм глагола является характер стяжения гласных в основах глаголов. В северновеликорусских говорах стяжение связано с утратой интервокального *j*, а в южновеликорусских — с редукцией гласных заударного слога, чем и объясняется тот факт, что в южновеликорусских говорах стяжение наблюдается в большом количестве сочетаний (например, в сочетаниях *оje*, *уje*)[1].

В «Опыте диалектологической карты» не используется при классификации говоров такой морфологический признак, как характер образования возвратных форм глагола. Обобщение значительных материалов показало, что наибольшее значение в этом отношении имеет вопрос о твердости или мягкости *с* в этих формах, а также вопрос о качестве конечного гласного (является ли он гласным типа *а* или типа *и*). Материалы атласов подтвердили известное в общем виде и ранее положение о том, что твердое *с* в возвратной частице характерно преимущественно для северновеликорусских говоров; качество гласного в возвратной частице по данным атласа может стать одним из признаков для внутренней дифференциации южновеликорусских говоров. Так, выявилось, что в западной группе говоров (западнее линии Великие Луки—Смоленск—Торопец—Брянск—Севск—Рыльск) известна только частица *с'а* и не встречается *с'и*, которая, в свою очередь, имеет широкое распространение в говорах Тульской и Рязанской областей.

Обнаружены две небольшие группы говоров (на территории Рязанской Мещеры и в районе Скопина-Михайлова Рязанской области), знающих

[1] Т. С. Коготкова, Утрата интервокального *j* и стяжение гласных в русских говорах. Автореф. канд. диссерт., Л., 1953.

в формах 3-го лица ед. и мн. числа и в форме инфинитива возвратных глаголов вторичное *-ть* (*он дерётцъть, они дерутцуть, дра́тцъть*).

Материалы атласов, как и ранее собранные материалы, характеризующие употребление форм повелительного наклонения, обобщены в работе А. И. Сологуб[1], где также намечены основные типы образования этих форм.

Полученный большой материал, характеризующий образование глагольных основ, требует специального исследования. Заметим лишь, что обобщение во всех личных формах твердого задненебного согласного (*пеку, пекош....пекут*), ранее считавшееся типично северновеликорусским, отмечено и в южновеликорусских говорах (рязанских, тульских, калужских и др.).

Отмеченные в «Опыте диалектологический карты» в качестве типичных для говоров Поморской группы северновеликорусского наречия формы *еси, даси* (2-е лицо ед. числа глаголов *дать* и *есть*) отмечаются и в говорах западных территорий (в западной части Смоленской и Брянской областей).

Выявлены данные, уточняющие представление о территории распространения деепричастий с суффиксом *-лши*. В диалектологической литературе имеется лишь общее указание на то, что эти деепричастия употребляются в псковских говорах. По данным атласов установлено, что суффикс *-лши* распространен в говорах, находящихся на самой южной части территории бывшей Псковской земли, причем изоглосса данного явления почти полностью повторяет южную границу бывшей Псковской земли.

Проведено в настоящее время и некоторое обобщение материалов по синтаксису[2]. Данные атласов в некоторых случаях весьма существенно изменяют наши представления о территориальной приуроченности тех или иных явлений. Считавшиеся исключительно северными конструкции типа *тебе жена надо* и употребление деепричастий в качестве сказуемого зафиксированы в настоящее время и в средневеликорусских, и в южновеликорусских говорах. Новым является и указание на то, что вдоль границы русского языка с белорусским и украинским идет полоса говоров, в которых отсутствует употребление постпозитивных частиц — как согласуемых, так и несогласуемых.

На основе материалов, собранных в атласах, была написана в свое время статья Ф. П. Филина, в которой наибольший интерес представляет анализ страдательно-безличных оборотов разного типа[3]. Накопленные после выхода в свет этой статьи материалы, характеризующие употребление данной конструкции, в настоящее время являются предметом исследования. Уточняется представление о территории распространения страдательно-безличного оборота, который широко известен не только в северо-западных говорах, но также и на северо-востоке (имеющийся материал указывает, например, на его распространение по течению рек Северной Двины, Пинеги и Мезени). Выявлена вторая (после территории вокруг Пскова и Новгорода) территория наиболее последовательного распространения данного оборота в районе Череповца и Белого озера. Отмечено распространение этого оборота в западной группе средневеликорусских говоров, причем не только в их северной части, но и около Гжатска, Ржева, Вязьмы, а также разбросанно и на территории южновеликорусских говоров в Курской и Орловской областях. Можно отметить значительное

[1] А. И. Сологуб, Формы повелительного наклонения в русских говорах, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. VII, М., 1957.

[2] И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко, указ. соч.

[3] Ф. П. Филин, Заметки о записях материалов по синтаксису, «Бюлл. диалектол. сектора [Ин-та русск. языка]», вып. 4, М.—Л., 1948.

преобладание примеров типа *нигде не бывано* по отношению к примерам типа *руку поранено*.

Изучение отдельных сторон и особенностей страдательно-безличных оборотов позволяет установить различные типы нарушения согласования между главными членами этого оборота, подтверждает возможность образования причастий от глаголов совершенного и несовершенного вида (*сеяно—посеяно, езжено—поезжено*) и указывает на широкое употребление названия действующего лица в форме род. падежа с предлогом *у* (*у волков хожено*), хотя наряду с этими формами употребляется также и форма твор. падежа без предлога (*мной хожено* и т. п.). Имеются некоторые сведения о выражении формой род. падежа с предлогом *у* не только фактического производителя действия, но вообще предмета, являющегося подлежащим в соответствующем личном обороте (*здесь верно у дожжа́ быто* и т. п.). Отмечены и обороты типа: *девушка уехала была в Ленинград/теперь вернулась*.

*

При подготовке атласов собраны большие материалы по лексике русских народных говоров, которые еще ждут своего обобщения и детального изучения в разных направлениях и с различными целями. Картографирование данных по лексике позволяет уточнять наши представления о типах диалектных различий русского языка[1].

Можно ожидать, что данные атласов изменят наши представления о принадлежности тех или иных слов к определенным диалектным группам. Так, слово *потолок* в значении «чердак», считавшееся южновеликорусским, оказывается распространенным и в северновеликорусских говорах новгородского типа, а также имеет некоторое распространение во владимирско-поволжских говорах. Распространение слова *жито* в значении «рожь» или «пшеница» в южновеликорусских говорах связывали обычно с влиянием украинского и белорусского языков[2]. В настоящее время установлено, что данное слово распространено значительно шире возможных сфер влияния этих языков. Его отмечают, кроме Смоленской, Брянской, Белгородской и юго-западной части Орловской области, также и в говорах Калужской, Тульской, Курской, Калининской, Московской областей. Слово *ладонь* в значении «ток», относительно которого указывали, что оно отсутствует в северо-западных говорах, фактически распространено в наиболее западной части этих последних, а также на территории Великолукской и Калининской областей.

Некоторые из слов, зафиксированных нашими наблюдателями, отсутствуют, как кажется, в ранее опубликованных словарях и собраниях лексики. Таковы отдельные названия малой укладки снопов — *попки́* (горьковск., ульяновск.), *ки́лоса* (ленинградск., псковск.), *рель*, *рёлка* для обозначения укладки сена (новгородск., псковск.). Таково слово *грабни́чка* (воронежск.) в значении «радуга», слова *скры́ги* (брянск.) и *гы́ри* (курск.) в значении «льдины». Слова *кома́р* и *кома́р'* в значении «муравей», имеющие большое распространение в южновеликорусских говорах, в данном значении тоже, как кажется, отмечены впервые. Можно также отметить слова: *седу́ха* (великолукск., смоленск.) «курица, высиживающая цыплят», иногда «наседка вообще», а также *шкры́рка*, *шкварду́ха*, *шквярду́ха*, *шквертю́шка* (великолукск.) в значении «курица, собирающаяся высиживать цыплят»; ср. и соответствующие глаголы

[1] Л. П. Жуковская, Типы лексических различий в диалектах русского языка, ВЯ, 1957, № 3.

[2] Ф. П. Филин, Исследование о лексике русских говоров. По материалам сельскохозяйственной терминологии, М.—Л., 1936, стр. 112.

зашквы́рывается, *шквярётся*. Отметим слово *рога́ет* в значении «бодается» (новгородск.).

Атласы дадут материал для рассмотрения вопроса о роли различных диалектных групп в формировании лексического состава литературного языка. Особенно интересны здесь случаи, когда карты атласов показывают, что территории распространения некоторых слов сходятся у Москвы. Ср. распространение непосредственно к северу от Москвы глагола *раздеваться* (в том же значении, что и в литературном языке), к югу — соответственного ему глагола *разбираться*. В таком же соотношении находятся территории распространения слов *ковш* (северное) и *корец* (южное). Вокруг Москвы распространены глаголы *брать* и *дергать* (о льне); территория глагола *теребить*, принятого в литературном языке, расположена несколько севернее. Случаи этого рода должны быть изучены систематически.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

Ф. Т. ЖИЛКО

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИАЛЕКТОВ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

Для современного изучения диалектов украинского языка, наряду с монографическим описанием говоров, особенно большое значение имело собирание материалов для диалектологического атласа и их картографирование. Начиная с 1948 г., записан диалектный материал более чем в 2500 населенных пунктах республики. В течение двух последних лет ведется картографирование материалов для I тома диалектологического атласа украинского языка (среднеподнепровские и северные говоры) в Институте языкознания им. А. А. Потебни АН УССР (г. Киев), а в этом году началось картографирование материалов для II тома атласа (юго-западные и западнополесские говоры) в Институте общественных наук АН УССР (г. Львов).

Уже на первом этапе картографирования получены весьма важные сведения о диалектных особенностях украинского языка и их распространении, о границах отдельных диалектных массивов, в связи с чем представляется возможным, хотя и в предварительном плане, решать данные вопросы на сравнительно более надежной основе, чем это было до сих пор.

В диалектном вокализме украинского языка особенное внимание исследователей привлекали так называемые дифтонги северных говоров. Еще К. П. Михальчук[1], а затем в послереволюционное время В. М. Ганцов[2] определили основные типы дифтонгов северных говоров украинского языка, выступающих в соответствии древним *о*, *е* в исторически новых закрытых слогах (под ударением) и древнему ударенному *і* (например, *в͡уол*, *в͡уел*, *в͡уиз*, *в͡уіз*; *л͡іес*, *л͡іе̂с* и т. д.; ударение возможно на первом компоненте дифтонга — нисходящие дифтонги, а также на втором — восходящие дифтонги). В ряде новых исследований, посвященных северным говорам, в частности восточнополесским, описаны различные варианты дифтонгов, их распространение, результаты их монофтонгизации и позиционные чередования[3]. Следы дифтонгов в виде монофтонгов *у* (*ӱ*), *о̂*, *и* (*ы*), а также *і* (как и во всех диалектах украинского языка) отмечены в карпатских говорах (*вул*, *нус*, *ныс*, *го̂д*, *нӱс*) и надсанских (на крайнем западе Дрогобычской, Львовской областей) — *мист*, *вин*, *но^{у}с*, *пыд* и т. д. Это дает возможность сделать предположение, что все говоры укра-

---

[1] К. Михальчук, К южнорусской диалектологии [рец. на кн. А. И. Соболевского «Очерк русской диалектологии», III], «Киевская старина», т. XLII, 1893, сентябрь.

[2] В. Ганцов, Характеристика поліських дифтонгів і шляхи їх фонетичного розвитку, «Записки Історично-філологічного відділу Всеукр. Акад. наук», кн. II—III, Київ, 1923.

[3] См. Ф. Т. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955, стр. 65—67, 77—79, 83—84.

инского языка в определенное время, после падения глухих, имели дифтонги соответственно древним *о*, *е* в исторически новых закрытых слогах (в юго-западных и юго-восточных говорах эти дифтонги, а в новейшее время монофтонг *і* не зависят от ударения). Дифтонг соответственно *ѣ* в XIV в. для поднестровских (галицких) говоров доказан В. Курашкевичем на основании галицко-волынских грамот (точнее — перемышльских)[1].

Диалектный вокализм украинского языка в большинстве последних работ исследуется в связи с особенностями ударения. Известно, что в вокализме северных говоров украинского языка не наблюдается позиционного изменения гласных звуков в зависимости от ударения, весьма характерного для юго-восточных и юго-западных диалектов. В настоящее время известны новые сведения, уточняющие это положение. Только в ударяемом положении в северных говорах отмечены дифтонги (или монофтонги) соответственно древним *о*, *е* в исторически новых закрытых слогах, в неударяемом же положении выступают звуки *о*, *е*. Соответственно звуку *а* (из *ę*) в неударяемом положении северные говоры имеют фонему *е*: *пáмет' дéсет'*; *вонú хóдет'*, *прóсет'* и т. д. В юго-западных говорах позиционные изменения гласных фонем в зависимости от ударения усиливаются изменяемостью гласных в положении после мягких согласных, например: *вонú хóд'ат*, *хóд'ет* (*хóд'е*), *хóд'іт* (*хóд'і*) и т. д.

В работах последнего времени освещены многие особенности и диалектного консонантизма. Следует остановиться хотя бы на явлении оглушения звонких согласных фонем, распространенном в юго-западных говорах и частично (в определенных положениях) в юго-восточных и северных[2]. В этом отношении юго-западные говоры напоминают соответствующую черту русских говоров. Консонантизм юго-западных говоров отличается целым рядом черт от других говоров украинского языка и современного литературного языка. В исследованиях последних лет (Д. Г. Бандрівського, В. И. Добоша, П. И. Приступы и др.) отмечены особенности перехода одних мягких согласных в другие, распространение препалатального («среднего») *л̀*: *л̀úхо*, *м̀óв'ід'*, *бул̀á* и т. д.

Картографирование материалов по I тому атласа, а также описание ряда говоров дают возможность внести ряд существенных дополнений в освещение многих диалектных морфологических черт украинского языка. Прежде всего следует отметить исследование категории прошедшего времени в юго-западных говорах, которое представляет собой фонетически и морфологически измененные формы перфекта[3], но как категория не отражает перфекта. Например: *п'ішóв-йем*, *п'ішлú-смо*, *ходúли-сте* и т. д.

Карты I тома диалектологического атласа украинского языка дают возможность довольно точно определить современную южную границу распространения дифтонгов и соответственных им диалектных монофтонгов (*у*, *и*, *е*). Как известно, дифтонги и монофтонги соответственно древним *о*, *е* в исторически новых закрытых слогах были весьма важным дифференцирующим признаком для разграничения северных и южных говоров украинского языка. В настоящее время граница северных и юго-восточных (а частично и юго-западных говоров) в виде пучка различных изоглосс (фонетических и морфологических) определяется на территории I тома атласа по линии Житомир—Фастов—Пырятин—Ромны—

[1] W. Kuraszkiewicz, Gramoty halicko-wołyńskie XIV—XV wieku, «Byzantinoslavica», IV, 1934, Kraków, стр. 355.

[2] См. П. Д. Тимошенко, Фонетические явления на границе слов в украинском языке. Автореф. канд. диссерт., Киев, 1953.

[3] Б. В. Кобилянський, Про залишки перфекта в південно-західній групі діалектів української мови, «Укр. мова в шк.», 1953, № 3.

Конотоп и приблизительно по р. Сейму. До изучения диалектных материалов, собранных для атласа, эта граница многими исследователями определялась по линии Житомир—Белая Церковь (далее по р. Роси)—Канев—Лубны и по р. Суле в направлении г. Сумы. Сопоставление данных лингвистического картографирования (в частности, дифтонгов) с записями второй половины XIX в., а особенно с данными различных документов, начиная с XVII в., свидетельствует о значительном передвижении изоглосс северных говоров на север. По имеющимся данным северный вокализм вообще менее жизнеспособен по сравнению с юго-восточным; некоторые свойственные северным говорам особенности вокализма исчезают под влиянием юго-восточных черт, а в последнее время и украинского литературного языка.

Особенно важное значение имеют данные лингвистического картографирования для определения среднеподнепровских говоров — генетического ядра юго-восточных говоров, легших в основу современного украинского литературного языка. Можно с уверенностью говорить о довольно значительном пучке изоглосс, разделяющих среднеподнепровские и северные говоры по указанной выше линии. Теперь определена и граница, отделяющая среднеподнепровские говоры от юго-западных (подольских) по линии Белая Церковь — восточнее Умани (до р. Гнилой Тикач) — Первомайск. Таким образом, значительно уточнена граница между юго-западными и юго-восточными диалектами. Опровергнуто давно распространенное в научной литературе мнение, будто между юго-западными и юго-восточными говорами имеется весьма широкая полоса переходных говоров. В действительности между подольскими и среднеподнепровскими говорами отмечается резко обозначенный пучок изоглосс, в частности морфологических: окончание *-ій* род. падежа мн. числа имен существительных мужского рода прежних *і*-основ (*гос'т'ій*, *кон'ій*) на запад условной линии Белая Церковь — Умань — восточнее Первомайска; окончание *-ий* род. падежа мн. числа имен существительных *л'ід'ий*, *гро́ший* и т. д. на запад линии Бердичев — Умань — восточнее Первомайска; инфинитив только на *-ти* после гласных основы: *говори́ти*, *пи*ᵉ*са́ти*, *ходи́ти* на запад Бердичева — западнее Белой Церкови — восточнее линии Умань — Первомайск; сокращение окончания после основы на *-а* в 3-м лице ед. числа глаголов I спряжения (*в'ін ду́ма*, *зна́*, *чи*ᵉ*та́* и т. д.) на запад линии Белая Церковь — восточнее Умани (до р. Гнилой Тикач) — Первомайск.

Изучение правобережных среднеподнепровских говоров, особенно их западной части, свидетельствует о значительном наслоении диалектных черт, занесенных в результате дозаселения с территории подольских говоров. Примечательно, что говоры давно основанных населенных пунктов в западной части правобережного среднеподнепровского диалектного массива являются типическими юго-восточными, тогда как говоры позже основанных населенных пунктов имеют некоторые черты юго-западного (подольского) диалектного типа[1].

В результате изучения левобережных среднеподнепровских (полтавских) говоров путем лингвистического картографирования с привлечением данных письменных памятников впервые определено три массива полтавских говоров: 1) севернополтавские, 2) западнополтавские, 3) восточнополтавские[2]. Как свидетельствуют последние данные картографирования в сопоставлении с данными письменных памятников и современ-

[1] А. П. Могила, Говоры западной Черкасщины в составе полтавско-киевского диалекта. Автореф. канд. диссерт., Киев, 1956.

[2] В. С. Ващенко, Полтавские говоры. Автореф. докт. диссерт., Киев, 1956.

ных юго-западных говоров, восточнополтавские говоры (на восток от р. Псел) возникли значительно позже западно- и севернополтавских путем примеси диалектных элементов юго-западного (подольского) происхождения.

Таким образом, лингвистическое картографирование материалов, собранных для диалектологического атласа, помогло вовлечь в сферу исследования наименее изученные говоры украинского языка — юго-восточные, в частности среднеподнепровские (по другой терминологии, полтавско-киевский диалект)[1].

Методы лингвистического картографирования в украинской диалектологии отдельные исследователи успешно применяли еще в 30-х годах. Особенно следует отметить капитальный труд И. А. Панькевича о карпатских говорах и К. Дейны о подольско-волынских говорах[2]. Достижением современной украинской диалектологии следует считать описание значительного количества отдельных говоров и диалектных массивов почти на всей территории украинского языка. Кроме материалов, собранных для диалектологического атласа с целью лингвистического картографирования, многочисленные исследователи привлекают материалы, собранные индивидуальным путем или диалектологическими экспедициями вузов. В научный обиход вводится много новых материалов, наблюдений и выводов. Несмотря на ряд недостатков (не применяются методы экспериментальной фонетики, незначительны сравнительно-исторические параллели, в известной мере неполон фактический материал в ряде исследований и т. д.), проделанная работа имеет важное значение в развитии нашей науки. Она станет основой для более широких обобщений и исследований.

Во многих исследованиях привлекаются данные, почерпнутые из различных памятников. Так, И. Панькевич в ряде своих работ установил, в частности, что звукосочетания *гы, кы, хы — ги, ки, хи* уже в XIV—XV вв. играют роль критерия для определения отдельных массивов на территории юго-западных диалектов[3]. Сопоставление особенностей юго-западных диалектов, отраженных в письменных памятниках XIV—XV в., дает возможность определить своеобразную неравномерность в развитии отдельных диалектных черт украинского языка, а вместе с тем и различия ряда диалектных массивов в эпоху феодализма. Так, отражение в памятниках характерной фонемы украинского вокализма *-и* (происходит из древних *ы—и*) свидетельствует, что в поднестровских (галицких) говорах XIV—XV вв. эта фонема выявлялась только в определенных положениях (после губных, шипящих и *р*). В буковинских говорах фонема *и* отмечается независимо от положения, так же как в современных буковинских и вообще поднестровских, во всех юго-восточных говорах и в современном украинском литературном языке. Интересно, что в части современных северных говоров древний звук *и* (*і*) в определенных положениях еще не превратился в фонему *и* (*сі*^{и}*н'а, ті*^{и}*хо, нбгі*^{и}, *рўкі*^{и}, *хі*^{и}*тра*). В дат. падеже ед. числа имен существительных мужского и среднего рода в северных говорах отмечается только окончание *-у*, в юго-западных говорах — *-ови* (*-еви*), определившееся под воздействием *ъ*-окончаний дат. падежа ед. числа прежних *а*-основ. В буковинских (молдавских) грамо-

[1] См. сб. «Полтавсько-київський діалект — основа української національної мови», Київ, 1954.

[2] І. Панькевич, Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей, ч. I, Прага, 1938; K. Dejna, Podolsko-wołyńskie pogranicze językowe, Tarnopol, 1938.

[3] І. Панькевич, Дві лемківські грамоти з початку XVI століття, «Slavia», ročn. XXIII, seš. 1, 1954, стр. 26.

тах XV—XVI вв., а также в памятниках среднего Поднепровья самого начала XVII в. весьма часто встречается написание окончания *-овъ*, *-евъ*. Очевидно, до XVI—XVII вв. среднеподнепровские говоры и южная часть юго-западных говоров (включая современные буковинские) имели целый ряд общих черт с другими юго-западными говорами. Это обстоятельство имеет весьма важное значение для исследования генезиса юго-восточного (среднеподнепровского) диалектного типа украинского языка.

В последнее время начинается собирание диалектной лексики. В основном определены принципы составления диалектологических словарей украинского языка[1]. Украинские диалекты имеют очень разнообразную лексику; по имеющимся данным, в юго-западных говорах хорошо сохранилась лексика, отражающая древнейший словарный состав восточных славян.

---

[1] См.: Б. О. Ларін, Принципи укладання обласних словників української мови, «Діалектологічний бюлетень», вип. VI, Київ, 1956; Ф. Т. Жилко, Запис говіркової лексики і діалектологічна лексикографія, «Укр. мова в шк.», 1957, № 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

Ю. Ю. СЕНКУС

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТОВСКИХ ДИАЛЕКТОВ

Языковеды обратили серьезное внимание на изучение литовских диалектов начиная с середины XIX в. Исследованием этих диалектов занимались такие лингвисты, как Ф. Фортунатов, В. Поржезинский, К. Бругман, А. Лескин, А. Бецценбергер и др., а также литовские ученые И. Юшка-Юшкевич, А. Баранаускас-Барановский, К. Яунюс, К. Буга и др. В настоящее время ведется систематическая работа в области литовской диалектологии. Диалектологи Литовской ССР работают в двух направлениях: они собирают материал для атласа литовского языка и составляют монографические описания отдельных диалектов. В первую очередь мы дадим краткую информацию о ходе собирания материала для диалектологического атласа.

Сбор материала для атласа литовского языка начался в 1950 г., когда состоялась пробная экспедиция Института литовского языка. По составленному проекту программы был записан материал в пяти населенных пунктах, затем проект был обсужден и одобрен на 1-й диалектологической конференции и напечатан в 1951 г. (2-е издание программы вышло в 1956 г.).

В 1952 г. был составлен список населенных пунктов Литовской ССР, подлежащих обследованию (около 700 пунктов). Расстояние между населенными пунктами на проектной сетке атласа — примерно 12 км. Сбор диалектологического материала для атласа производится, в основном, экспедициями. В течение семи лет во время экспедиций обследовано уже около 300 населенных пунктов. Обследованная территория охватывает почти всю южную часть Литовской ССР до рек Немунас и Нерис и, кроме того, некоторые восточные районы Литовской ССР.

2-я диалектологическая конференция, организованная институтом литовского языка и литературы в 1953 г., была в основном посвящена научно-методическим и организационным вопросам сбора материала для атласа. По этим вопросам сотрудником Института литовского языка и литературы была написана «Инструкция по сбору материала для диалектологического атласа литовского языка» (напечатана в 1954 г.).

К работе по сбору материалов для атласа привлечены некоторые кафедры литовского языка вузов Литовской ССР. В ближайшие годы необходимо улучшить и ускорить сбор материалов. Это можно будет осуществить лишь в том случае, если удастся через посредство республиканского Министерства просвещения привлечь к участию в нашей работе все кафедры литовского языка вузов, как можно больше учителей средних школ и проводить работу в более широком (республиканском) масштабе.

Следует также отметить, что качество собранного материала не всегда является удовлетворительным. Встречаются, например, ошибки в фонетической транскрипции, неточная передача значений отдельных слов и т. д. Мы пытаемся уже сейчас упорядочить и проверить собранный для атласа материал; думается, что ряд недочетов выявится только при непосредственном картографировании материала.

Кроме сбора материала для атласа литовские диалектологи написали монографии об отдельных говорах; печатаются также специальные статьи по диалектологии. Из монографий следует указать диссертации на соискание степени кандидата филологических наук, три из которых защищены: «Говор северо-западных капсов» (Ю. Сенкус, на литовск. яз.) в 1955 г., «Фонетические особенности и их развитие в говорах северо-западных дунининков» (В. Гринавецкис, на литовск. яз.) в 1956 г., «Литовский говор в белорусском окружении» (М. Киндурис) в 1956 г.

Из опубликованных за последнее время статей по диалектологии отметим статью Ю. Сенкуса «Новые материалы по литовской диалектологии» (J. S e n k u s, Nauja medžiaga apie lietuvių kalbos tarmes, «Lietuvos TSR Mokslų akademijos Darbai», 1955, serija A, 1) и статью К. Моркунаса и А. Видугириса «Некоторые черты говоров северо-восточной Литвы» (на литовск. яз., там же, 1957, serija A, 2). В первой статье приведены уточненные и новые данные по лексике, морфологии, фонетике и синтаксису, собранные во время экспедиции 1953 г. в районах распространения западных дзуков и близких к ним среднелитовских диалектов, во второй — описываются наиболее характерные особенности говоров северо-восточной Литвы. Авторы указанных статей на основе материалов, собранных для атласа литовского языка, уточняют границы некоторых говоров, показывают географическое распространение отдельных языковых явлений.

Новейший опубликованный, подготовленный к опубликованию рукописный и картотечный материал убеждает нас, что говоры литовского языка дают много нового, ценного материала для истории литовского языка и народа, а также для нормализации литовского литературного языка и для литературной практики. Особенно следует подчеркнуть значение говоров литовского языка для сравнительного изучения балтийских, славянских и других индоевропейских языков.

Собранный в последние годы материал по литовской диалектологии подтверждает и в некоторой степени уточняет целый ряд общепринятых положений об основных особенностях развития звукового состава и грамматического строя балтийских языков.

В области фонетики основными явлениями, на которые проливают свет новые диалектологические данные, являются развитие общебалтийского *ā* (*Jānas—Jonas* «Иван»), судьба старых звукосочетаний *a*, *e*, *i*, *u*+*n* (*žansis—žonsis—žąsis* «гусь»), сокращение окончаний в северных литовских диалектах, совпадающее с соответствующим явлением в латышском языке, некоторые вопросы акцентуации, а также изменения в системе интонации гласных звуков.

В области морфологии собран новый материал, имеющий значение для сравнительной грамматики балтийских языков, а именно:

1. Исследовано образование и употребление всех четырех балтийских местных падежей (инессива, иллатива, адессива и аллатива), которые в настоящее время сохранились только в некоторых восточнолитовских говорах[1].

2. Собран богатый материал, необходимый для выяснения развития балтийских падежных форм. Некоторые падежные формы обнаружены впервые. Например, зарегистрированная в дебейкяйском говоре форма дат. падежа ед. числа существительных с основой на *-a* (индоевропейская основа на *-o*) типа *vyrai* «мужу» вносит некоторые поправки в существующие взгляды, касающиеся не только литовской формы, но и склонения в индоевропейском языке-основе.

[1] См. А. Л а й г о н а й т е, Местные падежи в современном литовском языке. Автореф. канд. диссерт., Вильнюс, 1956.

3. Собраны многочисленные и разнообразные реликты форм существительных с основой на согласные *-r*, *-n* и др.

4. В восточных говорах обнаружена интересная форма им. падежа мн. числа существительных и прилагательных с основой на *-u* типа *sūnaus* «сыновья» (ср. ст.-слав. *сынове*, др.-инд. *sūnavaḥ*), которая до сих пор была известна только по нескольким весьма сомнительным примерам, извлеченным из материалов А. Баранаускаса. Некоторые исследователи считали эти формы ошибками в рукописи указанного автора.

5. В собранном новом диалектологическом материале имеются до сих пор не известные в балтийских языках формы местоименных прилагательных. Исключительное значение для сравнительной грамматики балтийских языков имеют те формы местоименных прилагательных, которые сохранили еще более прозрачный облик первоначального образования, чем формы литовского литературного языка. Сравнение системы ударения некоторых парадигм указывает на то, что процесс срастания прилагательного с местоимением в одно сложное слово произошел сравнительно поздно и независимо в литовском и латышском языках, т. е. уже после распада балтийского единства [1].

6. Имеется материал по суффиксации в литовском, латышском и прусском языках.

7. Обнаружено и исследовано особое явление в системе повелительного наклонения: в определенных говорах восточной Литвы имеются двоякие формы повелительного наклонения.

8. Собраны многочисленные примеры глаголов, сохранивших балтийский тип атематического спряжения.

В заключение следует еще отметить, что в настоящее время советские литуанисты продолжают работу по исследованию литовских диалектов. Интенсивно собирается материал для диалектологического атласа литовского языка, продолжается работа над монографиями по отдельным диалектам. В нашем распоряжении имеется сейчас обширное количество диалектологических данных, которые способствуют дальнейшему уточнению и детализации истории литовского и других балтийских языков, выяснению путей их развития. Если раньше профессорам К. Буге или Я. Эндзелину нередко приходилось оперировать лишь отдельными фактами, иногда извлеченными из весьма сомнительного источника, то в настоящее время мы имеем в своем распоряжении многочисленные подлинные и хорошо проверенные данные, относительно которых точно известно их географическое распространение.

---

[1] Подробно этот вопрос исследуется в кандидатской диссертации З. Зинкевичуса «Очерки по истории местоименных прилагательных литовского языка» (Вильнюс, 1955, [на литовск. яз.]).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

Н. М. ТЕРЕЩЕНКО

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ САМОДИЙСКИХ ЯЗЫКОВ С ЯЗЫКАМИ ДРУГИХ ГРУПП

Современные самодийские народности расселены на весьма обширной территории — от Кольского полуострова на западе до р. Хатанги на востоке. Северной границей расселения является побережье Северного Ледовитого океана с прилегающими островами (Вайгачом, Колгуевым, Новой Землей, Белым). На юге поселения некоторых групп самодийцев (в основном лесных ненцев и селькупов) вклиниваются в таежную зону (по рекам Пуру и Тазу, по притокам Оби).

Согласно принятой в науке гипотезе, существующие в настоящее время самодийские народности (ненцы, энцы, нганасаны и селькупы) образовались в результате смешения потомков самодийских племен Саянского нагорья с аборигенными племенами Крайнего Севера, заселявшими территорию Обь-Енисейского бассейна[1]. Те из самодийских племен, которые остались на Саянах, подверглись сильнейшему влиянию со стороны тюркских народностей и утратили свой прежний язык; те же, что продвигались на север, постепенно разобщались и смешивались с населением занимаемой ими местности. Этот процесс сложения самодийских народностей может послужить объяснением факта наличия довольно тесных связей между самодийскими языками и языками других народностей, часть из которых не является в настоящее время ни ближайшими, ни отдаленными соседями современных самодийцев.

В литературе довольно широко освещен вопрос о связях самодийских языков с финно-угорскими языками[2]. Впервые соображение о самодийско-финно-угорских языковых связях было высказано Ф. И. Страленбергом[3] и впоследствии приобрело многих последователей. Вполне научное обоснование финно-угро-самодийским языковым связям было дано позднее в трудах М. А. Кастрена, который считал, что самодийские языки являются промежуточным звеном между финскими и тюркскими языками[4]. Он высказывал также мысль о том, что «... ближайшей задачей языкового исследования должно быть установление родства между финнами и тунгусами при посредстве тех же самоедов. От тунгусов прямая дорога ведет к манчжурам и далее к монголам ведут все пути»[5]. В дальнейшем положение М. А. Кастрена о генетических связях между финно-угорскими и самодийскими языками не опровергалось, хотя ряд из приведен-

[1] См. об этом: Г. Н. Прокофьев, Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна (ненцев, нганасанов, энцев, селькупов, кетов, хантов и мансов), сб. «Сов. этнография», III, М.—Л., 1940.

[2] Некоторые ученые не рассматривают даже самодийские языки в качестве самостоятельной языковой группы, а относят их к числу финно-угорских.

[3] См. Ph. J. v. Strahlenberg, Das Nord- und Östliche Teil von Europa und Asia.., Stockholm, 1730 (Tabula polyglotta).

[4] См. M. A. Castrén, Ethnologische Vorlesungen über die altaischen Völker nebst samojedischen Märchen und tatarischen Heldensagen, St. Petersburg, 1857, стр. 94.

[5] M. A. Castrén, Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845—1849, St. Petersburg, 1856, стр. 160—161.

ных им сопоставлений оказался неверным. Особенно упрочилось в науке это положение после выхода в свет работы Э. Н. Сетэле «К вопросу о родстве финно-угорских и самоедских языков»[1].

На значительную близость между самодийскими и финно-угорскими языками указывал и крупнейший советский финно-угровед Д. В. Бубрих[2]. Анализируя некоторые особенности грамматической и фонетической структуры этих языковых групп, Д. В. Бубрих пришел к выводу, что «... самоедская речь обнаруживает преимущественную близость к западным группировкам финноугорских языков, особенно к крайне западным, главным образом — к лопарской»[3]. На фактах структурной близости между самодийскими и мордовскими языками, а также наличия некоторых общих черт (преимущественно в области спряжения) у самодийских и венгерского языков Д. В. Бубрих особо не останавливался.

С нашей точки зрения, следует отметить значительное взаимовлияние ненецкого и хантыйского языков, особенно в юго-восточных районах расселения ненцев за Уральским хребтом.

Исследователями установлен также ряд общих черт между самодийскими языками и юкагирским (одульским) языком[4], который, согласно принятой в языкознании классификации, относится к группе так называемых палеоазиатских языков, хотя и стоит изолированно от других языков этой группы, объединенных лишь по территориальному признаку.

Известное структурно-типологическое сходство можно отметить между самодийскими и некоторыми другими языками народностей Севера, например, языками эскимосско-алеутской группы, в отношении ряда существенных моментов их грамматического строя [агглютинативное построение слова; генетическая общность лично-притяжательных формантов и личных показателей переходного (или объектного) типа спряжения, наблюдающаяся как в самодийских языках, так и в эскимосском и алеутском языках; сходное образование числительных второго и последующего десятков[5] и др.]. Однако сходство это само по себе вовсе не свидетельствует, конечно, об общности происхождения самодийских языков и языков эскимосско-алеутской группы.

В нганасанском имеется ряд общих черт с тунгусскими языками (современными эвенкийским, эвенским). Эти общие черты можно объяснить, если учитывать, что, по мнению исследователей, предки вадеевских нганасанов являлись по своему происхождению тунгусами, которые, переселившись с верховьев рек Хеты и Хатанги дальше на север, были ассимилированы самодийцами[6].

---

[1] См. E. N. Setälä, Zur Frage nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischen und samojedischen Sprachen («Journ. de la Société finno-ougrienne», Bd. XXX, 5), Helsinki, 1915.

[2] См. Д. В. Бубрих, К вопросу об отношениях между самоедскими и финно-угорскими языками, ИАН ОЛЯ, 1948, вып. 6.

[3] Там же, стр. 516.

[4] См.: K. Bouda, Die finnisch-ugrisch-samojedische Schicht des Jukagirischen, «Ungarische Jahrbücher», Bd. XX, Hf. 1—2 Berlin, 1940; B. Collinder, Jukagirisch und Uralisch («Uppsala Universitets Årsskrift», 1940, 8— «Recueil de travaux publié par l'Université d'Uppsala»), Uppsala—Leipzig, 1940; Е. А. Крейнович, Юкагирский язык, печатается в Изд-ве АН СССР.

[5] Такого рода образование числительных, особенно числительных второго десятка, наблюдается в ненецком, энецком, отчасти селькупском языках.

Кроме языков эскимосско-алеутской группы, близкая структура этих числительных характерна и для языков некоторых других палеоазиатских народностей (например, языков чукотско-коряцкой группы), а также встречается по говорам эвенкийского и эвенского языков.

[6] См. об этом: A. v. Middendorf, Sibirische Reise, Bd. IV, Theil 2, Lief. 1 [St. Petersburg.], 1874, стр. 1448; Г. Н. Прокофьев, Нганасанский (тавгийский)

Древними являются сношения самодийских народностей с кетами (енисейскими остяками) и коттами[1], причем связи между селькупами и кетами продолжаются и в настоящее время. Естественно, что тесное общение этих народностей не могло не наложить своего отпечатка на их языки, в первую очередь на лексический состав последних[2].

Учет связей между самодийцами и народностями других языковых групп, как имевших место в прошлом, так и продолжающихся в настоящем, при одновременном учете процессов образования самодийских народностей может помочь при объяснении ряда особенностей лексики и грамматической структуры самодийских языков.

диалект, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. I — Языки и письменность самоедских и финно-угорских народов, М.—Л., 1937, стр. 54.

[1] Котты принадлежат к числу исчезнувших северных народностей.

[2] См. об этом: Г. Н. Прокофьев, Остяко-самоеды Туруханского края, журн. «Этнография», 1928, № 2 (кн. VI); P. Hajdú, Die ältesten Berührungen zwischen den Samojeden und den jenisseischen Völkern, «Acta Orientalia», t. III, fasc. 1—2, Budapest, 1953.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

Е. А. КРЕЙНОВИЧ

ОБ ИЗУЧЕНИИ ЮКАГИРСКОГО ЯЗЫКА[1]

Юкагиры обитают на крайнем северо-востоке Азии в низовьях р. Колымы и в тундре в районе р. Алазеи. Юкагирский язык разделяется на два диалекта — колымский и тундренный. Колымский диалект (и частично — тундренный) изучал еще в конце прошлого столетия В. И. Иохельсон, внесший своими трудами огромный вклад в дело этнографического и лингвистического изучения юкагиров[2]. На основании материалов, собранных В. И. Иохельсоном, Б. Коллиндер установил основные фонетические соответствия между колымским и тундренным диалектами[3]. Тундренный диалект стал предметом обстоятельного изучения после Великой Октябрьской революции. Материалы, вновь собранные по этому диалекту, позволили углубить познания в области морфологии, а также расширить проблематику сравнительно-исторического исследования юкагирского языка. Ниже отмечаются некоторые своеобразные особенности юкагирского языка, выявившиеся в процессе его новейшего исследования.

Одной из сложных проблем истории юкагирского языка является проблема глагольности и предикативности. В юкагирском языке отсутствуют вспомогательные глаголы «быть», «стать», «иметь», которые в русском и в западноевропейских языках участвуют в образовании именных составных сказуемых. Роль вспомогательных глаголов здесь выполняют суффиксы *-ŋo-*, передающий значение «быть», *ŋola-* «стать», *-n'ə-* «иметь», при этом пока нет никаких оснований утверждать, что данные суффиксы по своему происхождению восходят к вспомогательным глаголам. От имен существительных посредством указанных суффиксов образуются новые основы, например: *аманo-*«быть отцом», *аманола-*«стать отцом», *аман'э-*«иметь отца». Эти основы нельзя отождествлять с предикативными формами имен типа *амал'эŋ* (*тэŋ амал'эŋ* «это отец»), лишенными способности спрягаться. Что касается вышеуказанных основ, то они спрягаются и их следует относить к разряду глаголов. Вследствие этого в непереходном глаголе юкагирского языка приходится выделять следующие разряды: собственно непереходный глагол, предметный непереходный глагол, качественный непереходный глагол и количественный непереходный глагол.

---

[1] Вопросы, затронутые в этой заметке, более подробно излагаются в нашей работе «Юкагирский язык», публикуемой Издательством Академии наук СССР.

[2] См.: В. И. Иохельсон, Образцы материалов по изучению юкагирского языка и фольклора, собранных в Якутской экспедиции, «Изв. Имп. Акад. наук», т. IX, № 2, СПб., 1898; его же, Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора, собранные в Колымском округе, ч. I — Образцы народной словесности юкагиров, СПб., 1900; W. Iochelson, Essay on the grammar of the Youkaghir language, «Annals of the New York Academy of sciences», XVI, 2, New York, 1905.

[3] B. Collinder, Jukagirisch und Uralisch («Uppsala Universitets Årsskrift», 1940, 8 — «Recueil de travaux publié par l'Université d'Uppsala»), Uppsala—Leipzig, 1940, стр. 89—93.

Между частями речи в юкагирском языке устанавливаются иные соотношения, чем, например, в русском языке. Так, прилагательные и числительные в русском языке относятся к именам, а в юкагирском они тяготеют к глаголу, что можно видеть из нижеприводимой парадигмы их спряжения:

мэт мэдудуод'эӈ	*мэт мэт'амод'эӈ*	*мэт мōрдод'эӈ*
«я лежу»	«я большой»	«я один»
тэт мэдудуод'эк	*тэт мэт'амод'эк*	*тэт мōрдод'эк*
«ты лежишь»	«ты большой»	«ты один»
тудэл мэдудуон'	*тудэл мэт'амон'*	*тудэл мōрдон'*
«он лежит»	«он большой»	«он один»

В юкагирском языке имеются и именные формы обозначений действий, качеств и количеств, однако они образуются от соответствующих глагольно-предикативных основ посредством суффикса *л*, например: *дудуол* «лежание», *т'амол* «большой», *мōрдол* «один».

Другой своеобразной особенностью юкагирского языка, выявившейся в процессе его новейшего исследования, является система морфологического выражения логического ударения. В именах существительных сущность этой системы выражается в том, что к подлежащему и прямому дополнению, если на них сосредоточивается логическое ударение, присоединяются предикативные показатели *л'эӈ* и *к*. Глагольное сказуемое изменяет при этом свою форму. Примеры: *ил'эӈ* «олень»—*тэн ил'эл'эӈ* «это олень»— *тэн амат'эдил'эк* «это хороший олень»; *ил'эӈ мэкот'эгэј* «олень убежáл»— *ил'эл'эӈ кот'эгэл* «олéнь убежал»— *амат'эдил'эк кот'эгэл* «хорóший олéнь убежал»; *мэт ил'эӈ мэпун'иӈ* «я оленя убúл»— *мэт ил'эл'эӈ пун'мэӈ* «я олéня убил»— *мэт амат'эдил'эк пун'мэӈ* «я хорóшего олéня убил».

В области словоизменения имен существительных примечательно отсутствие винительного падежа. Значение последнего выражается морфологическими средствами других падежей — основного, местного, отложительного и родительного. Показатель творительного падежа, как это установлено при исследовании, развился в юкагирском языке из основы, не имеющей ничего общего со значением орудийности. Выявилось своеобразное развитие функций показателей местного падежа. Местным падежом имени существительного выражаются главным образом значения места и времени. Местным же падежом имени действия передаются значения обстоятельственно-временного деепричастия и условного наклонения. В колымском диалекте эти значения выражаются различными фонетическими вариантами показателя местного падежа, которые используются также для обозначения лица, совершающего действие, выраженное деепричастием или формой наклонения; ср.:

нумогэ (кол. д-т),	*нимэ5а* (тунд. д-т)	«в доме»
мэткэ »	*мэтqа* »	«у меня»
под'эрхо5о »	*т'ајлэ5а* »	«в течение дня»
	т'авул5анэ »	«в море», но:

јуолгэ «в то время как я (как ты) смотрел»
јуодэгэ «в то время как он смотрел»
āлгэнэ «если я сделаю», «если ты сделаешь»
āдэунэ «если он сделает»

јуолукэ «в то время как мы (как вы) смотрели»
јуоӈидэгэ «в то время как они смотрели»
āлукэнэ «если мы сделаем», «если вы сделаете»
āӈидэунэ «если они сделают»

При изучении функции местного падежа имени действия, таким образом, создается впечатление, что этот падеж отделился от системы склонения имен и перешел в область глагола.

Не останавливаясь на других интересных вопросах морфологии юкагирского языка, отметим некоторые данные, полученные путем сравнительно-исторического исследования этого языка. Сравнительно-историческое изучение юкагирского языка позволяет обнаружить элементы, связывающие его с языками народов, живущих или живших значительно южнее юкагиров. Отметим некоторые из этих элементов: юкагирское название лука *эjэ* (кол. д-т) можно сопоставлять в ойротском (алтайском) языке с (*aja*) «лук»; юкагирское вопросительное местоимение *нэмэн* «что» сопоставляется в ойротском языке с местоимением *нэ*, *нэмэ* «что»; юкагирские вопросительные местоимения, образованные при помощи вопросительной основы *qa*, имеют структуру, общую с соответствующими тюркско-монгольскими местоимениями. В качестве примера связей юкагирского языка с монгольскими языками можно указать на близость корней качественных глаголов юкагирского языка с некоторыми именами существительными и именами качеств в монгольском языке:

Юкагирский язык [1]	Монгольский язык
т'амо-н' (тунд.д.-т) / *чомо-н'* (кол. д-т) «большой», «рослый»	*том* «крупный», «рослый»
торо-н'эj «черный»	*торуj*, *тортог* «сажа», «копоть»
пом-нэj «круглый»	*бөмбөг* «мяч», *бөөм* «комок», «куча»
сам-нэj «широкий»	*самбаа* «всеобъемлющий ум» [2]
тӧн-бэj «сильный»	*тэнхээтэj* «сильный»

Примечательна также материальная и функциональная близость показателя *л*, посредством которого в юкагирском языке от глаголов образуются имена, и аналогичного показателя в монгольском языке. Можно было бы предположить, что тюркские и монгольские элементы проникли в юкагирский язык из языка якутского. Однако из якутского языка могут быть объяснены только некоторые, но не все эти элементы.

Убедительным свидетельством того, что юкагиры некогда действительно жили южнее их современной территории, служат юкагирско-коттские языковые связи. Приведем один наиболее интересный пример, подтверждающий наличие этих связей. В юкагирском языке значение «хороший» выражается корнем *ама*, а в коттском языке — *hамâ* [3]. Спрягаются эти корни следующим образом:

Юкагирский язык	Коттский язык
амат'эҥ	*hамâтаҥ* «я хороший»
аматэjэҥ	*hамâд'эjаҥ* «я буду хороший»

Вряд ли можно сомневаться в возможности сопоставления юкагирского суффикса *т'эҥ* с коттским *таҥ*. При присоединении к корню *ама* в юкагирском языке показателя будущего времени *тэ* суффикс *т'эҥ* заменяется суффиксом *jэҥ*. То же самое наблюдается и в коттском языке [4].

[1] В юкагирских словах корень от суффикса отделен нами знаком дефиса.

[2] Ср. также юкагирское сложное слово *самдарал* «доска» (буквально: «широкое дерево») и монг. *самбар* «доска».

[3] См. M. A. Castrén, Versuch einer jenissei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den genannten Sprachen, St. Petersburg, 1858, стр. 141.

[4] А. Кастрен пытался объяснить компонент-*д'эjаҥс* в *hамâд'эjаҥ* «я буду хороший» из коттского глагола *д'ауjаҥ'* «сидеть», «жить» (указ. соч., стр. 140), что вряд ли можно признать правильным.

Коттский язык значительно отличается от языка юкагирского. Однако наличие подобного рода материальных и структурных совпадений между юкагирским и коттским языками свидетельствует о том, что юкагиры и котты некогда жили в теснейшем контакте. В тесном контакте с юкагирами и, по-видимому, с коттами жили некогда и самодийские народности[1]. Интересна общность обозначения качества «хороший» в языках этих народов:

Юкагирский язык	Коттский язык	Ненецкий язык	Селькупский язык
ама (тунд. д-т) *омо* (кол. д-т)	*hамâ*	*сава*	*сома*

Между юкагирским и самодийскими языками отмечаются очень тесные языковые связи. Сопоставим суффиксы пространственных падежей в юкагирском и самодийском языках:

Падежи	Юкагирский язык	Ненецкий язык	Энецкий язык	Нганассанский язык
Местный	*-нэ* *ƃа/qа* *ƃанэ/qанэ*	*-на* *хана/кана/гана*	*-нэ* *хонэ/конэ*	*-ну* *тану*
Отложительный	*-т* *ƃат/qат*	*-д* *хад/кад/гад*	*-до* *ходо/кодо*	*-да* *гада*
Продольный	*ƃан/qан*	*вна/мна*	*онэ/монэ*	*ману*
Дательный	*-н'/-ɲ* *ɲин'/ɲин*	*-н*		*-н*

Это сопоставление позволяет утверждать, что перечисленные суффиксы имели единую историю.

К. Боуда, Б. Коллиндер и И. Ангере считают, что юкагиры имеют древние генетические связи с уральскими народами [2]. Б. Коллиндер полагает, что юкагиры могли представлять собой первую волну уральских народов, которая перешла через Урал и дошла до северо-востока Азии. Между тем юкагирско-коттские языковые связи свидетельствуют о том, что юкагиры продвигались на северо-восток Азии из районов, близких к саяно-алтайскому нагорью. Уральские же элементы в юкагирском языке не являются специфически уральскими, так как они могут быть объяснены и из языков алтайских.

Дальнейшее успешное сравнительно-историческое исследование юкагирского языка зависит от исчерпывающего изучения диалектов этого языка, которое является делом неотложной научной важности.

---

[1] Котты еще в прошлом столетии жили в тесной связи с камасинцами, язык которых относится к самодийским языкам.

[2] См.: K. Bouda, Die finnisch-ugrisch-samojedische Schicht des Jukagirischen, «Ungarische Jahrbücher», Bd. XX, Hf. 1—2, Berlin, 1940; B. Collinder, указ. соч.; J. Angere, Die uralo-jukagirische Frage, Uppsala, 1956.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

В. И. ЛЫТКИН

ИЗУЧЕНИЕ ДИАЛЕКТОВ КОМИ ЯЗЫКА

Многочисленные диалекты коми языка объединяются в три наречия (диалектные группы): коми-зырянское, распространенное в основном в Коми АССР, коми-пермяцкое, на котором говорит население Коми-Пермяцкого округа Молотовской области, и коми-язьвинское (восточно-пермское), которым пользуется население в количестве 5—6 тысяч человек, живущее по среднему течению р. Язьвы, южного притока р. Вишеры (левого притока р. Камы).

До революции диалекты языка коми планомерно не изучались, хотя отдельные ученые (например, М. Кастрен, А. Генец, У. Вихман, Д. Фокош-Фукс и др.) исследовали некоторые говоры. Диалектные явления находили также свое отражение в фольклорных сборниках дореволюционного периода (см., например, труды Г. С. Лыткина, И. А. Куратова, П. Савваитова, Н. Рогова, А. А. Цембера и т. д.), но точной паспортизации не имели и носили случайный характер.

После Великой Октябрьской социалистической революции исследование диалектов коми языка приобрело важное значение, поскольку без знания диалектов нельзя было создать литературный язык. Однако научное изучение говоров коми языка началось фактически с 1928 г., когда при Обществе изучения Коми края была организована специальная Комиссия по собиранию словаря и изучению диалектов коми языка, в состав которой вошли специалисты-языковеды: В. И. Лыткин (председатель), Г. А. Нечаев (секретарь), А. С. Сидоров, П. А. Шахов, С. А. Попов и Е. А. Чеусова.

В 1928—1930 гг. были организованы экспедиции для изучения 10 основных говоров коми языка. В 1930—1932 гг. на базе собранного материала был составлен сравнительный словарь коми диалектов с предисловием, представляющим собой краткий обзор коми диалектов. По не зависящим от составителей причинам словарь не увидел света, а рукопись его была утеряна. Часть собранных материалов, содержащих описание ряда говоров, не известных научному миру: кобринского, зюздинского, кочевского и др., Комиссия опубликовала в 2 выпусках своего «Сборника» [1]; был напечатан также краткий «Вопросник для собирания сведений о коми говорах» [2].

В 1933 г. Комиссия прекратила свою деятельность, и в изучении диалектов коми языка наступило затишье. Планомерное изучение коми диалектов вновь возобновилось лишь в 40-х годах и особенно усилилось в годы после окончания Великой Отечественной войны. Изучение коми-зырянских диалектов сосредоточилось в Коми филиале АН СССР (Сык-

[1] См. «Сб. Комиссии по собиранию словаря и изучению диалектов коми языка», под ред. В. И. Лыткина: вып. 1— Сыктывкар, 1930; вып. II — М., 1931.

[2] «Вопросник для собирания сведений о коми говорах», прил. к «Сб. по собиранию коми словаря», вып. II, сост. В. И. Лыткин и Гр. А. Нечаев, М., 1931.

тывкар), а остальных коми диалектов — в Институте языкознания АН СССР (Москва).

В 1942—1954 гг. для изучения диалектов Коми филиал АН СССР организовал специальные выезды на места, носившие до 1946 г. рекогносцировочный характер. Объектом наблюдения являлась речь старшего поколения. В 1946 г. работники Коми филиала перешли к монографическому изучению говоров. В сборе диалектного материала принимали участие доктор филол. наук А. С. Сидоров, кандидаты наук В. А. Сорвачева, Т. И. Жилина, Н. А. Колегова, М. А. Сахарова и мл. научные сотрудники Н. Н. Сельков и Д. А. Тимушев. В результате диалектологических поездок был собран довольно обширный и разнообразный материал по говорам коми-зырянского наречия. Весь наличный материал был картографирован. Диалектная картотека, в которой числится несколько десятков тысяч карточек, послужила основой для составления большого «Сравнительного словаря коми-зырянских диалектов», который в настоящее время готовится к печати.

В словаре представлены следующие говоры: сыктывкарский (с. Тентюково), верхневычегодский (сс. Керчомья, Дон, Устькулом, Изваиль, Помоздино, Мыелдино, Устьнем, Богородск), нижневычегодский (сс. Гам и Жешарт), среднесысольский (с. Визига), ижемский (сс. Усть-Ухта, Бызовая, Пожня, Одесдин, Ласта, Гам, Колва, Усть-Уса, Мутный материк, Брыкаланск, Мошьюга), вымский (сс. Кони, Онежье, Синдор, Весляна), лузский (сс. Объячево, Поруб, Ловля), летский (с. Слудка), печорский (сс. Медвежская, Троицко-Печорск, Покча, Подчерье) и удорский (сс. Венденга, Лоптюга, Георгиево, Мыкинская, Удор, Глотово, Чернутьево). Одним из достоинств Словаря является то, что в нем каждая словарная статья снабжена условными знаками, указывающими бытование слова в вышеуказанных 42 населенных пунктах Коми-Зырянского края; при этом представлены все фонетические и смысловые варианты слова.

«Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов» представляет не только научный, но и практический интерес. В нем имеется множество слов и их диалектных вариантов, которые не были зафиксированы в прежних словарях коми языка[1]. Кроме того, диалектные данные, представленные в словаре, могут послужить ценным материалом для обогащения литературной речи синонимами и фразеологией, а также могут быть полезными при выработке терминологии.

Кроме подготовки диалектологического словаря, в Коми филиале АН СССР была проведена работа по составлению и опубликованию «Программы по собиранию сведений о диалектах коми языка» (АН СССР, Коми филиал, Сыктывкар, 1952), в основу которой положен ранее изданный краткий «Вопросник». К программе приложена краткая «Инструкция по диалектологическому обследованию населенного пункта». Объем материала, собранного по «Программе» сотрудниками как Коми филиала АН СССР, так и кафедры коми языка при Сыктывкарском пединституте, пока еще очень невелик. Между тем предстоит еще выполнить большую работу по собиранию материала для диалектологического атласа коми языка.

[1] Диалектологические словари коми языка, как известно, издавались и раньше, однако они были весьма ограничены по своему размеру и по охвату диалектов. См., например: Н. А. Ш а х о в, Краткий коми-русский словарь, Усть-Сысольск, 1924; Y. W i c h m a n n, Syrjänischer Wortschatz nebst Hauptzügen der Formenlehre, bearb. und hrsg. von T. E. Uotila, Helsinki, 1942; В. И. Л ы т к и н, Материалы к коми диалектологическому словарю («Приложение», к кн.: В. И. Л ы т к и н, Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам, с обзором диалектов и диалектологическим словарем, ч. 1, М., 1955).

В настоящее время сотрудниками Коми филиала подготовлен к печати сборник диалектных текстов, опубликован ряд статей, представляющих собой описание говоров коми языка [1]; исследованию некоторых из этих говоров был посвящен и ряд кандидатских диссертаций, защищенных как в Коми филиале АН СССР, так и в ЛГУ им. Жданова [2].

Коми диалекты изучаются также сотрудниками Института языкознания АН СССР. В 1949—1952 гг. к коми-язьвинцам были организованы экспедиции в составе проф. В. И. Лыткина и ст. научн. сотр. Чкаловского областного музея С. А. Попова. В результате был тщательно изучен говор всех 54 деревень коми-язьвинцев, и в настоящее время В. И. Лыткин заканчивает монографию об этом наречии. В 1951 и 1953 гг. В. И. Лыткин и С. А. Попов были заняты исследованием коми-пермяцких говоров.

В результате многолетних исследований диалектов коми языка в изданиях Института языкознания появился ряд работ по диалектологии коми языка, например: В. И. Лыткин, Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам с обзором коми диалектов и с диалектологическим словарем (ч. 1, М., 1955); его же, К вопросу о вокализме пермских языков, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР], т. I, М., 1952; его же, Об ударении в коми-пермяцком языке (там же).

Коми-зырянские и коми-язьвинские диалекты относительно хорошо изучены. Коми-пермяцкие диалекты еще ждут своего исследователя [3].

---

[1] См.: В. А. Сорвачева, Некоторые фонетические и морфологические особенности верхневашского говора удорского диалекта, «Лингвистический сборник Коми филиала АН СССР», вып. 2, Сыктывкар, 1952; Т. И. Фролова, Именные категории верхневымских говоров северного диалекта коми языка, там же; А. С. Сидоров, Некоторые особенности синтаксического строя северного (ижемского) диалекта коми языка, там же; Т. И. Жилина, О говоре села Слудка, «Историко-филологический сборник Коми филиала АН СССР», вып. 3, Сыктывкар, 1956.

[2] См.: В. Сорвачева, Морфологические особенности верхневашского говора. Канд. диссерт., Сыктывкар, 1950; Т. И. Фролова, Именные категории верхневымских говоров северного диалекта коми языка. Канд. диссерт., Сыктывкар, 1950; А. С. Гантман-Кривощекова, Словарный состав и словоизменение иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка. Канд. диссерт., Л., 1951.

[3] Следует отметить также достижения зарубежных лингвистов в области изучения коми диалектов. Ученые Финляндии и Венгрии выпустили целый ряд сборников фольклорного материала, который записан со слов представителей разных диалектов посредством финно-угорской транскрипции, прекрасно передающей диалектные особенности коми языка. Из сборников коми текстов, изданных зарубежными учеными, мы укажем следующие: D. R. Fokos-Fuchs, Volksdichtung der Komi (Syrjänen), Budapest, 1951; Yrjö Wichmann, Syrjänische Volksdichtung, Helsinki, 1916; T. E. Uotila, Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis, Helsinki, 1938. Отметим также, что в настоящее время известный венгерский ученый доктор Д. Фокош-Фукс заканчивает большой академический словарь коми языка, куда входят все слова — как представленные в существующих словарях коми языка, так и собранные им самим в продолжение 45-ти летнего изучения коми языка. Будем надеяться, что этот ценный труд венгерского ученого скоро увидит свет.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ И МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД

ОБ ОДНОМ ОПЫТЕ СОДРУЖЕСТВА ФОНЕТИКОВ С ИНЖЕНЕРАМИ СВЯЗИ

С самого начала развития современной фонетики, которое относится к семидесятым годам XIX в., подчеркивалась ее связь с акустикой и физиологией. При этом до совсем недавнего времени подразумевалось, что фонетика должна строиться на основании данных этих наук, акустика же и физиология, напротив, не должны учитывать фонетическую (т. е. лингвистическую) трактовку звуков речи.

Принципиальное пренебрежение фонетикой привело к тому, что акустики не понимали (а некоторые из них и до сих пор не понимают) даже разницы между такими элементарными понятиями, как звук и буква. Дело не в том, что они, как правило, употребляли и употребляют термин «буква» вместо термина «звук», а в том, что они обычно смешивали и самые понятия, обозначаемые этими терминами. Даже в сравнительно недавно опубликованной работе проф. Л. Л. Мясникова речь идет о русских гласных «звуках» *я*, *ю* [1] и т. п.

Говоря о том или ином звуке речи, акустики по существу подразумевали весьма разнообразные явления, символизируемые соответствующей латинской буквой. Так, исходя из латинского алфавита, они оперировали пятью гласными, которые рассматривали как нечто постоянное, независимо от принадлежности их тому или другому языку. В общем можно сказать, что акустики не видели в звуках речи ничего п р и н ц и п и а л ь н о отличного от всех других звуков в природе, и они считали своей единственной задачей — подвести эти звуки под общие физические категории. Аналогичное понимание сущности звуков речи было свойственно и «дофонематической» фонетике [2].

Учение о фонеме и ее оттенках или вариантах, подчеркивающее лингвистическую природу звуковой единицы языка, казалось бы, должно было сделать очевидным, что эта единица, фонема,— понятие не акустическое и что акустика поэтому собственными средствами не может определить самый предмет исследования. Между тем, как известно, структуралистская фонология провозгласила полную независимость физического изучения звуков речи от языкознания. Трубецкой, как мы знаем, считал, что не только акустика, но и фонетика в отличие от фонологии должна изучать звуки речи, совершенно отвлекаясь от их лингвистической значимости, т. е. от фонематического аспекта. Он, очевидно, не отдавал себе отчета в том, что без фонематической точки зрения невозможно установить, что́ именно подлежит изучению в каждом данном языке.

Поворот в понимании взаимоотношений между акустикой и фонетикой произошел в двадцатых-тридцатых годах. Причиной его было бурное развитие радиовещания и совершенствование телефонной связи, вызвавшие к жизни новую отрасль акустики — электроакустику. Практика показала, что существовавшие в то время в акустике данные о звуках речи недостаточны и неточны. И не теоретики-акустики, а инженеры связи впервые обращаются к более тщательному изучению особенностей речи и ее элементов. При этом они, натолкнувшись на ряд трудностей, связанных с невозможностью изучения речи с чисто акустической точки зрения, с невозможностью дать акустическое определение самому понятию звука речи, становятся инициаторами сотрудничества техников с лингвистами.

---

[1] См. Л. Л. М я с н и к о в, Объективное распознавание звуков речи, «Журнал технической физики», т. XIII, вып 3, М.—Л., 1943, стр. 109 и сл.

[2] Некоторые фонетики-неязыковеды и в наши дни занимаются изучением абстрактных гласных (см., например, O. v o n E s s e n, Neue Vokalanalysen, «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», Bd. 9, Hf. 2, Berlin, 1956, стр. 184).

В 1928 г. по инициативе работников одной ленинградской радиостанции Лабораторией экспериментальной фонетики Ленинградского университета был проведен ряд опытов для выяснения искажений, происходящих при радиопередаче. В этой работе, руководимой акад. Л. В. Щербой, участвовали С. И. Бернштейн, С. Вышеславцева и В. К. Орфинская [1].

Уже это первое в Советском Союзе сотрудничество инженеров связи и фонетиков показало важность изучения вопросов восприятия речи, которыми лингвисты пренебрегали и по существу пренебрегают до настоящего времени. А вместе с тем эти вопросы не могут быть решены психологами или физиологами без участия лингвистов, так как восприятие речи определяется в первую очередь строем соответствующего языка.

Упомянутая первая совместная работа техников и лингвистов непосредственного продолжения не имела. Лишь в конце тридцатых годов Акустическая лаборатория телефонного завода «Красная заря» обратилась к акад. Л. В. Щербе за помощью в составлении испытательных (или, как их принято называть в телефонии, «артикуляционных») таблиц. Дело в том, что для испытания телефонной аппаратуры и телефонных трактов в целом до того времени пользовались слоговыми таблицами, составленными Международным консультативным комитетом по телефонной связи (МККФ) на материале эсперанто. По убеждению авторов этих таблиц, акустиков-телефонистов, они лишены специфических черт отдельных национальных языков. Считалось, что такие таблицы имеют международный характер и дают якобы единую меру для проверки качества телефонных трактов в любой стране. Такие наивные представления возникли, разумеется, в результате смешения звуков и букв: казалось, что достаточно пользоваться едиными буквенными символами, чтобы получить тождественный звуковой материал.

Недостаток таблиц МККФ заключается в том, что они, не обладая в лингвистическом отношении никакой интернациональностью, не содержат многих важных элементов фонетической системы отдельных национальных языков. Так, в них нет палатализованных согласных перед гласными заднего ряда и в конце слогов, некоторых специфических сочетаний согласных и других явлений, столь характерных для русского языка. Поэтому возникла настоятельная необходимость заменить таблицы МККФ таблицами, построенными на материале русского языка.

В 1940 г. Л. С. Лапунова и В. К. Орфинская и составили под руководством Л. В. Щербы первые русские слоговые артикуляционные таблицы [2]. Авторы стремились к тому, чтобы их таблицы наиболее полно отражали фонетическую структуру русского языка; поэтому в таблицах представлены как ударные, так и неударные слоги (для последнего случая в таблицах содержатся только первые предударные и первые заударные слоги). Так как неударные слоги не могут быть произнесены изолированно, то к ним присоединялся постоянный слог *ка́*, заранее известный участникам испытаний; неударные *фа* и *ту*, например, давались в таблицах в виде *тука́*, *ка́пу*, *ка́фа*, *фака́*. Помещенные в таблицах слоги были заимствованы из текстов, которые были проанализированы авторами специально для этой цели. Указанные таблицы, составленные по заказу телефонистов, но без их участия, оказались очень сложными и мало пригодными для практического использования. Их исправлению и приближению к нуждам артикуляционных испытаний помешала война.

После войны работы, связанные с вопросом разборчивости речи, приняли особенно широкий размах. К одной такой работе, выполнявшейся в течение 1949—1950 гг. большим коллективом сотрудников Военной краснознаменной академии связи им. С. М. Буденного и Научно-исследовательского института Министерства производства средств связи, была привлечена и Лаборатория экспериментальной фонетики. На этот раз можно говорить о подлинном содружестве фонетиков и телефонистов, так как характер испытательных таблиц и принципы их построения были определены в результате совместного обсуждения и постановки соответствующих экспериментов. Благодаря этому удалось составить такие слоговые артикуляционные таблицы, которые, с одной стороны, удовлетворяли требованиям практики артикуляционных испытаний, а с другой, в достаточной степени отражали фонетические особенности русского языка [3]. Кроме слоговых, являющихся основным видом таблиц, используемых

---

[1] См. Л. В. Щ е р б а и В. К. О р ф и н с к а я, Особенности восприятия речи при радиопередаче, сб. «Методы исследования и воспитания слуха и ритма у глухих и тугоухих детей», под ред. Д. В. Фельдберга, М., 1936, стр. 120. Ср. в этом же сборнике статью Л. В. Щербы «О взаимоотношениях дисциплин, изучающих звуки речи».

[2] Ввиду того, что эти таблицы не были опубликованы, небезынтересно познакомить читателей с их особенностями.

[3] См. Л. Р. З и н д е р, Русские артикуляционные таблицы, «Труды Военной краснознаменной академии связи им. С. М. Буденного», сб. 29—30, Л., 1951, стр. 31.

при артикуляционных испытаниях телефонных трактов, были составлены также словесные и фразовые таблицы [1].

Для определения состава таблиц, а также и для решения некоторых других вопросов потребовались сведения о статистической структуре русского языка: о том, насколько часто встречаются отдельные фонемы, разные сочетания согласных (в телефонии такие сочетания называются «консонансами»), различные типы слогов; о том, какие типы слов в отношении количества слогов и места ударения встречаются в русском языке; о частоте встречаемости фраз, состоящих из двух, трех и бо́льшего количества слов, и т. п. Оказалось, что лингвисты не имеют готового ответа ни на один из этих вопросов. Кажущееся исключение составляет частота встречаемости отдельных фонем. Однако имеющиеся по этому вопросу данные (Пешковского, Петерсона и др.) получены на недостаточном по объему материале и потому не вполне достоверны; кроме того, в качестве источника, как правило, использовались произведения писателей XIX в., что не отвечает запросам телефонии, которую интересует, разумеется, речь наших дней. Что же касается статистических данных авторов-нелингвистов (Ю. С. Быкова, Л. Л. Мясникова), то они не могут быть приняты в расчет, так как основаны на смешении букв со звуками.

Необходимость участия языковедов в подобного рода работах едва ли может быть оспорена. Такая необходимость очевидна в случаях, требующих точной фонетической транскрипции (например, для выяснения частоты встречаемости фонем). Ее можно проиллюстрировать и на следующем примере. Для определения зависимости между артикуляцией слогов, слов и фраз [2] необходимо учитывать так называемые «фонетические постоянные» данного языка. Одной из таких постоянных является относительное число слов из двух, трех, четырех и т. д. звуков среди всех возможных в данном языке комбинаций из соответствующего числа звуков. Оказывается, что механические вычисления, не учитывающие специфических фонетических закономерностей, присущих данному языку, могут дать ошибочные результаты. Если взять, например, сочетание из четырех звуков типа ГСГС (гласный + согласный + гласный + согласный), то по методу, применяемому американскими и другими зарубежными авторами-телефонистами, возможное число таких сочетаний равно произведению числа гласных, помноженного на число согласных, встречающихся в середине слова, на число гласных и на число согласных в конце слов. Для русского языка мы получим соответственно $5 \times 35 \times 5 \times 23 = 20135$ сочетаний.

Такой метод вычисления с фонетической точки зрения неправилен, потому что сочетания типа ГСГС обязательно двухслоговые, а следовательно, необходимо учитывать, из какого типа слогов они могут складываться в данном языке. Так, в русском языке слова, представляющие собой сочетание ГСГС, всегда складываются из слогов Г + СГС (например: *этот*, *урок*, *опыт* и т. п.), и если учесть, что слогов типа Г в русском языке 5, а слогов типа СГС — 3329, то число действительно возможных сочетаний ГСГС в русском языке оказывается равным $5 \times 3329 = 16645$, а не 20135. Таким образом, участие языковедов в работах, связанных с лингвистической статистикой, позволяет избежать возможных ошибок, иногда совершенно обесценивающих результаты этих работ.

Было бы неправильно думать, что «выгоду» от содружества языковедов и техников имеют только последние. Благодаря такому содружеству можно выяснить многие особенности структуры языка, оставшиеся и остающиеся еще совершенно неизвестными языковедам. В частности, в работе, о которой здесь идет речь, была определена частота встречаемости в речи отдельных фонем русского языка в разных частях слога [3]; было выяснено, какие сочетания согласных чаще всего встречаются в начале слов и в конце слов; было вычислено, что число ударных слогов составляет в русской речи 34,5%, а неударных — 65,5% [4]; было определено, что в русской речи чаще всего встречаются слова, состоящие из 5, 6 и 7 фонем, причем доля первых составляет 14,3%, доля вторых — 13,6%, доля третьих — 13,7% и т. д.

Интересны также данные относительно числа возможных сочетаний из определенного числа звуков, о чем уже говорилось выше. Так, слов, состоящих из 8 звуков, доля ко-

[1] См. там же.

[2] Конечная задача артикуляционных испытаний заключается в том, чтобы определить разборчивость речи при передаче через тот или иной телефонный тракт. Поэтому нужно иметь возможность, зная слоговую артикуляцию (т. е. процент правильно воспринятых слогов), вычислить артикуляцию слов или фраз (т. е. процент правильно воспринятых слов или фраз).

[3] См. Е. Ю. Гурбанов и Л. Р. Зиндер, Принципы построения испытательных таблиц русской речи, «Труды Военной краснознаменной академии связи им. С. М. Буденного», сб. 40, 1954, стр. 75.

[4] Эти данные получены на текстах общим объемом в 32 311 слогов. Правильность их подтвердилась произведенным в 1956 г. анализом текстов объемом в 35 300 слогов, который дал следующее соотношение ударных и неударных слогов: 35% : 65%.

торых в русской речи составляет 10,1%, могло бы в русском языке быть, учитывая возможные сочетания слогов, 6 158 889 000. Не лишены интереса для языковедов и все другие результаты работ по составлению таблиц.

Содружество Лаборатории экспериментальной фонетики ЛГУ с инженерами связи на этот раз после составления испытательных таблиц не закончилось; напротив, оно развивалось дальше и продолжается до настоящего времени. С 1951 г. работа была сосредоточена на вопросе о физической характеристике звуков русского языка. На первых порах изучались формантный состав ударных гласных, а также длительность звуков — как в изолированных словах, так и в связной речи. На долю фонетиков выпала работа по подготовке подлежащего исследованию речевого материала и по измерению длительности звуков [1]. Последнее представляло значительные трудности для инженеров связи, так как границы между звуками на осциллограммах не всегда ясны, а фонетикам легче было их установить.

В отношении длительности интересно отметить следующие результаты. Если сравнить длительность гласных при произнесении отдельных слов и при произнесении фраз, то оказывается, что ударные гласные в фразе всегда более кратки, чем в отдельных словах, и притом иногда весьма значительно (до 30%); безударные же гласные сокращаются в фразе не всегда, а если сокращаются, то незначительно (безударное *е* бывает даже более долгим в фразе, чем в отдельном слове). Кроме того, в отдельных словах начальные и конечные гласные характеризуются бо́льшей длительностью, чем в середине слов. В фразах же такого закономерного различия между длительностью гласных в этих фонетических положениях не наблюдалось.

При определении длительности глухих смычных согласных между гласными отдельно измерялись выдержка и момент от взрыва согласного до начала гласного. Интересно отметить, что длительность этого момента при произнесении всех смычных согласных, кроме палатализованного [t'], равна в среднем от 2 до 3 сигм [2]; при произнесении же [t'] она достигает в среднем 10 сигм. При этом она превышает на 1 сигму среднюю длительность щелевого элемента аффрикаты [č] и только на 4 сигмы меньше средней длительности щелевого элемента аффрикаты [c]. Таким образом, мы получаем лишнее доказательство того, что палатализованное [t'] в русском языке имеет характер мягкой аффрикаты.

Огромный интерес для фонетиков и для лингвистов вообще представляют данные, полученные в ходе работ Л. А. Варшавским и И. М. Литваком [3]. Прежде всего это относится к вопросу о формантном составе гласных. Спектральный анализ русских гласных показал, что спектр каждого из них содержит до 5—6 частотных областей, имеющих относительно повышенную интенсивность. При этом ни число таких областей, ни их расположение не являются постоянными и одинаковыми для разных дикторов. Специальными опытами было обнаружено, что отсутствие некоторых из указанных частотных областей не оказывает существенного влияния на опознавание соответствующих гласных. Отсюда был сделан вывод, что, вопреки мнению некоторых зарубежных авторов, не все усиленные области являются формантами гласных. Для того же, чтобы определить подлинные форманты, были предприняты опыты по синтезированию звуков речи, в первую очередь — гласных.

Интересно отметить, что еще в XVIII в. было ясно, что именно синтез звуков может помочь лучше всего понять их физические свойства. В 1780 г. Санктпетербургская Академия наук предложила для решения следующую задачу: «I. Какое свойство и характер столь различных между собою в рассуждении выговора гласных букв *a, e, i, o, u*. II. Не можно ли сделать орудия, органическим трубам, известным под именем человеческого голоса, подобные, кои бы произносили гласные буквы *a, e, i, o, u*» [4]. Эта задача была блестяще для своего времени решена академиком Х. Краценштейном, который создал теорию гласных, в принципе предвосхитившую теорию Гельмгольца, и изобрел приборы, «произносившие» гласные звуки.

Опознавание синтезированных Л. А. Варшавским и И. М. Литваком русских звуков проверялось в Лаборатории экспериментальной фонетики на 100 слушателях. Оказалось, что гласные [a, u, o] легко опознаются, будучи одноформантными, гласные же [e, i, ы] должны быть для хорошего опознавания двухформантными [5].

Второе важное с фонетической точки зрения наблюдение, которое было сделано при синтезировании звуков, относится к согласным. По существующим в фонетике

[1] См. Л. А. Варшавский и И. М. Литвак, Исследование формантного состава и некоторых других физических характеристик звуков русской речи, «Проблемы физиологической акустики», т. III, М.—Л., 1955, стр. 5.

[2] Сигмой в фонетике называется одна сотая часть секунды.

[3] См. указанную выше статью.

[4] См. «Академические известия [С. Петерб. Имп. Акад. наук] на 1780 г.», ч. VI, стр. 188.

[5] Подробные данные см. в указанной статье Л. А. Варшавского и И. М. Литвака.

представлениям, звонкие согласные отличаются от соответствующих им по способу и по действующему органу глухих согласных не составом шума, а наличием основного голосового тона. Вместе с тем оказалось, что если к четко опознаваемым синтезированным щелевым [s, š, f] добавить основную частоту в 150 или в 250 гц, которые соответствуют основному тону мужского или женского голоса, то не удается получить удовлетворительные [z, ź, v]. Для получения [z, ź] требуются более существенные изменения спектра; получить же [v] вообще до сих пор не удалось. Все это говорит о том, что тон голоса при произнесении звонких согласных не просто накладывается на шум согласного, а модулирует его.

Третье исключительно важное для русского языкознания наблюдение, сделанное при синтезировании слов, касается природы русского словесного ударения. Уже давно имелись экспериментально-фонетические данные, свидетельствующие о том, что интенсивность, в отличие от длительности, не является существенным признаком ударенного гласного в русском языке. Наиболее полные данные по этому вопросу содержатся в диссертации Л. В. Златоустовой, которая приходит к выводу, что «интенсивность не выделяет ударные звуки» [1].

При синтезировании слов оказалось следующее. Когда были соединены в последовательное сочетание синтезированные [u], [x] и [a], то при бо́льшей длительности первого гласного воспринималось слово *ухо*, а при бо́льшей длительности второго гласного — слово *уха́*. Звучали эти слова несколько неестественно, так как гласные в них характеризовались постоянными признаками, свойственными изолированно произносимым оттенкам соответствующих фонем, но узнавание слов не вызывало никаких затруднений. Любопытнее всего то, что на восприятие не оказывало никакого влияния, были ли оба гласных одинаково интенсивными, или какому-либо из них придавалась бо́льшая интенсивность. Это заставляет думать, что, вопреки господствующему мнению, русское ударение является в первую очередь квантитативным, а не динамическим.

Сказанное подтверждается еще одним интересным наблюдением, сделанным в ходе экспериментальных работ, не имевших в виду изучения природы русского ударения. Магнитофонная запись чтения одного довольно длинного отрывка из какого-то газетного очерка была обработана электроакустически таким образом, что была выравнена интенсивность всех звуков. При прослушивании записи обработанного таким образом чтения оказалось, что звучание приобрело очень неприятный неестественный тембр, но разборчивость речи была полностью сохранена и, что особенно в данном случае интересно, не наблюдалось никакого нарушения в соотношении ударных и неударных элементов.

В последнее время характер работ, выполняемых Лабораторией эксперементальной фонетики в порядке содружества с НИИ МРТП, определяется анализом речи при помощи специального прибора, сконструированного в данном институте [2]. Этот прибор, названный авторами «сепаратором», позволяет прослушивать и подвергать объективному анализу любую часть записанного на магнитофоне слова вплоть до части звука длительностью в 3—4 сигмы. Значение сепаратора не только для акустических, но и для фонетических исследований трудно переоценить, так как он дает возможность изучать особенности всевозможных оттенков фонем, в частности получить, наконец, объективные данные о характере безударных гласных в русском языке и о так называемых «переходных» звуках.

Л. В. Щерба еще в «Русских гласных» показал, насколько неоднороден гласный даже в таком «простом» фонетическом положении, как в слове *ад*. Однако те примитивные средства исследования, которыми он тогда располагал, не позволяли дать точной характеристики отдельных частей гласного. Позднее Джемелли и Пастори сделали аналогичные наблюдения на материале осциллограмм гласных итальянского языка [3], но осциллографические записи звуков, гораздо более совершенные, чем механические записи Л. В. Щербы, требуют огромных затрат труда для их исследования и потому практически мало могут быть использованы.

Наличие сепаратора и специального частотного анализатора позволили поставить исследование временных изменений разных оттенков русских гласных фонем, которое ведется совместными усилиями сотрудников Лаборатории экспериментальной фонетики и НИИ МРТП.

На последнем этапе работы для всех ее участников, в том числе и для техников, стало совершенно очевидным, что в языке никакой другой звуковой единицы, кроме

---

[1] Л. В. Златоустова, Фонетическая природа русского словесного ударения (на основе экспериментальных данных). Автореф. канд. диссерт., Л. 1953, стр. 13.

[2] См. Л. А. Варшавский и И. М. Литвак, Исследование некоторых физических характеристик и формантного состава звуков русской речи, «Научно-технический сборник [Гос. союзн. научно-исслед. ин-та Мин-ва радиотехн. пром-ти СССР]», вып. 1—2 (3—4), Л., 1955, стр. 1.

[3] A. Gemelli et G. Pastori, Analyse électrique du langage, «Archives néerlandaises de phonétique expérimentale», t. X, La Haye, 1934, стр. 1.

фонемы (разумеется, каждый раз в виде какого-нибудь из ее оттенков), не существует и что только эта единица может быть предметом и акустического исследования. Об этом красноречивее всего говорят факты, свидетельствующие об особых свойствах «фонетического» слуха, о специфических особенностях восприятия звуков речи [1]. В качестве иллюстрации можно привести, например, следующий случай. Магнитофонная запись изолированно произнесенного русского гласного [о] звучала безупречно и не вызывала у слушающих никаких недоумений. Когда же магнитофонная пленка была пущена в обратном направлении, все услышали отчетливый дифтонг, начинающийся с очень открытого [ɔ] и заканчивающийся [u]. Совершенно очевидно, что оба элемента присутствовали и при нормальном воспроизведении записи; однако в этом случае дифтонгоидный характер гласного не воспринимался, хотя он обязательно присутствует в русской фонеме [о], особенно в женском произношении (именно это произношение и было записано в разбираемом эксперименте) [2]. Таким образом, ухо, воспитанное русским языком, в котором гласный [о] является простой неделимой фонемой, и воспринимает его как акустически простую единицу. Когда участвовавшие в указанном опыте фонетики обратили на это внимание остальных слушающих, то и они стали улавливать дифтонгоидный характер гласного, а выделенный при помощи сепаратора начальный элемент его воспринимался без колебаний как [u]; аналогичный результат, разумеется, дал и спектральный анализ.

Недавно возникшая теория информации (или общая теория связи), получающая в последнее время все более широкое развитие, рассматривает звуки языка с точки зрения, близкой к фонологической. Учение о фонеме получило, таким образом, признание и за пределами языкознания. Однако отсюда еще нельзя делать вывод о том, что теория информации подтвердила правильность принципов структурализма. Выводы, которые мы находим, например, в работе Черри, Халле и Якобсона [3], основаны на совершенно произвольно выбранных признаках русских фонем и поэтому не имеют никакой доказательной силы. Если взять другие признаки, более существенные с фонетической точки зрения, то можно получить еще более близкое соответствие с расчетами, основанными на теории информации.

Что касается тезиса о независимости фонологического изучения звуков речи от фонетического, то он полностью опровергается практикой самих структуралистов. Их работы, связанные с теорией информации, базируются на детальных экспериментально-фонетических и акустических исследованиях.

Возможность измерять количество информации, в том числе и так называемой «избыточной», имеет очень большое значение при теоретических расчетах, связанных с конструированием и совершенствованием линий связи. Для таких расчетов необходимо располагать целым рядом сведений, которые могут быть объединены в понятии «лингвистической вероятности». Под последней понимают вероятность появления в речи того или иного языкового факта — вероятность, определяемую фонетическим и грамматическим строем данного языка, а также его статистической структурой. Само собой разумеется, что исследование лингвистической вероятности может быть выполнено только языковедами. Лаборатория экспериментальной фонетики провела уже некоторые работы в этой области [4]; однако объем необходимых исследований очень велик, и они не под силу одному небольшому коллективу. Вместе с тем наши языковеды очень неохотно берутся за такие работы, так как они кажутся им не относящимися непосредственно к лингвистике. Описанный здесь опыт содружества фонетиков с инженерами связи, думается, должен разубедить их в этом. Кроме того, нужно сказать, что хотя основные социальные задачи языковедения, как и других гуманитарных наук, лежат в области культуры и просвещения, советские лингвисты не могут и не должны считать себя свободными от участия в выполнении народно-хозяйственных задач.

Л. Р. Зиндер

---

[1] См. Л. Р. Зиндер, Специфические особенности восприятия звуков речи, сб. «Восприятие звуковых сигналов в различных акустических условиях», М., 1956, стр. 69.

[2] На особенности женского произношения этого гласного указывал еще Н. Трубецкой (см. N. S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 7, 1939, стр. 21).

[3] E. C. Cherry, M. Halle, R. Jakobson, Toward the logical description of languages in their phonemic aspect, «Language», vol. 29, № 1, 1953, стр. 34.

[4] Этому, а также и подробному анализу понятия «лингвистическая вероятность» будет посвящена специальная статья.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1957

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД И ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА

Основным звеном машинного перевода является иероглифическое преобразование. Под иероглифическим преобразованием понимается выполняемое по заранее заданному алгоритму преобразование цифрового кода сообщения на одном языке в цифровой код того же сообщения на другом языке. Общая схема машинного перевода в принципе состоит из трех фаз: анализа, преобразования и синтеза. Анализ представляет собой кодирование сообщения, данного на входном языке (англ. «input language»), преобразование состоит в замене одного кода другим, синтез представляет собой раскодирование преобразованного сообщения в текст на выходном языке (англ. «output language»).

Практически в осуществленных до настоящего времени алгоритмах бинарного (т. е. с одного языка на один язык) перевода анализ и преобразование объединены. В этом случае, например, предложение на языке хиндустани *видъяртхӣ пустак пaрхтā хэй* получит следующую обработку при переводе на русский язык: *видъяртхӣ — студент*, *пустак — книга* (при отсутствии послелога переводится либо именительным, либо винительным падежом), *пaрх- — читать* (управляет винительным или дательным падежом), *-тā* — суффикс причастия наст. времени муж. рода ед. числа (переводится на русский язык причастием настоящего времени, если нет вспомогательного глагола *хōнā*; переводится настоящим временем знаменательного глагола, если есть форма вспомогательного), *хэй — есть* (3-е лицо ед. числа наст. времени вспомогательного глагола *быть*; не переводится после причастий настоящего времени). Составление русского предложения *студент читает книгу* согласно полученным данным осуществляется уже путем синтеза. Это же предложение при переводе на английский язык в слитном алгоритме обрабатывается иначе: *видъяртхӣ — student* (перед *student* надо добавить артикль *a*, если ранее это слово не упоминалось, артикль *the*, если слово ранее упоминалось), *пустак — book* (добавить артикль *a* или *the* на тех же условиях), *пaрх—read-*, *-тā—-ing*, *хэй — is*. Здесь ввиду отсутствия в английском языке падежных форм и параллелизма глагольного образования не нужны дополнительные указания, необходимые в предыдущем случае, но требуются иного рода дополнительные сведения, касающиеся введения артиклей. Для перевода на немецкий язык бинарная аналитико-преобразовательная часть примет третий вид, на французский — четвертый и т. д. Возможен, однако, и другой путь: закодировать в анализе хиндустани присущие ему грамматические категории для каждого слова, не равняясь ни на какой выходной язык, а затем включить эту одинаковую для всех случаев развертку в различные алгоритмы иероглифических преобразований. О третьем пути мы будем говорить далее.

При кодировании входного текста получаются цифровые знаки понятий, содержащихся в лексических единицах (семантические иероглифы), цифровые знаки грамматических морфем и знаки служебных слов (формальные иероглифы), цифровые знаки порядка слов и фонемно не выраженных синтагматических отношений между словами (тектонические иероглифы). При раскодировании соответствующие иероглифы определяют выбор слов для выходного текста, их грамматическое оформление и способы их сочетания.

И анализ, и синтез для каждого языка являются постоянными величинами, определяемыми исключительно нормами данного языка и принципами кодирования. В отличие от них иероглифическое преобразование — переменная величина, являющаяся функцией как от входной, так и от выходной иероглифики. Именно за счет переменности преобразования слитные алгоритмы перевода приведенного выше предложения с хиндустани на русский и с хиндустани на английский оказались столь различными. Что касается входной иероглифики, то она в обоих случаях была одною и той же.

В принципе возможны три типа несовпадения входной и выходной иероглифики: 1) при переводе необходимо убрать избыточный иероглиф (*die Sprache — язык*: избыточным является код артикля); 2) при переводе необходимо ввести дополнительный иероглиф (японск. *ани-но хон — книга брата*: дополнительными являются коды грамматических родов, отсутствующих в японском языке); 3) при переводе необходимо изменить тип иероглифа (*to catch cold — простудиться*: код одного из слов заменяется кодом глагольного вида, т. е. семантический иероглиф — формальным). Разумеет-

ся, эти несовпадения редко выступают в чистом, т. е. изолированном виде; чаще всего они комбинируются, что, собственно, и является основной причиной большой сложности алгоритмов перевода.

Условимся **неконгруэнтностью** называть любого рода несовпадение или неполное совпадение между входным и выходным комплексом иероглифов. Примеры неконгруэнтности формальных и тектонических иероглифов были даны выше. Еще бо́льшие трудности для машинного перевода составляет неконгруэнтность семантических иероглифов: англ. *board* — русск. *доска, стойка, контора, стол* (переносно, ср. *столоваться*) и, наоборот, русск. *стол* — англ. *table* — в прямом смысле, *board* — в переносном. Данные выполненных экспериментов машинного перевода не позволяют считать проблему преодоления этой неконгруэнтности окончательно решенной; в сущности она и не поставлена надлежащим образом, потому что определить конгруэнтный вариант значения полисемантического слова по контексту (как это делается в опубликованных алгоритмах) в большинстве случаев оказывается весьма сложной операцией для машины, не имеющей возможности обращаться к смыслу текста. Осуществление подобной операции потребовало бы наличия в «машинной памяти» обширной характеристики полисемантичного слова, которая должна содержать многочисленные указания на свободные словосочетания, позволяющие машине отбирать конгруэнтный вариант.

Мне представляется, что это — не лучший путь. Гораздо эффективнее была бы система семантических ключей. Эта идея основана на соображениях теории вероятности. Так, есть все основания ожидать, что в русской сельскохозяйственной статье слово *лук* будет означать огородную культуру, а не род оружия и что в астрономической статье слово *возмущение* значит изменение орбиты небесного тела под действием притяжения другого небесного тела, а не душевное состояние человека. Очевидно, что вторичные значения здесь не абсолютно исключены, но так же очевидно и то, что их встречаемость в подобных условиях близка к нулю, в силу чего процент ошибок, обусловленных пренебрежением вторичных значений, окажется в общем не выше обычного процента опечаток. Таким образом, для тех вариантов полисемантического слова, которые относятся к определенной лексической сфере, достаточно будет краткого условного ключа (типа словарных помет, употребляемых в лексикографической практике). Вместе с текстом, который следует перевести, машина получит его семантический ключ, который позволит машине сразу же отобрать внутри гнезд значений встречаемых в тексте слов именно те значения, которые являются конгруэнтными для данной специальной отрасли.

Следующим шагом, как мне кажется, должно быть отраслевое подразделение всего словаря в целом, т. е. выделение математической, химической, зоологической, музыкальной и др. терминологии в особые разделы со своим семантическим ключом каждый. Вводя в машину, скажем, математический текст, мы сопровождаем его ключом, который обязывает машину начать с перевода всей математической лексики, находящейся в статье, а потом уже обращаться к общему словарю.

Сам этот общий словарь — равно как и специальные словари — тоже может быть организован более экономично, чем это делалось до сих пор. Я имею в виду ступенчатую организацию, при которой словарь подразделяется на ступени: 1) наиболее употребительные слова, 2) слова средней употребительности, 3) редкие слова (такое подразделение словаря должно быть основано всецело на статистике). Машина вначале проверяет все неспециальные слова по первой ступени и, естественно, находит в ней большую часть таких слов, затем проверяет остальные по второй ступени и только с последними оставшимися словами обращается к третьей ступени. Легко показать, опираясь на формулы теории вероятности, что такая ступенчатая организация словаря в несколько раз выгоднее, чем осуществляемое в имеющихся алгоритмах сплошное пробегание единого алфавита слов, где перемешаны слова самой разной частотности.

Дальнейшее сокращение и упрощение словаря может быть достигнуто путем хотя бы частичной формализации словообразования. Сюда может быть включено типовое словосложение (*лесовоз, нефтевоз*; *машиностроение, станкостроение, компрессоростроение, вертолетостроение* и т. п.), при котором достаточно ввести в память машины семантические иероглифы типовых словоэлементов и тектонический иероглиф их положения в переводящем слове или словосочетании. Аналогичной трактовке может быть подвергнута типовая суффиксация, особенно развитая, например, в органической химии, где за каждым суффиксом закрепляется строго специализированное значение (ср. *эт-ан, эт-ил, эт-ил-ен, бут-ан, бут-ил, бут-ил-ен, проп-ан, проп-ил, проп-ил-ен* и т. д.). При этом десятки тысяч[1] таких терминов, как *дихлордифенилтрихлорэтан* (инсектицид, в просторечии именуемый дустом), сводятся к нескольким сотням иероглифов и, тем не менее, благодаря международности химической терминологии, конгруэнтность близка к 100%.

[1] Число соединений, известных органической химии, давно превысило 200 тысяч.

Введем понятие меры конгруэнтности, определив ее как частное от деления умноженного на сто количества конгруэнтных иероглифов на квадрат общего числа иероглифов, участвующих в преобразовании, т. е.:

$$K = \frac{100\,p}{(p+r)^2},$$

где p — число конгруэнтных иероглифов, r — число неконгруэнтных иероглифов, K — мера конгруэнтности [1].

Обозначим буквой σ_1 семантический иероглиф понятия «солнце», σ_2 — понятия «желтый», σ_3 — понятия «звезда»; φ_1 — формальный иероглиф глагола-связки, φ_2 — иероглиф мужского рода, φ_3 — женского рода, φ_4 — среднего рода, φ_5 — определенного артикля, φ_6 — неопределенного артикля, φ_7 — определительной частицы, φ_8 — 3-го лица ед. числа наст. времени глагола; τ_1 — тектонический иероглиф места сказуемого после подлежащего, τ_2 — иероглиф места определения перед определяемым, τ_3 — иероглиф места определения после определяемого, τ_4 — места артикля перед существительным, τ_5 — места глагола-связки перед предикативом, τ_6 — места глагола-связки после предикатива, τ_7 — иероглиф согласования с существительным в роде, τ_8 — иероглиф места определительной частицы после определения. Тогда предложение на хиндустани *сӯрья пӣт тара̄ хэ̄й* имеет входную иероглифику $\sigma_1\varphi_2 + \sigma_3\varphi_2\tau_1 + \sigma_2\tau_2 + \varphi_1\varphi_8\tau_6$, а его русский перевод *солнце — желтая звезда* — выходную иероглифику $\sigma_1\varphi_4 + \sigma_3\varphi_3\tau_1 + \sigma_2\tau_7\varphi_3\tau_2$, и, следовательно, при переводе с хиндустани на русский (и обратно) мера конгруэнтности преобразования в данном случае $K = 100 \times 10 : 19^2 = 2{,}8$. Рассмотрев иероглифику соответствующего китайского предложения *tàijáŋ ʂɨ̀ huáŋ-dè xīŋ* [2] — $\sigma_1 + \sigma_3\tau_1 + \sigma_2\varphi_7\tau_2 + \varphi_1\tau_5$, английского *the sun is a yellow star* — $\sigma_1 + \varphi_5\tau_4 + \sigma_3\tau_1 + \sigma_2\tau_2 + \varphi_6\tau_4 + \varphi_1\varphi_8\tau_5$ и французского *le soleil est une étoile jaune* — $\sigma_1 + \varphi_5\tau_7\tau_4 + \sigma_3\tau_1 + \varphi_6\tau_7\tau_4 + \sigma_2\tau_3 + \varphi_1\varphi_8\tau_5$, мы можем видеть, что при переводе с хиндустани на китайский, на английский или на французский мера конгруэнтности для данного случая соответственно равна $K = 3{,}3$; 2,9; 2,1, а при переводе с русского на китайский, английский или французский равна соответственно $K = 3{,}5$; 2,3; 1,5.

Отсюда мы получаем удельную конгруэнтность хиндустанского предложения $K_{ср.}$ равную $(2{,}8 + 3{,}3 + 2{,}9 + 2{,}1) : 4 = 2{,}8$, и удельную конгруэнтность русского предложения $K_{ср.} = 2{,}6$. Исходя из того, что при китайско-английском переводе $K = 3{,}2$, при китайско-французском $K = 3{,}0$ и при французско-английском $K = 2{,}3$, мы получаем удельную конгруэнтность китайского предложения $K_{ср.} = 3{,}2$, английского $K_{ср.} = 2{,}9$ и французского $K_{ср.} = 2{,}2$.

Высокая удельная конгруэнтность китайского не случайна: грамматическая структура этого языка имеет наименьшее число избыточных иероглифов, будучи всего ближе к «логическому синтаксису»; во французском же языке сочетаются избыточные при ряде переводов иероглифы грамматических родов и артиклей. Заметим сразу же, что картина получится иной, когда мы выйдем за пределы этой простой фразы, где мы считали полной конгруэнтность семантических иероглифов. В более широкой и разнообразной семантической иероглифике именно китайский язык обнаруживает наименьшую конгруэнтность — в силу того, что исторические традиции словообразования в этом языке были несходными с традициями европейских языков (что касается такого языка, как индонезийский, то он в этом отношении занимает промежуточную позицию, поскольку в нем оригинальные традиции переплетены с европейскими). Таким образом, общая оптимальная конгруэнтность по сумме семантических, формальных и тектонических иероглифов не является свойством какого-либо из живых языков.

При достаточно большом числе языков вступает в действие новый фактор: количество алгоритмов перевода возрастает быстрее числа языков. Для n языков нужно $n^2 - n$ программ. Очевидно, что введение языка-посредника сократит число алгоритмов до $2n$; при 100 языках выигрыш будет 50-кратным. В общих чертах об этом уже говорилось в статье П. С. Кузнецова, А. А. Ляпунова и А. А. Реформатского, а также в статьях Уивера, Бут и Локке [3].

---

[1] Вторая степень в знаменателе объясняется тем, что при одной и той же пропорции конгруэнтных иероглифов (допустим, 6 из 8 и 12 из 16) машина быстрее выполнит то преобразование, в котором иероглифический комплекс меньше. Иначе говоря, скорость работы машины есть функция двух факторов: однородности преобразования и его линейного размера. Умножение данных величин и дает нашу формулу.

[2] Этот и последующие примеры даются в новом алфавите.

[3] См.: П. С. Кузнецов, А. А. Ляпунов и А. А. Реформатский, Основные проблемы машинного перевода, ВЯ, 1956, № 5, стр. 109—110; W. Weaver, Translation, «Machine translation of languages», New York — London, 1955, стр. 23; A. D. Booth, W. N. Locke, Historical introduction, там же, стр. 7.

Весьма существенным представляется и тот выигрыш, который может быть получен, если язык-посредник будет обладать максимальной удельной конгруэнтностью по всем трем категориям иероглифов. Это может быть достигнуто путем устранения из языка-посредника элементов, иероглифы которых в большинстве преобразований являются неконгруэнтными [1], и путем сохранения элементов, иероглифы которых конгруэнтны в большинстве случаев перевода (иероглифика трех основных глагольных времен, грамматического числа существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, постановки подлежащего перед сказуемым [2] и др.). Необходимым свойством языка-посредника должно быть сведение к минимуму неконгруэнтной полисемии, осуществляемое путем логического анализа системы употребляемых понятий и способов ее языкового выражения.

Так мы приходим к проблеме структурального обобщения грамматических категорий наиболее распространенных языков мира и разработки международного терминологического кода с последующим созданием на этой базе языка-посредника машинного перевода. Очевидно, что язык-посредник должен быть создан отнюдь не на основе модернизованной латыни, а с учетом в равной мере языков Востока и языков Запада. С точки зрения машинного перевода одинаково существенно как то, с какого языка, так и то, на какой язык делается больше всего переводов. Поэтому даже теперь, когда научная продукция стран Европы и Америки временно превышает еще научную продукцию стран Азии и Африки, решающим является то обстоятельство, что количество переводов на незападноевропейские языки уже не уступает числу переводов на западноевропейские языки (согласно недавно опубликованным данным ЮНЕСКО [3], СССР стоит на первом месте по числу переводов, тогда как США — лишь на одиннадцатом). Поэтому строить машинный язык-посредник на базе только западноевропейских языков было бы прежде всего неэкономичным: его удельная мера конгруэнтности была бы слишком низка.

Стремление к оптимальной экономичности структуры языка-посредника (т. е. к максимальной мере конгруэнтности) обязывает принимать во внимание два фактора: 1) характер иероглифики языков, участвующих в переводческих отношениях; 2) количество переводов, выполняемых для того или иного языка. Не требуется доказательств того, что учет или неучет какой-либо черты языка, участвующего, скажем, в 20% случаев перевода, в бо́льшей степени влияет на экономичность машины, чем учет или неучет какой-либо черты языка, участвующего лишь в 1% случаев перевода. Однако было бы наивностью делать из этого вывод, что таким способом хотя бы в малейшей степени затрагивается вопрос о значимости того или иного языка: речь идет всего-навсего о коэффициенте полезного действия машинной конструкции.

Исходя из всех изложенных соображений, нетрудно получить математическое выражение грамматических и лексических типов, наиболее конгруэнтных при переводе с n на $n-1$ языков:

$$M = \frac{\sum_{i,j=1}^{n} q_{i|j}\, m_i\, m_j}{\sum_{i,j=1}^{n} m_i\, m_j},$$

где q — коэффициент, равный 1 при конгруэнтности двух иероглифов, участвующих в преобразовании с языка i на язык j, и равный 0 при неконгруэнтности, а $m_1, m_2, \ldots m_i, m_j, \ldots, m_n$ — веса участвующих в переводе языков.

При наличии языка-посредника функция упрощается и принимает вид:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{n} q_i\, m_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$$

Мезофункция μ позволяет с математической строгостью определить грамматические черты и словарь языка-посредника, наиболее выгодные для режима работы машины.

[1] Таковы артикли германских, романских и арабского языков, классификаторы языков банту, тхайские, вьетнамские, китайские, бирманские и индонезийские счетные слова, грамматический род в славянских, новоиндийских, романских и немецком языках, славянские и арабские глагольные виды, согласование времен в хиндустани, романских и германских языках и т. п.

[2] Следует иметь в виду, что машинный перевод разрабатывается в первую очередь для научно-технических текстов.

[3] См. «Сов. культура» 5 II 57, стр. 4.

Продемонстрируем это на двух примерах. Предварительно припишем двадцати шести наиболее распространенным языкам мира веса, пропорциональные числу людей, которым эти языки практически известны из повседневной жизни: а) китайский — 24, б) хиндустани — 18, в) английский — 10, г) русский — 8, д) испанский — 5, е) японский — 4, ж) немецкий — 3, з) арабский — 3, и) индонезийский — 3, к) португальский — 2, л) французский — 2, м) суахили — 2, н) итальянский — 2, о) тюркские — 2, п) западнославянские — 2, р) иранские — 1, с) корейский — 1, т) хауса — 1, у) южнославянские — 1, ф) вьетнамский — 1, х) тхайский — 1, ц) бирманский — 1, ч) тагальский — 1, ш) румынский — 1, щ) скандинавские — 1, ъ) голландский — 1. Общая сумма весов — 101.

Рассмотрим, во-первых, выгоднее ли в языке-посреднике ставить прилагательное перед существительным, к которому оно относится, или после него. Имеем: а) *хӣn-dè ʂū*, б) *наи китāб*, в) *new book*, г) *новая книга*, д) *libro nuevo*, е) *атарасий хон*, ж) *neues Buch*, з) *китāб джадūд*, и) *buku jang baru*, к) *livro novo*, л) *livre nouveau*, м) *kitabi kipya*, н) *libro nuovo*, о) *yeni kitabI*, п) *nowa ksi̯ęga*, *nová kniha*, р) *кетаб-е ноў*, с) *сэ чхэк*, т) *sabo littafi*, у) *нова књига*, *нова книга*, ф) *sách mó'i*, х) *са-мут май*, ц) *Θu-ðŏ cāoў*, ч) *ang bagong aklat*, ш) *cartea nouă*, щ) *ny bok*, *ny bog*, ъ) *niew boek*. Ответ получаем точный и недвусмысленный; $\mu_1 = 0{,}77$; $\mu_2 = 0{,}23$; т. е. прилагательное в языке-посреднике должно стоять перед существительным.

При этом заметим, что уже по первым четырнадцати языкам мы могли бы получить соотношение приблизительно того же порядка $\mu_1 : \mu_2 = 69 : 19$. Поэтому, отыскивая в качестве второго примера выгодную для языка-посредника структуру простого распространенного предложения, ограничимся только частью взятой нами вначале совокупности языков: а) *ʐè-gè wùvèn-dè xìŋʐĭ wánqyán чуédìŋ-la tā-dè ʐŭjáu gūŋ'ǔŋ*, б) *васту-кӣ вишештāо-не ус-кā буниядū упаёг нишчит кия хэй*, в) *the properties of the object have fully determined its principal function*, г) *свойства предмета вполне определили его основную функцию*, д) *las propiedades del objeto han completamente determinado su función principal*, е) *моно-но сэйсйцу-ўа соно омонару сиё-о маттаку кэттэй-сйта*, ж) *die Eigenschaften des Gegenstandes haben seine Hauptfunktion vollständig bestimmt*, з) *ᶜäйänät χuçuçийāту-улı-māддāти ўäджибāт-χā 'äл-'äcāсийāтā тāмāмāн*, и) *sifat² dari benda itu telah menentukan djabatannja kepala setjara tjukup*, к) *as propriedades do objecto teem completamente destinado a sua funçāo principal*, л) *les propriétés de l'object ont complètement déterminé sa fonction principal*, м) *tabia za kitu imeyamurisha kabisa kazi kubwa yake*, н) *le particolarità del oggetto hanno completamente determinato la sua funzione principale*, о) *maddenin hususiyetleri esaslI tamamile tayin ettIlar*.

Получаем, что для взаимного расположения подлежащего и сказуемого $\mu_1 : \mu_2 = 85 : 3$, т. е. подлежащее должно стоять в языке-посреднике раньше сказуемого. Аналогичным образом приходим к тому, что сказуемое должно идти раньше прямого дополнения (61 : 27), что определения должны во всех трех случаях стоять перед определяемым (48 : 40, 69 : 19,78 : 10), что притяжательное местоимение должно быть поставлено до прилагательного (84 : 4) и наречие — до знаменательного глагола (64 : 24). Чтобы показать, как решается вопрос о формальных иероглифах, укажем на определительный формант к понятию «предмет» [такой формант целесообразно иметь в языке-посреднике (88 : 0)] и на артикль, который невыгодно иметь в языке-посреднике машинного перевода (30 : 58).

Эти два примера достаточно наглядно раскрывают методику применения мезофункции, т. е. методику численного решения вопроса о наиболее эффективной структуре языка-посредника.

П. Д. Андреев

№ 5 1957

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О ТРУДАХ АКАДЕМИКА В. Ф. ШИШМАРЕВА

Комитетом по Ленинским премиям в области науки и техники в 1957 г. была присуждена Ленинская премия «за наиболее выдающиеся работы в области науки» наряду с шестью другими учеными, акад. Владимиру Федоровичу Шишмареву. Выдающийся советский ученый-филолог получил высшее признание нашего Отечества «за исследования в области романской филологии, изложенные в трудах „Историческая морфология французского языка“, „Книга для чтения по истории французского языка“ и „Словарь старофранцузского языка“ к „Книге для чтения по истории французского языка“, опубликованных в 1952—1955 годах»[1].

Славный творческий путь ученого-исследователя пройден В. Ф. Шишмаревым: еще в 1893 г. появилась его первая печатная работа, посвященная, как и многие более поздние, литературоведческой проблематике. В 1909 г. подготовленное В. Ф. Шишмаревым двухтомное издание текстов средневекового французского поэта и музыканта Гильома Машо, сопровождаемое самостоятельным их исследованием, было удостоено французской Академией наук премии Сентура.

Широта филологических интересов В. Ф. Шишмарева сказалась особенно отчетливо в двух его диссертациях — «Лирика и лирики позднего средневековья. Очерки по истории поэзии Франции и Прованса» и «Клеман Маро», т. 1 [2]. Долгие годы занятий под руководством акад. А. Н. Веселовского в Петербургском университете, постоянные связи и научное общение с крупнейшими учеными за рубежом (Г. Парис, А. Тома, М. Фасьо, П. Райна, Э. Пароди, К. Шабано), слушание специальных курсов и участие в семинарских занятиях способствовали упрочению и углублению исключительной эрудиции ученого. Самостоятельная работа в библиотеках и архивах Франции, Италии, скандинавских и других стран помогли приобретению навыков палеографических и текстологических исследований. Это, впрочем, никак не помешало широте научных и общественных контактов талантливого исследователя и только содействовало выработке аналитического метода исключительной точности и высокой требовательности к себе, к своему труду ученого.

Исследовательская работа В. Ф. Шишмарева всегда сочеталась с преподаванием (Петербургские педагогические курсы, Петербургский университет, Высшие женские курсы, Рабоче-крестьянский университет в Костроме, Среднеазиатский университет); разнообразие научных исканий нашло отражение в тех лекционных курсах и занятиях, которые вел и продолжает вести старейший филолог-романист нашей страны. Многие специалисты в области романских языков и литератур являются учениками В. Ф. Шишмарева; будучи самостоятельными учеными, возглавляя кафедры и руководя научной работой, они продолжают поддерживать тесную связь со своим учителем и научным руководителем, который щедро оказывает внимание каждому из них и проявляет заботливый интерес к их работе. Прекрасным подтверждением постоянных живых связей между В. Ф. Шишмаревым и его учениками и товарищами по специальности служит изданный Ленинградским университетом сборник статей к восьмидесятилетию общепризнанного главы советской романистики [3].

Деятельность исследователя-лингвиста органически сочетается с деятельностью исследователя-литературоведа. Если уже прежде В. Ф. Шишмарев был связан с Академией наук (редактирование собрания сочинений А. Н. Веселовского и др.), то с 1923 г. он постоянно участвует в работах ряда академических институтов, сосредоточив свою деятельность преимущественно на вопросах языкознания. Как член-корреспондент (с 1924 г.) и академик (с 1946 г.) Академии наук СССР по западноевропейской филологии В. Ф. Шишмарев наряду с капитальными трудами по лингвистике продолжает публикацию статей по вопросам литературы — «О переводах Клемана Маро», «Рауль де Камбре», «Ренье и Жаннетон» (статья, которая связана с его статьей «Следы библиотеки Рене Анжуйского в рукописных собраниях Публичной библиоте-

[1] «Правда» 22 IV 57.

[2] Первая издана в Париже в 1911 г., вторая — в Петрограде в 1915 г.

[3] «Романо-германская филология. Сб. статей в честь акад. В. Ф. Шишмарева», Л., 1957.

ки»), «Шота Руставели (Несколько параллелей и аналогий)», «Декамерон» Боккаччо, «У истоков итальянской литературы», статьи о А. Н. Веселовском, главы в «Истории французской литературы»[1] и др.

Уже в двух статьях о Гаргантюа, в статье «Этимологические заметки» все отчетливей проявлялся интерес со стороны исследователя к вопросам языка. Прекрасное знание ряда западноевропейских языков, сочетающееся со свободным владением разговорной речью, способствовало широкому тематическому охвату романистической проблематики. Как бы подготовкой к «Очеркам по истории языков Испании» явилась статья «Баскский язык»[2]. Значение этих работ по языкам Иберийского полуострова тем более велико, что своей отечественной традиции в их изучении не было.

В области итальянского языка и литературы В. Ф. Шишмаревым проведено исследование творчества флорентийского гуманиста-новеллиста Франко Саккетти и дан отличный перевод сборника его новелл (к сожалению, эта рукопись до сих пор не издана). Характерным для В. Ф. Шишмарева-лингвиста является обращение к изучению живых говоров романских языков на территории СССР; из опубликованных материалов можно отметить статью «Один из южноитальянских говоров в Крыму»[3].

В сферу научных интересов В. Ф. Шишмарева входят также восточнороманские языки. Ученый особенно тщательно изучает вопрос об исторических судьбах восточных романцев и их языка. Свидетельства римских и византийских историков, большое число специальных исследований, посвященных так называемой непрерывности (continuitatea) расселения восточных романцев к северу от Дуная, помогли автору сформулировать свои взгляды в работе «Романские языки юго-восточной Европы и национальный язык Молдавской ССР»[4]. В другом завершаемом труде о романских языках на территории СССР он снова возвращается к этой трудной и еще не решенной проблеме. Для маститого ученого всегда наибольшей привлекательностью обладают те мало выясненные или запутанные моменты в исследуемой проблеме, которые могут быть определены только путем привлечения новых материалов, пересмотра старых с новой точки зрения, с последующим их обобщением и выводами.

По своему удельному весу работы по французскому языку занимают в творческой биографии В. Ф. Шишмарева такое же ведущее место среди его лингвистических трудов, как монографии и статьи по французской литературе среди литературоведческих. Именно здесь лучшие черты талантливого ученого и настойчивого, не боящегося трудностей исследователя нашли свое полное выражение. Как лингвист, литературовед и одновременно палеограф и текстолог с исключительно широким общим и филологическим кругозором, он показал себя в удостоенных Ленинской премии трех книгах по истории французского языка. Вполне можно согласиться с мнением проф. А. А. Смирнова, что «мы располагаем теперь на русском языке таким пособием по изучению старофранцузского языка и словесности, какого в научной литературе еще никогда и нигде не появлялось»[5].

По своим задачам каждая книга имеет специфические особенности. «Книга для чтения по истории французского языка IX—XV вв.» (как она названа ее автором)[6] далеко превосходит по своей значимости скромные рамки данного ей названия. Она не является хрестоматией в обычном смысле этого слова и не должна сопоставляться с хрестоматиями типа К. Барча, Г. Париса и др. В «Книге для чтения» представлены разные по своему жанру памятники письменного языка, расположенные по хронологическому принципу и достаточно широко отражающие французский язык в его местных разновидностях с теми специфическими чертами, которые обусловлены социальной средой или профессиональным воздействием. Казалось бы, что объяснительные статьи автора, библиографические указания и примечания подчас более подробны, чем это нужно осведомленному лингвисту. Но нельзя не согласиться с утверждением В. Ф. Шишмарева, что «некоторый литературоведческий комментарий к изучаемому памятнику не бесполезен и для языковеда, на которого прежде всего рассчитана книга. Такая точка зрения зачастую недооценивается. Она как будто ясна, когда речь идет об изучении проблемы стиля, об-

[1] См. указанные статьи в следующих изданиях: ИАН СССР, Серия VI, № 9—11, 15 мая — 15 июня 1927 и № 15—17, 1 ноября — 1 декабря 1927; ИАН СССР, Отд-ние обществ. наук, 1931, № 10; «Лит. наследство», № 33—34, М., 1939; кн. «Средневековье в рукописях Публ. биб-ки», вып. II, Л., 1927. Также см: «Romania», т. LV, 1929; ИАН СССР, Отд-ние обществ. наук, 1938, № 3; Дж. Боккаччо, Декамерон, Л., 1927; ИАН ОЛЯ, 1941, № 3 и 1944, вып. 6; «История французской литературы», т. I, М.— Л., 1946.

[2] Сб. «Культура Испании», М.— Л., 1940; см. В. Шишмарев, Очерки по истории языков Испании, М.— Л., 1941.

[3] «Уч. зап. [ЛГУ]», № 58, Серия филол. наук, вып. 5, 1941.

[4] Сб. «Вопросы молдавского языкознания», М., 1953.

[5] См. рецензию А. А. Смирнова: в ИАН ОЛЯ, 1956, вып. 4, стр. 376.

[6] В. Шишмарев, Книга для чтения по истории французского языка IX—XV вв., М.—Л., 1955.

разования литературного языка, особенностей языка отдельного писателя-художника и т. п. Но она существенна и при решении многих задач чисто лингвистического характера, так как помогает зачастую глубже проникнуть в проблему взаимоотношения формы и содержания, разобраться в некоторых вопросах словаря и синтаксиса и даже фонетики. Не разрыв, а наоборот, взаимоучет этих близких одна к другой областей знания облегчит работу в той и другой, вопреки часто высказываемому мнению о их изоляции» (стр. 3).

Отбор текстов для «Книги для чтения» произведен с большой тщательностью и превосходным знанием предмета. Уместно лишь поставить вопрос об использовании в «Книге для чтения» эпиграфических материалов, хотя отбор их, поскольку речь идет о надгробиях, надписях на картинах и ex voto, представляет известные трудности[1].

Благодаря большим фрагментам и изложению содержания пропущенных мест «Книга для чтения» дает основательное представление о крупнейших памятниках французской письменности IX—XV вв. К сожалению, текстологические знания читатель этой книги может приобрести только при обращении к некоторым памятникам. Так, песни Адама ле Боссю приводятся по изданию Р. Бергера, являющемуся точным переводом на диалект Арраса (*Le dous maus me renouvele* — стр. 246), и в написании рукописи, в которой диалектальные черты выражены менее последовательно (*Il ne muet pas de sans celui qui plaint*); то же следует сказать об отрывке из «Паломничества Карла Великого», из которого 10 тирад даны по дипломатической копии Коха, а 6 тирад — по изданию Е. Кошвица. Правда, в предисловии к «Книге для чтения» автор дает советы по приобретению навыков самостоятельной работы над текстом.

Литературоведческие введения и особенно распространенный лингвистический комментарий придают рассматриваемой книге характер исследования старофранцузского языка и литературы. В этом основное отличие «Книги для чтения» от зарубежных хрестоматий и даже лучшей среди них — А. Анри[2].

Нельзя не отметить самостоятельной ценности небольшого очерка «От языка XIV и XV вв. к языку XVI в.», который подводит итоги развитию французского языка по XV в. включительно и в то же время помогает понять XVI в. как период совершенствования языка и отказа от многого, насильно ему навязанного.

Выборочно можно остановиться на отрывке из «Песни о Роланде». Для характеристики памятника и его языка приведенных 64 тирад вполне достаточно, поскольку общее их число равно 291. Обильная библиография, которой предшествуют сведения о рукописях и изданиях, содержит указания на ряд работ, посвященных вопросам возникновения и истории французских эпических поэм и специально «Песни о Роланде». Однако по вполне понятным причинам эта библиография не претендует на полноту, так как автор стремится к отбору наиболее существенного[3].

Если примечания к указанному памятнику в «Хрестоматии» А. Анри занимают меньше страницы, то в «Книге для чтения» им отведено десять страниц. Сведения о вокализме и консонантизме даны наряду с примечаниями по морфологии и синтаксису. Широко использованы примеры, а также сопоставления с диалектными формами других областей. Быть может, надо было затронуть и некоторые вопросы старофранцузской метрики, а в отношении эпических поэм — коснуться связей с музыкой[4].

Подчас неиспользование новых изданий вызывает расхождение между ними и текстом «Книги для чтения». Так, стих 269 звучит (по «Книге») *E jo irai al Sarazin en Espaigne*, в то время как у Рольфса мы читаем: *Et jo irai al Sarazin espan*; соответственно стих 310 в «Книге» *En Sarraguce sai ben aler m'estoet. AOI*, у Рольфса же (а не только у Мортье, как сказано в примечании в «Книге»)—*En Sarraguce sai ben qu'aler m'estoet*[5]. То же следует сказать о «Житии св. Алексея», изданном Рольфсом (1950), и двух мираклях Готье де Куэнси, изданных Э. Ранкка (1955), и др.

Нельзя хотя бы коротко перечислить те существенные наблюдения и выводы, к которым приходит В. Ф. Шишмарев при рассмотрении языка отдельных памятников. Приведем для примера оценку «Рейхенауского глоссария», данную им в «Книге для чтения»: «Рейхенауский глоссарий — памятник не народной романской речи, а речи латинской, живой,на которой говорило грамотное (т. е. знавшее так или иначе книжную

---

[1] Ср.: J. Gailliard, Inscriptions funéraires et monuments de la Flandre Occidentale, Bruges, 1861; M. Durand, Les inscriptions françaises en région flamande, «Le français moderne», 1957, № 2.

[2] A. Henry, Chrestomathie de la littérature en ancien français, Bern, 1953.

[3] Ср. A. Junker, Stand der Forschung zum Rolandslied, Germ.-Rom. Monatschr., N. F., Bd. VI, Hf. 2, 1956.

[4] H. Lausberg, Zur altfranzösischen Metrik, «Rom. Forsch.», Bd. 68, Hf. 1—2, 1956,; J van der Veen, Les aspects musicaux des chansons de geste, «Neophilologus», 1957, № 2.

[5] «Das altfranzösische Rolandslied nach der Oxforder Handschrift», hrsg. von A. Hilka, 3-e Aufl. besorgt von G. Rohlfs, Halle, 1948.

латынь) монашество,— речи, проросшей, естественно, народными («вульгарными») элементами. Отсюда важность данного памятника для изучения романских языков на территории восточной части центральной Романии» (стр. 14). Однако встречаются в «Книге для чтения» некоторые неуточненности и стилистические неудачи (такова характеристика языка и вводные замечания к «Житию св. Леодегария» и к «Житию св. Алексея»). Не совсем понятен отказ автора от привычных для русского читателя названий: вместо «Песни о Роланде»—«Поэма о Роланде», вместо «Игра в беседке» — «Зеленое действо». Но все это, наряду с опечатками (на стр. 20 неверно указан год рождения Лотаря, на стр. 27 Хлодвиг назван Хловдигом, на стр. 360 Пирам — Приамом и т. п.), никак не может повлиять на самую высокую оценку выдающегося труда советского романиста.

Весьма положительный отзыв о «Книге для чтения» дал венгерский романист Ф. Бакош[1], подчеркнувший, что эта книга является крупнейшим печатным произведением в области романской филологии. К высокой оценке Ф. Бакоша присоединяется проф. А. А. Смирнов, рассматривающий книгу в ее историко-литературной приуроченности[2].

Заслуживает высокой похвалы использование В. Ф. Шишмаревым в «Книге для чтения» текстов тех памятников, рукописи которых находятся в фондах Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. Только такой сведущий палеограф, как В. Ф. Шишмарев, автор ряда статей о рукописях из фондов этой библиотеки и хранилища Академии наук[3], смог издать и прокомментировать фрагменты из «Романа о Трое» Бенуа де Сент-Мора, из «Чудес девы Марии» Готье де Куэнси (по словам автора, «среди дошедших до нас списков «Чудес девы Марии», может быть, лучшим является список, хранящийся в ленинградской Гос. Публ. б-ке им. Салтыкова-Щедрина»). По единственной рукописи пасторали XV в. «Реньо и Жаннетон», находящейся в той же библиотеке, напечатан текст начала этой пасторали. Четвертый памятник, опубликованный по рукописи, тоже относится к XV в.— «Пятнадцать радостей брачной жизни» (в виде образца в «Книгу для чтения» включена «вторая радость»). В работах В. Ф. Шишмарева мы имеем образцы тонкого мастерства латино-романской палеографии.

Самостоятельное значение может иметь «Историческая морфология французского языка»[4], которая в то же время служит пособием при работе над текстами «Книги для чтения». Хотя «Историческая морфология» и содержит в себе немало справочного материала, однако автор считает ее основной задачей систематический исторический анализ морфологических сторон французского языка. Для характеристики морфологического строя использован ряд памятников старофранцузской и среднефранцузской речи, наряду с памятниками древнейшего периода. Попутно следует отметить, что не все памятники, использованные в указанной книге, совпадают с теми, которые напечатаны в «Книге для чтения». В качестве сопоставительного материала привлечены латинские и галло-романские памятники, использована обширная исследовательская литература и ряд словарей.

В. Ф. Шишмарев устанавливает известную преемственность задач, стоявших перед его предшественниками и им как автором «Исторической морфологии», не без основания противопоставляя свою книгу тому пренебрежительному отношению к грамматике, которое было свойственно Н. Я. Марру.

Книга состоит из двух неравных частей: меньшей — «Имя», большей — «Глагол». Особенно последовательно рассматривается морфология существительных и местоимений. Более лаконично изложена глава, посвященная неопределенному, определенному и партитивному члену, хотя и в ней очень логично показано развитие различных видов членов как во французском, так и — сопоставительно — в других романских языках. Попутно следует отметить досадное расхождение в толковании неопределенного местоимения *cata+unus>cadun, chadun*, правильное объяснение которого дано в «Исторической морфологии» (стр. 83) и в «Словаре старофранцузского языка» (стр. 38) и ошибочное—в «Книге для чтения» (стр. 21, примеч. 8). Несомненно, лучшим разделом главы о местоимениях является раздел «Е. Неопределенные местоимения».

Интересны наблюдения автора в «Исторической морфологии» над безличным пассивом и употреблением кондиционала (стр. 102, 114), данные с использованием сравнительных показаний из испанского, румынского, рето-романского, а также в случае надобности и из германских языков (стр. 123, 131). Нельзя не отметить привлечение

---

[1] «Filológiai közlöny», évf. II, szám 3, 1956.

[2] См. цит. выше рецензию на книги В. Ф. Шишмарева.

[3] Помимо указанных выше статей «Реньо и Жаннетон» и«Следы библиотеки Рене Анжуйского в рукописных собраниях Публичной библиотеки», отметим «Рукописный отрывок „Комедии" Данте Музея палеографии Академии наук» (ИАН СССР, Серия VI, 15 января — 1 февраля 1927).

[4] В. Ф. Шишмарев, Историческая морфология французского языка, М.—Л., 1952.

В. Ф. Шишмаревым свидетельств различных грамматических работ XIII — XVII вв. от «Orthographia gallica» до Вожла[1].

В заключительной главе «Исторической морфологии» даны наиболее трудные типы и формы отдельных глаголов, часто встречающихся в памятниках. Многолетний опыт преподавания в вузах сказался и в составлении этого перечня, который дает хорошо обозримый материал в пределах старо- и среднефранцузского языка (стр. 248—264). Несомненно, и эта часть своеобразной трилогии В. Ф. Шишмарева по истории французского языка займет принадлежащее ей по праву место.

Третьей и последней частью является «Словарь старофранцузского языка»[2]. Прежде всего надо отметить, что это — первый опыт такого словаря на русском языке. Автор его правильно считает, что «Словарь» сможет обслужить не только языковеда, но в известной мере и историка литературы и даже историка вообще, поскольку базой этой книги является словарный состав довольно разнообразного содержания. В интересах лингвиста значения слов даются в «Словаре» не только на русском, но и на современном французском языке, и слова сопровождаются этимологическими пояснениями. В предисловии к «Словарю» В. Ф. Шишмарев указывает, что для его составления послужили тексты «Книги для чтения» и лишь в отдельных случаях материалы из других памятников. Однако не все слова «Книги для чтения» были включены в «Словарь». К числу таких относятся слова более поздних текстов, которые употребляются в современном языке в том же значении, а также некоторые слова, прокомментированные в тексте «Книги для чтения». Автором исключены из «Словаря» собственные имена и географические названия.

Расположение материала в строго алфавитном порядке способствует его обозримости. Удачным выходом для слов-синонимов, создающихся на основе одного и того же слова при помощи синонимических суффиксов, является введение их в «Словарь» отдельными статьями с пометой «морфологический вариант» и со ссылкой на основной из них (см. стр III).

Ряд интересных соображений высказал автор по поводу принципов этимологизации и перевода. С полным основанием В. Ф. Шишмарев в известных случаях отказывается от гипотетических этимологий и заменяет их указаниями на образование внутри французского языка Спорность и противоречивость этимологий заставила его в подобных затруднительных положениях ограничиваться пометой «этимология неясна» (та же помета применяется к так называемым звукоподражательным этимологиям).

«При переводе,— так говорится в „Предисловии",— в основу была положена мысль акад. Л. В. Щербы о том, что перевод должен быть не толкованием, а реальным переводом, пригодным для правильной русской фразы и подходящим для возможно большего числа контекстов. Таким образом, в начале помещается основное для старофранцузского периода значение... В дальнейшем расположении переводов по возможности отражается реальная связь значений» (стр. IV—V)

Если сопоставить «Словарь» со словарем к «Хрестоматии» А. Анри, то прежде всего надо отметить крайний утилитаризм словаря Анри: слово дается с его вариантами (графическими и диалектными), затем следует значение, указание места употребления, фразеологические сочетания по контексту. Между тем в рецензируемый «Словарь» включены морфологические варианты, и — что особенно ценно — переводу слова на русский язык предшествует его новофранцузский эквивалент. Наличие этимологий позволяет считать этот «Словарь» трехъязычно-толковым с этимологическими ссылками.

Может быть, включение имен собственных и географических названий в «Словарь» способствовало бы устранению некоторых трудностей в понимании вариантов (компактный перечень собственных имен вполне исчерпывает материал текстов в «Хрестоматии» А. Анри). «Старофранцузский словарь» Тоблера — Ломмача, 34-й выпуск которого выходит в 1957 г.[3], в отношении полноты и объема приводимых из различных памятников примеров имеет некоторые преимущества по сравнению со «Словарем» В. Ф. Шишмарева. Однако, вчитываясь в оба словаря и сравнивая их, сличая отдельные словарные статьи, невольно приходишь к выводу о наличии большей строгости и логической стройности в построении рецензируемого «Словаря».

Досадно, что опечатки (к тому же довольно обильные) встречаются и в «Словаре», и в двух других книгах В. Ф. Шишмарева. В ряде случаев можно было бы указать морфологические и графические варианты некоторых словарных статей (стр. 24, 30,

---

[1] «Orthographia gallica», Heilbronn, 1884; Cl. Vaugelas, Remarques sur la langue françoise utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire, Paris, 1880; см. также «Историческую морфологию», стр 16.

[2] «Словарь старофранцузского языка к „Книге для чтения по истории французского языка" В. Шишмарева», М.— Л., 1955.

[3] Tobler — E. Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch, Lief. 1—15, Berlin, 1915—1932.

33, 51, 57, 59, 84, 95, 96, 98, 237, 254 и др.). Попутно надо отметить, что автором «Паломничества к святым местам» чаще считают монахиню Эгерию [1] вместо прежних Сильвии и Этерии (см. стр. 10 «Исторической морфологии» и стр. IX «Словаря»).

Все сказанное выше подтверждает, что три книги В. Ф. Шишмарева являются крупным вкладом в советскую романистику.

Д. Е. Михальчи

Романо-германская филология. Сб. статей в честь академика В. Ф. Шишмарева. — Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. 352 стр.

Вышел в свет сборник «Романо-германская филология». Изданием этого сборника отмечается знаменательная дата — 80-летие со дня рождения выдающегося советского ученого-филолога, крупнейшего специалиста в области романских языков и литератур, лауреата Ленинской премии академика Владимира Федоровича Шишмарева.

Тематика сборника весьма разнообразна: в нем представлены работы советских лингвистов по грамматике, фонетике, лексике и стилистике французского, провансальского, испанского, португальского и румынского языков, а также статьи по самым различным вопросам романских литератур. В сборник вошли также и несколько статей, по тематике выходящих за пределы романской филологии: статьи А. Десницкой, М. Стеблин-Каменского, Б. Ларина, И. Тронского и М. Тронской. Преобладают работы по французской филологии (см. статьи Т. Абросимовой, М. Бородиной, А. Васильевой, М. Гурычевой, Е. Реферовской, О. Шварц, Н. Штейнберг).

Т. Абросимова в своей статье «К вопросу о побудительном значении некоторых глаголов во французском языке» оспаривает мнение некоторых французских лингвистов, считающих, что глаголы типа *descendre*, *sortir*, *entrer* и подобные им в непереходном употреблении имеют такое же побудительное значение, как и сочетание *faire* + инфинитив. На хорошо подобранных примерах автор показывает неточность этого утверждения. Сравнивая приводимые автором предложения типа *Il m'a semblé qu'on allait me sortir de prison* «Мне показалось, что меня собираются выпустить из тюрьмы» с предложениями типа *Il sait que j'ai refusé de faire des démarches pour le faire sortir de prison* «Он знает, что я отказался предпринимать какие-нибудь меры, чтобы добиться его освобождения из тюрьмы», нельзя не признать, что глагол *sortir* в первом случае не имеет каузативного значения. Однако при анализе сочетаний с *faire* было бы целесообразно не рассматривать те из них, которые идут по пути лексикализации, имеют тенденцию образовывать лексическое единство. Так, сочетание *faire entrer* в современном французском языке большей частью эквивалентно глаголу *introduire* и не имеет значения побудительности.

Статья М. Бородиной «Судьба провансальских и французских форм во франко-провансальских говорах (с 1900 по 1947 г.)» посвящена одному из вопросов французской диалектологии. Ее задача — показать развитие некоторых особенностей франко-провансальских говоров на основе сравнения данных атласа Жильерона с новыми данными недавно вышедшего атласа Гардета. Такого рода сравнение представляет определенный интерес, так как дает автору возможность в известной мере проследить тенденции развития в области фонетики, сдвиги в лексике под влиянием форм литературного языка. Однако проведенное М. Бородиной сравнение не дает оснований утверждать, что франко-провансальские говоры должны рассматриваться как диалекты французского языка. Такой вывод представляется несколько неожиданным и не вытекает из предыдущего изложения. Исчезновение ряда диалектных форм под влиянием литературного языка вряд ли является аргументом в пользу несамостоятельности франко-провансальских говоров. Вопрос о месте франко-провансальских говоров требует еще очень тщательного изучения последних.

А. Васильева в статье «Инфинитив при существительном в современном французском языке» исследует употребление инфинитива главным образом в плане его семантических связей с определяемым им существительным. Автор сосредоточивает свое внимание: 1) на типах значений, сообщаемых инфинитивом существительному, на зависимости этих значений от предлога, вводящего инфинитив; 2) на соотношении инфинитива с субъектом его действия. В этом плане А. Васильева тщательно и подробно характеризует три группы инфинитивных определений, выделяемых ею в зависимости от предлога, вводящего инфинитив, а именно: инфинитив с предлогами *de*, *à* и *pour*.

Избранный А. Васильевой план рассмотрения инфинитивных определений не дает, однако, возможности подробно остановиться на анализе интересного типа инфинитивного определения, называемого автором «переходным», т. е. тех случаев, когда инфинитив в одинаковой степени относится и к сказуемому, и к дополнению типа *Je lui donnerais les oiseaux à nourrir...* «Я дал бы ей птиц, которых она должна была бы кормить».

---

[1] M. Diaz y Diaz, Antologia del latin vulgar, Madrid, 1950; G. Rohlfs, Sermo vulgaris latinus, Halle/Saale, 1951.

Одному из вопросов развития сложноподчиненных предложений—становлению условных периодов во французском и провансальском языках посвящена обстоятельная статья М. Гурычевой «Из истории условных предложений галло-романской группы языков». Автор отмечает в качестве особенностей условного периода в старофранцузском и старопровансальском возможность объединения протасиса и аподосиса различной модальности и частые случаи выражения модальности лексическими средствами. М. Гурычева считает, что в процессе развития условных периодов как во французском, так и провансальском языках происходит устранение оттенков волеизъявления из выражения отношений условия и следствия, постепенное распределение типов условных периодов по временным планам, а также постепенное ограничение тех типов условных периодов, в которых не выражалось отношение временной последовательности между протасисом и аподосисом. Это развитие приводит к установлению во французском и провансальском языках определенных синтаксических типов для выражения отношений условия и следствия. Сравнительный план изучения позволяет автору проследить ряд закономерностей синтаксического развития, общих для французского и провансальского языков.

Категория переходности и непереходности во французском языке рассматривается в статье Е. Реферовской «Переходность и непереходность во французском языке». Автор прослеживает колебания в отношении переходного и непереходного характера глаголов в латинском языке и на конкретных примерах (кстати, трудно согласиться с переводом автором слова *veltres* на стр. 241) показывает, что то же самое явление наблюдается и в процессе всего развития французского языка вплоть до современного, в котором имеет место двойственное осмысление глаголов (в плане переходности и непереходности). Эти факты колебания между переходностью и непереходностью автор склонен рассматривать как признак того, что и в современном языке нет твердой грани между данными категориями.

Вопрос о природе оборота *être* + инфинитив (*j'ai été faire qch.*) ставится в статье Н. Штейнберг «Об одной сложной глагольной конструкции в современном французском языке». Автор делает попытку определить условия возникновения этого оборота и наметить пути его дальнейшего развития. В статье приводится ряд ярких и показательных примеров, свидетельствующих о том, что сочетание *être* + инфинитив является живой и развивающейся формой.

Только одна статья О. Шварца «К вопросу о соотношении фразеологии с лексикой и грамматикой» посвящена вопросу о фразеологических сочетаниях во французском языке. В первой части статьи автор ставит перед собой задачу — определить сочетания типа *belle-mère* и *petite table* (несколько неясно, почему оба эти сочетания рассматриваются вместе). Во второй части О. Шварц стремится установить признаки, которые отличают сложные слова, представляющие сочетание подвижных компонентов, от соответствующих устойчивых словосочетаний.

Иберо-романским языкам посвящены статьи О. Васильевой-Шведе, Х. Гомеса, К. Державина, Е. Панфилова, Г. Степанова и В. Федорова.

В обширной статье О. Васильевой-Шведе «К вопросу о категории вида в иберо-романских языках (глагол *estar* + герундий)», содержащей большой иллюстративный материал (автор привлекает испанский, португальский и каталанский языки), ставится актуальный и до сего времени спорный вопрос о том, что представляет собой сочетание *estar* + герундий. Автор приходит к заключению, что, в отличие от других глагольных сочетаний с герундием (т. е. сочетаний *seguir*, *llevar* и др. + герундий), сочетание *estar* + герундий грамматикализовалось и превратилось в испанском, португальском и каталанском в аналитическую «видо-временную» глагольную форму. Несомненно, что рассматриваемое сочетание представляет собой определенное единство: об этом красноречиво говорят такие примеры, как исп. *ahora estoy escribiendo* или португ. *estão agora soffrendo*. Обстоятельственное слово в примерах этого типа относится ко всему сочетанию в целом, а не к какому-либо одному из его компонентов. Однако возникает сомнение, имеются ли достаточные основания для того, чтобы приравнивать сочетания типа *estoy diciendo* к таким формам, как *ha dicho*, *ha sido dicho* и т. п. В формах, подобных *ha dicho*, личная форма от *haber* является только показателем временных отношений, а форма *dicho* — лишь носителем лексического значения глагола. Но в какой мере мы можем сказать то же самое в отношении сочетания *estoy diciendo*?

Трудно принять замечание автора о том, что «возникновение описательных конструкций можно понять как известную реакцию против латинизирующих тенденций и следов латинской глагольной системы, которая уже не отвечала повышенным запросам совершенствующегося мышления, так как в использовании языка как средства живого общения возникла потребность выражения более тонких оттенков мысли, потребность выразить как можно точнее и разнообразнее характер действия» (стр. 136). Характер действия не обязательно может быть точно и разнообразно выражен лишь при помощи описательных видовых конструкций: французский язык использует для этого преимущественно лексические средства, а имевшийся в старофранцузском языке оборот для выражения длительности действия типа *est passanz*, *est cornanz* им утрачен.

Не ясно, что имеет в виду автор, когда он говорит о развитии «описательных конструкций» в «грамматическую категорию вида» (там же).

В статье Х. Гомеса «Об историческом развитии испанских адвербиальных суффиксов *mente, guisa, cosa*» ставится вопрос о конкуренции *guisa* и *cosa* с *mente* в адвербиальном употреблении. Однако из данных самой статьи явствует, что ни *guisa*, ни *cosa* не выступали по существу как грамматические форманты, образовывавшие наречие, а скорее создавали наречные выражения.

В статье «Поправка к одному из разделов „Исторической грамматики испанского языка" Ф. Гансена» Е. Панфилов остроумно и убедительно объясняет приводимые в указанной грамматике примеры употребления в испанском языке конструкции *a* + прямое дополнение для обозначения неодушевленного предмета. Автор считает такое употребление калькой с еврейского, так как эти примеры встречаются в испанских переводах библии с древнееврейского.

В. Федоров в статье «Выражение предикативного состояния в испанском и португальском языках» поднимает вопрос о необходимости пересмотреть обычно принятое в испанских и других зарубежных грамматиках мнение, что глагол *ser*, употребляясь в качестве связки, обозначает постоянное качество, свойство или состояние, а глагол *estar* — временное, преходящее качество (свойство, состояние).

Вопросам испанской лексики посвящены две статьи — Г. Степанова и К. Державина. В статье Г. Степанова «Элементы народно-разговорной речи в лексике Сервантеса» содержатся интересные и тонкие наблюдения над использованием в произведениях Сервантеса народных и просторечных элементов. В «Этимологических заметках» К. Державина мы находим толкования этимологий нескольких испанских слов (дается этимология имени вымышленного автора Дон Кихота — *Cid Hamete Benengeli*, а также приводится соотношение этимологии слов: исп. *zaraza* — русск. *зараза*; исп. *galimatias* — русск. *галиматья*; исп. *majorca* — русск. *мажорка*).

Исследования по румынскому языку представлены статьей Р. Будагова «Некоторые особенности образования множественного числа имени существительного в румынском языке». В этой статье автор ищет объяснения, почему окончание *i* в румынском языке стало типичным окончанием множественного числа имен существительных, распространившись, помимо существительных мужского рода, и на существительные женского и обоюдного родов.

Автор солидаризируется с мнением И. Иордана, который считает, что благодаря особенностям фонетического развития румынского языка, распространение окончания *i* способствует более четкому разграничению единственного и множественного числа имен существительных. Тенденцию к более четкому противопоставлению единственного и множественного числа в румынском автор объясняет тем, что в румынском, как и в других романских языках, именно категория числа оказывается наиболее устойчивой, тогда как категории рода и падежа являются пережиточными. Р. Будагов пишет: «Категория рода является в значительной степени уже пережиточной, категория падежа имени существительного сохраняется лишь в некоторых романских языках, категория же числа, напротив, является наиболее живой и ощутимой в системе имени существительного во всех романских языках. Этим объясняется и тенденция в современном румынском языке усилить, сделать более четким морфологическое противопоставление единств. и множ. числа» (стр. 90). Возникает вопрос, в какой мере категорию рода в романских языках можно считать пережиточной; если она и не находит своего оформления при помощи флексии, то она систематически в романских языках оформляется артиклем.

Хорошо представлены в сборнике историко-литературные статьи. Большой интерес не только для литературоведов, но и для лингвистов-романистов представляет статья А. Смирнова, в которой дана критика упрощенческого понимания сущности и истоков куртуазной литературы. В этой же статье мы находим и яркую характеристику творчества Марии Французской.

Содержательное исследование М. Алексеева об источниках знакомства Монтеня с русской историей раскрывает многосторонность интересов Монтеня. Насыщены материалом статьи по французской, испанской и итальянской литературе. Очень тонко и тщательно сделан Б. Ларины м напечатанный в сборнике перевод санскритского текста «Поэтики» Вамана.

В заключение следует сказать, что сборник весьма разносторонне отражает работу советских лингвистов и литературоведов в области романских языков и литератур. Некоторый упрек можно было бы сделать лишь в отношении оформления сборника (являющегося юбилейным). Непривлекательна обложка, очень велик и, следовательно, неудобен, формат, много опечаток помимо тех, которые отмечены издательством. Заглавие не вполне отвечает содержанию: из 29 статей только 2 посвящены вопросам германской филологии (статьи М. Гребли н-Каменского и М. Тронской). Сборник мог бы быть оформлен гораздо лучше.

Н. А. Катагощина

Словарь языка Пушкина в четырех томах. Т. I. А.—Ж. Сост. *С. И. Бернштейн, А. Д. Григорьева, И. С. Ильинская, В. Д. Левин, С. И. Ожегов, В. А. Плотникова, В. Н. Сидоров*. Ред. тома *И. С. Ильинская*. — М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956. 807 стр. Прил. на 51 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

Выход в свет первого тома «Словаря языка Пушкина» — большое событие в нашей культурной жизни. Мы до сих пор испытываем недостаток в различных словарях — толковых и исторических. Особенно остро ощущался недостаток словарей языка писателей. «Словарь языка Пушкина» — естественное начало в этой отрасли нашей лексикографии.

Мысль о создании пушкинского словаря зародилась более полувека назад. Однако ни одна из попыток его составления в прошлом не увенчалась успехом. Две трудности помешали этому. Во-первых, в старых, дореволюционных условиях не легко было осуществить такое большое коллективное дело, как составление полного словаря языка Пушкина. Во-вторых, созданию словаря должна была предшествовать большая текстологическая работа, издание действительно полного и научно подготовленного собрания сочинений Пушкина. В советскую эпоху усилиями широкого круга пушкинистов было подготовлено многотомное полное собрание сочинений писателя, вышедшее в 1937—1949 гг. На это авторитетное издание и опирается «Словарь языка Пушкина».

Общие принципы составления Словаря и основные приемы толкования слов в нем обстоятельно изложены во вводной статье «Содержание и построение словаря». В этой рецензии мы скажем лишь об основных достоинствах словаря и о замеченных нами противоречиях и недостатках его. Исчерпывающую характеристику нового издания следует, конечно, отложить до его полного завершения.

«Словарь языка Пушкина» относится к типу словарей-справочников. Первое достоинство такого словаря — в полноте его состава. Эта полнота зависит, во-первых, от охвата различных лексических разрядов и случаев словоупотребления, а во-вторых, от объема привлеченных текстов. Настоящий Словарь — в принципе полный словарь языка Пушкина. Однако составителями все-таки было принято несколько ограничений, оговоренных во вводной статье. Следует отметить как особое достоинство издания то, что оно в пределах избранных текстов охватывает всю полноту их словарного состава (речь идет о словах нарицательных[1]).

Сложнее оказался вопрос о включении в Словарь имен собственных и географических названий. Вопрос этот не посторонний и не праздный. Л. В. Щерба напоминал в свое время о распространенном мнении, что собственным именам нет места в общем словаре, и указывал, что с этим мнением «как будто можно и д о л ж н о спорить»[2].

Решив вообще не включать собственные имена и географические названия в словарь, его составители пошли, однако, на включение отдельных имен. Во-первых, собственные имена включаются в Словарь, если они употреблены как нарицательные; во-вторых, в него включаются имена мифологические и традиционно-поэтические (например, *Лида, Лилета, Делия* и т. п.), играющие обычно «в творчестве Пушкина определенную стилистическую роль» (стр. 11). Однако, вступив на путь отдельных исключений из общего правила в отношении имен собственных, составители Словаря недостаточно точно очертили границы этих отступлений и не вполне последовательны в проведении определенных принципов.

Понятно, что даже если бы было принято общее положение о включении собственных имен в Словарь, нет практической необходимости вводить в с е упоминаемые писателем собственные имена исторических лиц и сильно увеличивать (без особой пользы) объем Словаря уже потому, что указатель имен, упоминаемых Пушкиным, читатель найдет в соответствующих томах академического издания его сочинений. Дать необходимые сведения об этих лицах словарь такого типа все равно не мог бы — это и не его задача. Тем более важно было выработать ясные, теоретически и практически обоснованные принципы отбора этих слов.

---

[1] Замечу, однако, что вряд ли может быть вполне оправдано исключение иностранных слов, воспроизведенных средствами соответствующих иноязычных алфавитов, хотя те же иностранные слова, воспроизведенные средствами нашего алфавита, в Словарь включаются. Это ограничение, конечно, чисто внешнее. За пределами пушкинского словаря оказываются при этом даже такие характерные случаи, как *Madame, Monsieur* («Евгений Онегин», гл. I, строфа III), *dandy* (там же, строфа IV), *exil* («Amour, exil...»). Может быть, составители Словаря в последнем томе издания дадут перечень иностранных слов и выражений употребляемых Пушкиным в русских текстах в иностранной транскрипции. В Словарь не включены также количественные и порядковые числительные, изображенные полностью или частично при помощи цифр (18, 18-го и пр.).

[2] См. Л. В. Щ е р б а, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, стр. 98 (разрядка моя.— *Ю. С.*).

Что касается включения в Словарь всех случаев нарицательного употребления собственных имен, то вряд ли это многое дает для характеристики пушкинского языка или языка его эпохи. Одно дело, конечно, такие собственные имена, как *Аристид*, *Геростратъ*, ставшие словами-характеристиками. Другое же дело — употребление любого собственного имени в несколько сдвинутом, обобщенном значении, отчего оно не перестает быть именем собственным, хотя на первый план выступают не все, а лишь определенные качества и свойства того лица, которое носит это имя. Ср. такие примеры, как: «Набралось у нас несколько своих Пиндаров, Ариостов и Байронов»; «Улыбка, взоры, нежный тон Красноречивей, чем Вольтеры, Нам проповедают закон...» и т. п. В Словарь включаются и случаи такого рода (см. статьи *Ариост*, *Байрон*, *Вольтер*) и даже *Арион* из названия известного стихотворения, однако отсутствуют имена *Данте* (*Данн*) («Суровый Дант не презирал сонета...»), *Баратынский* («Или как Гамлет Баратынский над ним задумчиво мечтай»; «Черн»), *Булгарин* и т. п., являющиеся не просто указаниями на те или иные исторические лица, но прежде всего связанные с характеристикой определенных лиц, типов, их свойств и т. д. Среди собственных имен, включенных в первый том, находим «***Аффений***[1] [греческий писатель 3 в.н.э.] (1). О его произведениях. (Из Афенея)»; «***Гезиод*** (1). Древнегреческий эпический поэт. Взяв божественную лиру, [Так] поведали бы миру Гезиод или Омир:». Первый случай относится к несколько смещенным, метонимическим случаям употребления имени собственного, но, конечно, нельзя видеть здесь употребление его в значении нарицательном. Ср. также статью ***Анакреон***, где даны ссылки не только на нарицательное употребление собственного имени. Но тогда почему же мы не находим здесь имени *Гафиза* (ср. стихотворение 1829 г. «Из Гафиза») и некоторых других? Если включено имя Гезиода, употребленное в собственном смысле, то почему же нет Гомера, имя которого употребляется не раз и в сдвинутом, метонимическом смысле (ср. хотя бы: «Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера»)? Все это следует отнести за счет отсутствия вполне четкого и последовательного подхода к категории имен собственных. Вполне естественно, что в Словарь включены мифологические и условно-поэтические имена (и типа *Лида*, *Лилета*, *Делия*, и типа *Бибрус*, *Бестолков*, *Вивгов*)[1]. Но почему же к этим стилистически значимым условно-поэтическим именам и к полемико-ироническим кличкам не присоединены не менее значимые для поэтики Пушкина собственные имена его персонажей, такие, как *Евгений*, *Татьяна*, *Чарский*, *Буянов* (имя, кстати сказать, успевшее после В. Л. Пушкина стать и традиционным) и т. п. Таким образом, в ограничениях, касающихся собственных имен, мы не видим до конца проведенного единого принципа; он заменен соображениями довольно внешнего свойства, к тому же не вполне последовательно осуществляемыми.

Полнота Словаря писателя определяется объемом привлеченных текстов. В этом смысле труд составителей «Словаря языка Пушкина» заслуживает нашего признания. Они привлекли почти весь материал, данный в академическом издании как основной текст. Правда, и тут сделаны небольшие ограничения непринципиального характера, по поводу которых можно высказать сожаление. Почему, например, сделано исключение в отношении лексического материала «Истории Петра», «Заметок при чтении „Описания земли Камчатки" С. П. Крашенинникова» и раздела «Наброски и планы поэм», если в словарь вошли материалы «Записок бригадира Моро-де-Бразе», сохранившиеся лишь в черновом автографе, ряд набросков и планов публицистических и литературно-критических статей и заметок? Сами составители Словаря понимали, что подобные ограничения не носят принципиального характера, и оправдывали их лишь ссылкой на нежелательность «откладывать завершение дела до очень далеких и неясных сроков»[2]. Но ведь исключенный материал, указанный выше, составляет едва ли более 1/10 части всего словарного материала.

Вряд ли его дополнительное привлечение могло намного удлинить сроки подготовки Словаря, а между тем выигрыш в полноте был бы несомненный и прибавка была бы принципиально оправдана.

Вопрос о привлечении материалов, помещенных в академическом издании в разделе «Другие редакции и варианты», был более сложным и требовал более тонкого и осторожного подхода, чем тот, на котором остановились составители Словаря. Состав текстов, включенных в основной раздел академического издания сочинений, так же как и состав текстов, вошедших в раздел «Другие редакции и варианты», явно неоднороден. С одной стороны, редакция этого издания включила в основной его текст (особенно это относится к лирике Пушкина и к его критике и публицистике) и то, что было вполне закончено, отделано и апробировано самим поэтом, и то, что было им лишь начато, вчерне набросано и часто даже затем отброшено как материал, не подходящий для дальнейшей разработки. С другой стороны, когда речь шла об одном художествен-

[1] Жаль, между прочим, что не всегда даются необходимые историко-этимологические справки при таких именах (например, их нет в словах *Дафнис*, *Делия* и др.).

[2] См. «Проект словаря языка Пушкина», М.— Л., 1949, стр. 15.

ном замысле, редакция академического издания относила к разделу «Другие редакции и варианты» и такие части произведения, которые на определенной стадии работы поэта над этим произведением были им окончательно отделаны, иногда даже опубликованы, но затем, по тем или иным соображениям, исключены из произведения и потому не могут быть отнесены к окончательной его редакции (ср., например, исключенные две сцены из «Бориса Годунова», четыре начальные строфы из гл. IV «Евгения Онегина», которые были в свое время Пушкиным опубликованы в виде особого отрывка «Женщины»). Все это оправдано как прием текстологический при издании сочинений. Но ведь перед составителями Словаря были совсем другие цели и задачи, и им не нужно было механически следовать за рубриками издания сочинений.

В результате получилось, что в Словарь в качестве иллюстраций попало немало таких примеров, которые даже при первом взгляде можно расценить только как сугубо черновые наброски, которые иначе не мог рассматривать и сам поэт; нередко — это фразы, где редакторских конъектур не меньше, чем слов, идущих от автора, фразы, не имеющие у Пушкина иногда даже смысловой законченности. Вместе с тем в «Словарь языка Пушкина» не попали некоторые образцы его ювелирной поэтической работы, и не попали только потому, что они — и, конечно, не по соображениям стилистико-языковым, а по более широким, относящимся к композиции целого,— не вошли в окончательный печатный текст произведения. Составители, как видно это из соображений, высказанных в изданном в 1949 г. «Проекте словаря», также понимали условность принятого ими отбора текстов, понимали, что не может быть вполне оправдано с принципиальной точки зрения невключение лексического материала «Других редакций и вариантов». Действительно, включение в Словарь всех, даже черновых, вариантов пушкинского текста позволило бы читателю видеть среди лексических материалов не только то, что Пушкин сознательно выбирал, к чему он стремился, но и то, от чего он в ходе работы, в процессе своего творческого роста и развития отказывался. Это все обогатило бы читателя Словаря принципиально важным и интересным материалом. Такие максимальные требования остаются на будущее, и,может быть, мы увидим еще со временем дополнительный том Словаря, посвященный лексическим материалам других редакций и вариантов. Наши теперешние пожелания более ограничены. Мы хотели бы, чтобы, во-первых, в словарь вошли лексические материалы текстов вполне внутренне обработанных, законченных, хотя и не вошедших в состав более крупного целого; мы хотели бы, чтобы, во-вторых, в Словаре были как-то внешне (шрифтами, условными обозначениями) выделены словарные материалы, относящиеся к текстам необработанным, черновым, хотя и отнесенным в академическом издании сочинений к его основному разделу. Думается, что это можно было бы уже провести и в последующих томах Словаря.

В Словарь, как мы читаем далее во введении (стр. 11), «не включается... материал цитат, приводимых Пушкиным, если они выделены кавычками или иным способом и не входят органически в структуру его предложения». Опять-таки решение чисто внешнее. Перестают ли чужие слова быть чужими, если они по тем или иным причинам не выделены «кавычками или иным способом»? Но в Словаре в таких случаях не предусмотрено никаких указаний на то, что это все-таки не пушкинские слова. В Словаре мы также практически сталкиваемся с нарушением сформулированного во введении правила. Во всяком случае мы нашли среди иллюстраций много примеров, взятых из цитат, правда, из цитат переводных. [Ср., например, иллюстрацию при первом значении слова *варварский* (цитата из Шатобриана); ссылки при словах *время, высокий, благородный, величайший, дорога* и др. (цитата из Вольтера); цитату на слово *генуэзский* и ссылки на слова *дерзнуть, дож* и др. (перевод речи Скриба) и т. д.] Везде эти цитаты взяты в тексте в кавычки, и нигде в Словаре не оговорено, что слово — из цитаты. Конечно, переводные цитаты находятся несколько на особом положении, когда они являются переводом самого поэта. Но все-таки они не есть собственно пушкинские по языку и стилю и часто далеки Пушкину по мыслям. Во всяком случае, если уж и вводить их в словарь, то, во-первых, нужно было оговорить это во введении, а во-вторых, при соответствующих примерах указывать обязательно, что это цитаты из других авторов.

Насколько важно указание на цитатный материал (даже и переведенный самим Пушкиным), показывает хотя бы следующий пример. Если бы при слове *жреби* «мертвец» (у североамериканских индейцев) было прямо указано, что оно выступает в переводной цитате из записок Теннера,то были бы сразу очерчены условия появления этого слова у Пушкина.

Сделав эти замечания об объеме и составе «Словаря языка Пушкина», перехожу к анализу принципов и приемов описания и толкования в Словаре внесенных в него слов и выражений. Следует согласиться с утверждением, что Словарь языка писателя «не может рассматриваться как толковый словарь в собственном смысле этого слова» (стр. 10). Действительно, нет никакой нужды в таком словаре во всех случаях давать толкования многих общеизвестных слов. Словарь языка писателя неизбежно является

словарем дифференциальным. Мы не сделаем упрека составителям и в том, что они не ставили своей задачей в данном Словаре отметить и указать все особенности поэтического употребления слова у Пушкина. Это — задача многих будущих исследований о языке и стиле Пушкина. Словарь языка писателя — прежде всего словарь-справочник, дающий материал для дальнейшего углубленного изучения языка писателя, стиля его произведений. Нам кажется, что в таком словаре нужна даже особая осторожность, чтобы путем излишних и недостаточно еще обоснованных толкований не помешать правильному пониманию словоупотребления Пушкина, чтобы не навязать читателю слишком прямолинейного и одностороннего толкования слова, употребленного Пушкиным. В этом отношении излишне дробное выделение смысловых оттенков слов, наблюдающееся в ряде словарных статей первого тома, представляет известную опасность[1].

Нередко при этом за смысловой оттенок основного значения слова принимается то, что является по существу значением сочетания слов. Излишнее выделение смысловых оттенков, определяемых нередко при помощи подстановки различных синонимов, вызывает иллюзорное представление о раздельности, разграниченности того, что по существу является единым значением. В академических словарях сложилась неплохая традиция выделения, в пределах единого значения, типических сочетаний данного слова с другими словами, относящимися к различным сферам, — сочетаний, несколько смещающих, хотя и не изменяющих сколько-нибудь заметно само данное значение отдельного слова. Отчего бы не последовать за этой традицией и составителям словаря языка писателя, где, конечно, особенно важно не разделение единого, а демонстрации переливов поэтического употребления слова в разных контекстах?

Ниже, на отдельных примерах, мы хотели бы показать те опасности, которые таит в себе путь слишком прямолинейного разделения единого по существу значения на семантические оттенки.

Так, в слове *бледный* после первого значения: «слабо, неярко окрашенный, бесцветный» (ср. сочетания: «бледных туч», «бледное небо», «мрамор бледный», «бледных уст») следует пример с пометой «перен.»: «Красавиц наших бледный круг В ее сияньи исчезает», а затем оттенок, формулируемый: «неяркий, тусклый» (ср. сочетания: «при бледном свете», «бледный день», «луною бледной», «пламя бледное... очей»). Но где проходит здесь смысловая демаркационная линия, читателю установить трудно. Почему определение «неяркий, тусклый» не может быть отнесено и к сочетанию: «бледное небо» или «бледные тучи», когда оно отнесено к сочетанию «бледный свет», «луна бледная»? Не лучше ли здесь было пойти по пути выделения отдельных рядов характерных сочетаний? В слове *бездействие* наряду с основным значением «отсутствие какой-нибудь деятельности, занятий, ничегонеделание» выделен оттенок «праздность». Но разве сами по себе *ничегонеделание* и *праздность* не синонимичны? Любопытно, что на следующей странице Словаря под словом *безделье* таких различий между *праздностью* и *ничегонеделанием* не устанавливается.

Совсем трудно понять разграничение значений в тех случаях, когда одно из них определяется словом настолько общим, что оно свободно включает в себя и все последующие толкования. Так, при слове *единый* мы находим раскрытие первого значения при помощи синонима «один», а далее следуют значения, определяемые: «единственный, только один»; «один и тот же» (ср. еще оттенки: «хотя бы один, даже только один»). Но ведь само слово *один* включает в себя все эти выраженные далее смысловые оттенки!

Можно было бы привести еще ряд аналогичных примеров излишней, недостаточно обоснованной и не вполне ясной для читателя разграниченности смысловых оттенков (например, в словах: *безбожник, безбожный, безумный, важный, ваш, венец, венчать, верить, веселье, гармонический, годовой, ездить, ехать, жадный, жалкий, жаркий, жестокий, жизнь, жить* и некоторых других).

Выше мы говорили о нежелательной многозначности знака //, имеющей место в Словаре. Нельзя не указать и на неопределенность употребления во многих случаях пометы «перен.». С этой пометой нередко даются не только случаи действительно переносного употребления слова, но и всякого образного его применения; с этой же пометой представлены и различные случаи фразеологически смещенного применения слова. Р.С эту помету при слове *жеманный* в цитатах из «Графа Нулина» и «Евгения Онегина», говорящих о «жеманном коте»; в слове *геральдика* в отношении цитаты с оригинальным сравнением: «Орфография, сия геральдика языка...». Даже в цитате: «Мне жаль,= = = Что геральдического льва Демократическим копытом Теперь лягает и осел»— составители находят переносное употребление слова *демократический*.

[1] Заметим кстати, что вряд ли удобно пользоваться одним и тем же знаком // (он уже стал обычным в наших различных толковых и двуязычных словарях для выделения семантических оттенков отдельного слова) для обозначения, как об этом говорится во вводной статье (стр. 14), во-первых, смысловых оттенков основных значений слова, зависящих от контекста; во-вторых, различного рода случаев метонимического употребления слова; в-третьих, характерных для того или иного слова синтаксических связей.

Большая часть толкований общих значений слов в первом томе Словаря достаточно точна и правильна. Однако и среди них встречаются некоторые, с которыми трудно или нельзя согласиться. Здесь укажем наиболее существенные из этих случаев. В слове *варвар* первое значение определяется: «представитель народа, стоящего на крайне низкой ступени развития культуры». Это определение не соответствует ни обычному бытовому представлению, ни традиционному терминологическому употреблению слова. Правильнее было бы говорить о народе, не причастном к цивилизации, нецивилизованном. В этой же статье при втором значении слова («некультурный, невежественный человек») дается цитата из стихотворения 1816 г. «К Жуковскому», цитата иронико-полемического характера, направленная против сторонников «старого слога», членов шишковской «Беседы»:

Летите на врагов и Феб и Музы с вами!
Разите варваров кровавыми стихами;
Невежество, смирясь, потупит хладный взор,
Спесивых риторов безграмотный собор...

Хотя два последних стиха и позволяют как будто бы согласиться с приведенным в Словаре толкованием слова, однако на самом деле его значение здесь ближе всего к исходному историческому, сложившемуся еще в античном мире, т. е.: «чужеземец, иноплеменник», к значению, сохранявшемуся и в церковнославянском употреблении (ср. Словарь 1847 г.), здесь, несомненно, пародийно воспроизведенному у Пушкина. В прилагательном *варварский* (при первом его значении) дана переводная цитата (из Шатобриана), где говорится о варварских племенах применительно к историческому пониманию этого термина, сложившемуся в древнем Риме. Однако значение слова *варварский*, которое подкрепляется этой цитатой, сформулировано как «прилагательное к варвар в 1 знач.», т. е. к слову *варвар* в смысле: «представитель народа, стоящего на крайне низкой ступени развития культуры». Значение формы *валяй* (в цитате из письма П. А. Вяземскому от 14—15 августа 1825: «Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь. Перемени как-нибудь, валяй его с каких-нибудь стремнин, вершин и тому подобное») совершенно неправильно понято и истолковано как современное просторечное употребление этого глагола: «для выражения побуждения к какому-нибудь действию». Между тем здесь правильнее видеть перенесение на форму от глагола *валять* известного значения глагола *валить*: «опрокидывать, повергать, сбрасывать».

Слово *дипломатик* понято как простой синоним к слову *дипломат* (т. е. служащий по дипломатической части), между тем как его следовало бы определить: «интересующийся, занимающийся дипломатией» (ср. Словарь 1847 г.), что прямо вытекает и из соответствующей цитаты. Третье значение слова *галлерея* определено так: «помещение, где размещаются для обозрения произведения искусства». Однако цитата («Потом они занялись рассмотрением галлерей картин...») требует иного определения: «о собрании произведений искусства». Слова *демагог, демагогический* определены так, что можно подумать, будто для пушкинского времени и для самого Пушкина они были нейтральными, равнозначными словам *демократ, демократический*. Однако тогда они имели уже смысл более специфический, и цитаты из Пушкина указывают на это.

Слово *благочинный* истолковано как «благопристойный». Однако единственный пример употребления этого слова: «Так элегическую лиру Ты променял, наш моралист, На благочинную сатиру? Хвалю поэта — дельно миру! Ему полезен розги свист»— говорит о другом. *Благочинный* здесь значит «относящийся к благочинию, заботящийся о благочинии» в том устарелом теперь значении этого последнего слова (ср. Словарь 1847 г.: «добрый порядок, благоустройство»), которое выступает и в терминологическом сочетании: управа благочиния — как называлось городское учреждение с полицейскими и судебными функциями по гражданским и уголовным делам.

Можно отметить и определения неловкие или недостаточно четкие. Так, *басня* определено: «небольшое литературное произведение аллегорического характера с нравоучительным сюжетом». Однако у Пушкина в ряде цитат мы встречаемся с более расширительным применением этого слова, в смысле: «всякий аллегорический рассказ, иносказание, притча». *Дона* определяется так: «частица, присоединяемая к женским именам испанских дворянок» (разрядка моя. — *Ю. С.*). В статье *брюмер* толкуется лишь общее значение этого слова, тогда как, применительно к цитате, следовало бы толковать сочетание: 18 брюмера. Совершенно невозможно как оттенок к значению «кровеносный сосуд» в слове *жила* рассматривать особое значение «сухожилие». Можно было бы указать и еще на ряд аналогичных промахов и неточностей (например, в словах *вавакнуть, жезл, возгореть, журнализм* и некоторых других).

Мы вправе ожидать особо внимательного отношения к тем словам, которые имеют в речи Пушкина важное идейное или символическое значение. Таковы, например, в первом томе слова *вдохновение, жертва, жертвоприношение, жрец, алтарь* и др.

В поэтическом языке Пушкина они тесно связаны с определенной концепцией поэтического творчества, с отражениями романтического взгляда на искусство, с мифологической символикой, определенным образом полемически направленной у Пушкина. Но этого-то как раз мы и не узнаем из толкований словаря. Мы найдем здесь только формальные определения их общих значений: *алтарь* — «жертвенник»; *жертва* — «то же, что жертвоприношенье в 1 значении»; *жертвоприношенье* — «1. Принесенье жертвы... 2. То, что приносится в жертву»; *жрец* дано вообще без исходного определения.

Что касается слова *вдохновение*, то в этом случае (как и в других аналогичных) мы ожидали бы видеть известную перспективу смыслового развития такого значимого для Пушкина слова. Между тем сразу же за толкованием первого значения его («состояние творческого подъема») идет цитата из замечаний Пушкина на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следств. ‹венно› к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных». Этот знаменитый афоризм Пушкина, за которым сразу же следует важное пояснение, что «вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии», направлен против романтических и идеалистических представлений о вдохновении, смешивающих вдохновение с восторгом. Указанный афоризм есть итог серьезнейшего духовного развития Пушкина, в нем отражен процесс формирования его как реалиста. Между тем описание первого значения слова *вдохновение* в Словаре, подбор цитат и их расположение не дает и намека на эволюцию данного понятия у Пушкина. Понятно, что Словарь языка писателя не может быть в полном смысле идеографическим словарем, но все-таки, в пределах возможного, следует пожелать, чтобы в последующих томах составители Словаря с бо́льшим вниманием отнеслись к толкованию и описанию тех слов, которые являются общественно-политическими и философско-эстетическими терминами, важными для характеристики мировоззрения Пушкина. Особая группа лексики нуждается и в особом подходе к ней.

Если говорить о противоречиях Словаря, то нельзя не отметить, что в нем сочетается некоторая излишняя щепетильность и уклончивость с отдельными проявлениями неожиданной в таком словаре неосторожности. Так, редакция его отказалась от стилистической характеристики слов «в силу слабой разработанности исторической стилистики русского языка» (стр. 10). Однако в довольно обширном ряде случаев это можно и нужно было сделать, скажем, в виде исторических справок о том, с какими стилистическими пометами выступали те или иные слова, например, в современных для того времени словарях (в «Словаре Академии Российской» и Словаре 1847 г.). Это, без сомнения, показало бы, из каких стилистических слоев тогдашнего языка черпал слова Пушкин, избавило бы читателя от необходимости постоянно наводить справки по старым словарям[1].

Вместе с тем, помимо уже упомянутой выше неосторожной детализации в выделении смысловых оттенков слова, мы видим явную неосторожность, своего рода составительский «домысел» и в выделении омонимов. Как омонимы представлены, например, здесь и слова: *бедный* и *бедняк* (в их социально-экономическом и эмоционально-экспрессивном значениях), *беспорядочный*, *ближний*, *вольный*, *воля*, *выговор*, *глава*, *глагол* (в смысле «слово, речь» и в значении грамматического термина), *довольный*, *достать* и т. д. Каковы бы ни были теоретические соображения составителей[2], вряд ли можно считать это вполне обоснованным. Нужны еще исторические изыскания, не менее значительные, чем изыскания в области исторической стилистики, чтобы доказать, что Пушкиным и его современниками эти слова (например, *бедняк* в указанных двух значениях) действительно рассматривались как омонимы, разные слова.

Проявлением неосторожности мы считаем и те случаи, когда конъектуры редакторов академического издания сочинений Пушкина фиксируются в Словаре как случаи собственно пушкинского словоупотребления. При слове *гнусный* мы находим в качестве одного из примеров: «Иди, и с вервием на выи К у.‹бийце› <?> г.‹нусному› <?> явись». Как бы ни было остроумно, убедительно и правдоподобно такое прочтение, однако оно все-таки принадлежит редактору, а не является бесспорным фактом пушкинского словоупотребления.

Не вполне последовательно выдерживается в первом томе принятое правило — не давать толкований слов, употребленных у Пушкина в одном значении и при этом совпадающем с современным употреблением данного слова (ср., например, толкования при словах: *барщина*, *бедокур*, *вассал*, *ваятель*, *вельможа*, *гадкий*, *жалованье*, *живо-*

[1] Отмечу, между прочим, что, вопреки отказу составителей от стилистических помет, при отдельных словах мы все-таки находим указание на некоторые стилистические условия употребления слова (ср., например, слова *гей*, *еднорал* и *енарал*, *девчонка*, *баба*, *батька*).

[2] В этом отношении мы не видим в Словаре, впрочем, особой последовательности, какой-либо системы: не разделены на омонимы слова *благодать*, *дорогой*, *вольность*, *душа*, даже *гость*, в то время как выделены омонимы *благо*, *бедный*, *вольный* и т. п.

писать, евангелие, евангелист, единомышленник, единоначатие). Значительно реже встречаются в Словаре случаи отсутствия необходимых толкований, как, например, при слове *гад*. Ведь в известном стихе из «Пророка»: «И гад морских подводный ход»— слово *гад* вряд ли имеет современное значение «земноводное пресмыкающееся животное» (см. словарь под ред. Д. Н. Ушакова), а вероятно, обозначает вообще разные виды морского животного мира.

Есть в первом томе Словаря и отдельные технические упущения. Так, отсутствует ссылочная статья на вариант слова *воображенье* — «вображенье», хотя по правилам, принятым в Словаре, она должна быть дана. При слове *басня* приводится цитата из письма: «Все его (Дмитриева — *Ю. С.*) басни не стоят одной хорошей басни Крылова» Однако в перечне форм ссылки на это место и вообще на форму им. падежа мн. числа нет.

По правилам, принятым в этом Словаре, в одной статье даются лексические варианты, «по отношению к которым не наблюдается сколько-нибудь заметной тенденции к смысловой и стилистической дифференциации» (стр. 12). Тогда почему же не разъединены варианты *басурман* и *бусурман* (хотя последний выступает лишь в «Песнях западных славян», и, следовательно, в употреблении вариантов можно видеть какой-то стилистически разграничивающий момент), *героический* и *ироический*, *геройский* и *иройский* (здесь стилистическая дифференциация даже более несомненна, чем в ряде соотношений полногласных и неполногласных вариантов)?

Для иллюстрации употребления слова не всегда выбраны лучшие цитаты.Так, при слове *деспотизм*, требующем точной характеристики, предпочтены очень ярким цитатам (о деспотизме Екатерины II из «Заметок по русской истории XVIII века» и о ненависти Пушкина к деспотизму из письма П. Б. Мансурову от 27 октября 1819 г.) менее выразительные цитаты из заметки «О г-же Сталь и о г. А. М-ве» и из стихотворения «Ты и я».

Сделаем одно замечание и о предисловии к Словарю. Оно кратко говорит о значении Пушкина в истории нашего литературного языка и характеризует замысел и назначение Словаря. Жаль лишь, что оно не касается хотя бы вкратце тех важнейших особенностей поэтического словоупотребления Пушкина, которые, как замечено в том же предисловии, не оказалось возможным показать в самом Словаре.

Составители приложили не мало усилий для того, чтобы сделать словарные статьи компактными, легко обозримыми, удобными для читательского восприятия, выразительно построенными. Хорошо разработана система условных сокращений в ссылках на пушкинские тексты. Ценным является изданное отдельной книжечкой (что очень удобно) приложение к Словарю, содержащее список условных обозначений произведений, указатели стихотворений, произведений критико-публицистических, писем и др. Хорошо, что в этих указателях приведены страницы, на которых напечатано данное произведение не только в академическом шестнадцатитомном, но и в академическом десятитомном издании сочинений. При помощи указателей читатель без труда отыщет любую интересующую его цитату. К сожалению, полиграфическая сторона издания оставляет желать лучшего (плохая бумага не всегда четкая печать, недостаточное разнообразие и выразительность применяемых шрифтов и условных знаков). Можно было бы, в частности, пожелать, чтобы для большей наглядности отдельные основные значения слов выделялись с красной строки, чтобы более четкими были знаки оттенков.

Составители и редакция Словаря проделали, бесспорно, большую работу и дали в руки читателю-специалисту важное и необходимое пособие. Издание пушкинского Словаря, несомненно, послужит делу дальнейшего развертывания исследовательской работы по языку Пушкина и его эпохи. Опираясь на собранный и систематизированный в Словаре материал, исследователь может сделать многие выводы и заключения, сосредоточить свое внимание, не затрачивая усилий на черновую и крайне трудоемкую работу подбора материалов, на углубленном анализе языка и стиля Пушкина. Читатели Пушкина найдут в Словаре необходимый справочный материал.

Отмеченные нами выше непоследовательности и недостатки в разработке и описании материалов первого тома Словаря отчасти естественны в таком еще новом и очень трудном деле, как составление полного Словаря языка писателя, отчасти устранимы, и мы будем рады, если сделанные выше замечания приведут к внесению необходимых улучшений, уточнений и дополнений в последующих томах.

Остается пожелать, чтобы эта работа была возможно скорее доведена до своего завершения. Нужно пожелать также, чтобы шире развернулась работа по подготовке словарей языка других наших великих писателей или отдельных выдающихся произведений русской литературы и чтобы дело это в дальнейшем совершенствовалось. При этом должны быть учтены как бесспорные достоинства данного первого большого опыта, так и его недостатки.

Ю. С. Сорокин

Р. И. Аванесов. **Фонетика современного русского литературного языка.**— [М.], Изд-во Моск. ун-та, 1956. 240 стр.

До сих пор в нашей литературе не существовало книги, в которой была бы систематически изложена фонетика русского языка. Поэтому следует ожидать, что книга Р. И. Аванесова, в которой сквозь призму учения о фонеме рассматриваются все основные проблемы русского произношения (кроме интонации), будет встречена с большим интересом и привлечет пристальное внимание разнообразного круга читателей.

Теоретические основы рецензируемой работы изложены в первом разделе —«Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы», который был опубликован в виде отдельной статьи под тем же названием еще в 1955 г[1]. Ввиду того, что эта статья (соответственно — указанный раздел книги) до сих пор не получила отклика в печати, а также ввиду того, что все построение книги и самый метод изложения остальных разделов ее определяется содержанием первого раздела, представляется вполне уместным сосредоточить на нем главное внимание настоящей рецензии.

На протяжении ряда лет между школой акад. Л. В. Щербы и московской фонологической школой шли споры по поводу понятия фонемы. Резкие полемические формы, в которых эти споры протекали (и в которых повинен также и пишущий эти строки), не способствовали плодотворному развитию теории фонемы. Они лишь внешне углубляли расхождение между спорящими сторонами, а само существо дела не становилось более ясным для широких кругов языковедов. Поэтому имевшие у нас место фонологические дискуссии разочаровали читателей, хотя в ходе последней дискуссии, проходившей на страницах «Известий Академии наук (ОЛЯ)», у представителей обеих школ обнаружилось единство мнений по поводу недопустимости отрыва фонологии от фонетики.

Отсутствие расхождений в вопросе, имеющем столь важное принципиальное значение, все больше наводило на мысль, что весь спор носит в значительной степени терминологический характер. На это и указывал автор настоящей рецензии в своей диссертации[2]. Подобная мысль, вероятно, вдохновила Р. И. Аванесова вновь обратиться к старому спору, чтобы взглянуть на него с новой точки зрения. Ему удалось при этом не только правильно осветить сущность расхождений в учении о фонеме, но и высказать ряд очень интересных и важных мыслей.

Установив, что «исходным моментом во взглядах акад. Л. В. Щербы на фонему является словоформа» (стр. 37), а «исходным моментом во взглядах московских фонологов на фонему была морфема» (стр. 38), Р. И. Аванесов показывает, что обе точки зрения правильны и совместимы, так как отражают различные языковые факты: кратчайшую звуковую единицу в составе словоформы и кратчайшую звуковую единицу в составе морфемы. Соответственно автор предлагает различать два понятия — фонему и фонемный ряд[3]. В этом заключается основная идея Р. И. Аванесова. Ее большое положительное значение я вижу особенно в том, что не только фонема, но и фонемный ряд может рассматриваться как собственно фонетическое понятие.

Звуковой строй языка, разумеется, теснейшим образом связан с его грамматическим строем; вместе с тем он обладает известной самостоятельностью, независимостью от грамматического строя. Это обнаруживается прежде всего в том, что кратчайшие звуковые единицы не являются непосредственно грамматическими единицами и лишены собственного смыслового значения. Сказанное здесь является тривиальной истиной. Ее все же приходится повторять, чтобы подчеркнуть, что при определении кратчайших звуковых единиц языка следует, не забывая о связях фонетики с морфологией, оставаться все же на фонетической почве. Исходя из этого, соглашаясь с автором в вопросе о необходимости различать фонему и фонемный ряд, хотелось бы кое-что уточнить в ходе его рассуждений и в некоторых формулировках.

Фонемный ряд — это кратчайшая единица в составе морфемы или лексемы, т. е. слова как словарной единицы языка в совокупности всех его форм. Фонема — это кратчайшая единица в составе слова как единицы речи, т. е. словоформы. Фонема определяется тем, что она может служить в данном языке для различения слов. Отсюда вытекает, что если мы имеем в языке определенную пару фонем, то наличие той или иной из этих фонем будет обязательным для фонетической оболочки данного слова. Так, например, в русском языке имеются две фонемы — [d] и [t]; [t] является признаком слова *god*, выступающего в именительном падеже единственного числа, [d] — призна-

[1] Сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955.

[2] См. Л. Р. Зиндер, Общая фонетика. Автореф. докт. диссерт., Л., 1955, стр. 8.

[3] На необходимость отличать «кратчайший звуковой компонент морфемы» от «кратчайшего звукового признака, служащего для словоразличения и словоузнавания», впервые указал С. И. Бернштейн. Однако, сохранив для обеих единиц термин «фонема» и не развив свою мысль в достаточной степени, он не сделал ее понятной и убедительной (см. С. Бернштейн, Против идеализма в фонетике, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 6, стр 543, сноска 8; см. об этом также в статье «От редакции», ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 6, стр. 554).

ком слова *goda*, являющегося родительным падежом единственного числа. Это не означает, однако, что |t| и |d| могут считаться морфологическими признаками соответствующих падежей, так как появление той или иной из этих фонем определяется чисто фонетическим правилом.

Наличие разных фонем в составе одной и той же словоформы возможно только в том случае, если употребление их не зависит от фонетических условий. Такие произносительные варианты иногда встречаются (ср., например, приводимые в разбираемой статье *платишь* и *плотишь*, *калоша* и *галоша*) что не опровергает указанных свойств фонемы.

Фонема выявляется в результате непосредственного анализа речевого потока, в результате его членения. Реальность фонемы не может быть подвергнута сомнению. Эта реальность доказывается многовековой лингвистической практикой и самим существованием буквенной письменности. Именно с фонемой как со звуковой единицей языка во все времена имели дело языковеды[1]. Нужно сказать, что и те фонологи, которые теоретически отвергают рассматриваемую здесь трактовку кратчайшей звуковой единицы, фактически при определении состава фонем языка имеют дело именно с ней. Этим и объясняется, что в вопросе о числе и составе фонем того или иного языка если и встречаются расхождения то они обычно не носят принципиального характера и связаны не с разной трактовкой понятия фонемы представителями разных школ, а с различием объема привлекаемого языкового материала. Так, например, одни исследователи считают, что в русском языке согласные |g| и |g'| фонематически противопоставляются; они исходят при этом из таких слов, как *гяур*, *Гюго*, *Гёте*, в которых |g| стоит перед гласными заднего ряда. Другие же считают эти слова, ввиду того, что они являются заимствованными, недоказательными; а так как в «исконно русских» словах *g'* в этой позиции не встречается и так как нет такой пары слов, звуковой облик которых различался бы только наличием |g| или |g'|, то они признают эти согласные оттенками одной фонемы. Интересно отметить, что Р. Якобсон, ранее придерживавшийся последней точки зрения, на основании отмеченной Обнорским пары *берега* и *берегя* (деепричастие от *беречь*) признал *g* и *g'* разными фонемами[2].

Итак, фонема выявляется благодаря ее словоразличительной функции, обнаруживаемой во всем многообразии словоформ, встречающихся в данном языке. Анализ звуковой стороны языка, однако, показывает, что если одна и та же словоформа характеризуется вполне определенным составом фонем, то это свойство не обнаруживается в лексеме и морфеме. Оказывается, что одна и та же морфема может иметь в разных словоформах разный состав фонем. Более того, оказывается, что данное фонематическое противоположение, совершенно достаточное для различения словоформ, не может обеспечить в соответствующем языке постоянное различение морфем. Так, в русском языке нельзя найти двух морфем, которые различались бы тем, что в конце одной постоянно была бы фонема |d|, а в конце другой — фонема |t|. Напротив, в морфеме, имеющей в конце |d| в определенных фонетических положениях (в конце слов и перед глухими согласными), это |d| будет обязательно заменяться |t|. Именно эта неспособность фонематического противоположения постоянно обеспечивать различение всех значимых элементов языка и дает основание говорить о наличии наряду с фонемой более крупной, чем она, фонетической единицы — фонемного ряда.

Здесь важно подчеркнуть, что дело не в единстве морфемы, а в фонетической стороне вопроса. Фонемный ряд — это не все фонемы, чередующиеся в составе морфемы, а только фонемы, находящиеся в живом чередовании, регулируемом действующими в данном языке и в данное время чисто фонетическими закономерностями. Исторические чередования (хотя и они должны быть признаны фонетическими явлениями, а не морфологическими, поскольку они не нарушают единства морфемы) не образуют фонетического единства, так как не подчиняются никаким фонетическим закономерностям.

Р. И. Аванесов исходит в различении фонемы и фонемного ряда из двух типов чередований. Он видит принципиальное различие между этими типами в том, что одни являются параллельными, а другие пересекающимися. Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что первые никогда не образуют в данном языке фонематических противоположений (ср. d^{3} лабиализованное и d нелабиализованное в русском языке), тогда как вторые выступают как противополагающиеся фонемы (ср. |d| и |t| в русском языке). Пренебрежение этим признаком, также различающим два типа звуковых чередова-

[1] В этом смысле, мне кажется, и нужно понимать справедливое замечание редакции «Известий» о том, «что фонема — это не какая-то совершенно новая, вовсе неизвестная старому языкознанию единица, а всего лишь уточненное и, может быть, углубленное понимание «звука речи» и что, в частности, самый термин «фонема»..., надо думать, не так уж необходим («От редакции», стр. 554).

[2] См. E. C. Cherry, M. Halle, R. Jakobson, Toward the logical description of languages in their phonemic aspect, «Language», 1953, № 1, стр. 35, примеч. 7.

ний, ведет к стиранию грани между понятиями фонемы и оттенка (по терминологии московских фонологов, вариации) фонемы.

Неудачным кажется мне введение понятий сильной и слабой фонемы в дополнение к понятиям сильной и слабой позиции. Во всяком случае они противоречат той трактовке фонемы, которую предлагает сам автор. Так, с одной стороны, он — в полном согласии со своим определением фонемы — пишет на стр. 30, что «установление состава различных кратчайших звуковых единиц—фонем, их количества должно производиться на основе учета тех единиц, которые различаются в сильной позиции... Состав фонем (при наличии сильных и слабых фонем)— это состав сильных фонем, но не совокупность сильных и слабых фонем». Это, безусловно, правильное положение совершенно справедливо мотивируется тем, что слабые фонемы являются лишь эквивалентами сильных фонем. С другой стороны, на стр. 33 мы читаем, что слабые фонемы «в других случаях не входят в фонемный ряд и представляют собой самостоятельные единицы, которые по их различительной способности можно квалифицировать как единицы, так сказать, «низшего ранга» (сравнительно с сильными фонемами)».

Последнее утверждение делает непонятным, почему слабые фонемы не входят в состав фонем языка хотя бы в качестве единиц «низшего ранга». Так как этого нельзя допустить, придерживаясь того понимания фонемы, которое представлено в разбираемой работе, то лучше говорить о слабых и сильных позициях, а не о двух видах фонем. Всякая данная фонема остается самой собой и в слабой позиции, но только в этой позиции ослабляются ее словоразличительные возможности. В самом деле, если признать, что в состав фонем языка входят не все кратчайшие звуковые единицы, на которые разлагаются словоформы, то все учение о фонеме как кратчайшей звуковой единице теряет почву.

Что же мешает Р. И. Аванесову признать фонему в слабой позиции просто оттенком определенной фонемы в сильной позиции? По-видимому, несовпадение их акустико-физиологических свойств. Во всяком случае, для того, чтобы считать [ɑ] и [ъ] разными (пусть слабыми) фонемами, других оснований, кажется, нет. Вместе с тем такой довод нельзя считать убедительным; неправильно думать, что определенность физиолого-акустической характеристики фонемы заключается в ее однозначности. Как известно, все учение о фонеме покоится на том положении, что сходство или несходство звуков само по себе не определяет фонематических различий. Это было доказано Щербой еще в «Русских гласных» и продемонстрировано на ставшем классическим примере с разными *е* в русском и французском языках.

Отсутствие «сходства» можно обнаружить в разных оттенках одной фонемы и в сильной позиции. Так, гласный в слове *сядь* не похож на гласный в слове *сад*. Новейшие исследования показывают, что, взятый сам по себе, он не опознается как [а]. Тем не менее этот гласный, несомненно, составляет с гласным слова *сад* одну фонему, так как в данном фонетическом положении он противопоставляется всем остальным гласным русского языка, кроме [а], отличаясь от гласных в сочетаниях *s'et'*, *s'it'*, *s'ot'*, *s'ut'*. Точно так же и гласные [ɑ, ъ] «не похожи» на [а], но они могут быть противопоставлены гласным [о], [u], [ы], но не [а]. Простейший эксперимент показывает, что слово *голова*, медленно произнесенное как *galava* (с тремя одинаковыми a[1], воспринимается носителями русского литературного произношения как совершенно тождественное быстро произнесенному *gъlava*, тогда как *gulava* и *gylava* воспринимаются как бессмысленные сочетания, а *golova* — как диалектное произношение. Именно поэтому *а*, *ɑ*, *ъ* следует считать оттенками одной фонемы. Р. И. Аванесов неточен, когда пишет, что Л. В. Щербой и его учениками звуки в слабой позиции «на основе близости по физиолого-акустическому признаку (разрядка моя.— *Л. З.*) отождествляются с соответствующими звуковыми единицами, различающимися в сильной позиции» (стр. 37).

Из всего сказанного здесь вытекает и то, что фонема не может быть определена как звуковой тип в фонетическом смысле слова. Поэтому, мне кажется, не следует пользоваться данным термином в приложении к понятию фонемы, и это тем более, что Л. В. Щерба использовал его в чисто фонематическом плане. Что это так, доказывается хотя бы тем, что одна и та же пара звуков может составлять, по Л. В. Щербе, в одном языке один звуковой тип (т. е. одну фонему), а в другом — два типа (т. е. две фонемы). Я думаю, что недоразумение, возникшее вследствие неудачного словоупотребления, не следует усугублять возвращением к нему.

Таковы те уточнения, которые мне казалось бы нужным внести в концепцию Р. И. Аванесова. В целом же я хотел бы присоединиться к его словам о том, что «оба аспекта исследования (кратчайшая звуковая единица в составе звуковой оболочки словоформы и морфемы) должны найти свое место в системе фонологии, будучи соответствующим образом разграничены, в том числе терминологически» (стр. 37). Остается

[1] Хотя Р. И. Аванесов и отрицает существование полного стиля, но такое произношение не только имеет место, но и широко используется в соответствующих ситуациях.

только заметить, что изложена эта концепция трудно, с расчетом на читателя, хорошо знакомого с соответствующей проблематикой. Может быть, при включении опубликованной ранее статьи в книгу, являющуюся все же учебным пособием, следовало бы сделать изложение более доступным.

Обращаясь к другим разделам, следует сказать, что и в них содержится много интересных мыслей и наблюдений. Не имея возможности из-за ограниченного объема рецензии останавливаться на всем подробно, я укажу только на те моменты, которые мне кажутся наиболее важными или спорными.

В разделе о слоге очень интересны и убедительны признаки границ слова (стр. 49), устанавливаемые Р. И. Аванесовым дополнительно к тем, на которые указывал Л. В. Щерба. Напротив, совершенно неубедительной кажется мне предлагаемая автором интерпретация «основного закона слогораздела в русском языке». Она никак не может объяснить м е х а н и з м а слогоделения; неудивительно поэтому, что автору приходится мириться с исключениями из «закона», изложенными в §§ 23, 24.

Р. И. Аванесов, основываясь на так называемой сонорной теории слога, исходит из деления звуков по различным степеням звучности. При этом он не замечает, что с точки зрения данной теории остается совершенно непонятным, к а к и м о б р а з о м слогоделение в одних случаях может происходить перед согласным, а в других — после него. Ведь, по автору, шумный согласный всегда будет характеризоваться низшей степенью звучности, чем и определяется, по мнению автора, его н а ч а л ь н о е положение в слоге. Какими же объективными средствами осуществляется возможное различие в слогоделении в случаях типа *без платы* и *бесплатный*, а также и в [ру/скъі], [рус/скъі] (см. стр. 54).

Все станет совершенно ясным, если признать, что при произнесении согласного он либо усиливается, либо ослабляется, а так как слогоделение происходит в момент наибольшего ослабления, то и граница слога пройдет перед согласным, если его начало слабее, чем конец, или после согласного, если его конец слабее, чем начало. Чем бы ни обусловливалась изменчивость силы согласного — изменением ли мускульного напряжения, как думал Щерба, или чем-либо иным, именно ею и определяется граница слогораздела. Следует заметить, что м е х а н и з м слогоделения не может быть различным в разных языках, как не может быть различным механизм голосообразования, шумообразования и т. п. Закономерностями данного языка определяется лишь то, в каких случаях имеет место тот или иной способ произнесения согласного, от которого и зависит граница между слогами. Правила, изложенные в §§ 22—24 рецензируемой книги, и следует понимать как попытку сформулировать некоторые из таких закономерностей.

Говоря о составе фонем, Р. И. Аванесов умалчивает о существовании проблемы фонематической трактовки [и—ы]. Это тем более неоправданно, что в аналогичном случае, в вопросе о заднеязычных согласных, автор поступает иначе (см. стр. 135, 136 и 170). Как бы ни решался этот вопрос, нельзя ставить знака равенства между различиями [е] и [ɛ], с одной стороны, и [и] и [ы], с другой. В скрытом виде особое положение (ы) отражается и в книге: на стр. 97 приводится профиль и палатограмма [ы], тогда как остальные гласные описываются только в их изолированных вариантах.

В том же разделе Р. И. Аванесов высказывает интересную мысль, что «ряд гласных не входит в число конститутивных, различительных признаков гласных фонем русского языка» (стр. 89). Мысль эта в общем правильная, но для того чтобы у читателя не возникло никаких ложных идей, нужно было бы хотя бы очень кратко указать на отличие точки зрения автора от структуралистского понимания дифференциальных и недифференциальных признаков фонемы.

При описании образования гласных автор правильно говорит, что прежде всего нужно уяснить «различия в движениях языка и губ» (стр. 92). Однако описание отдельных гласных он начинает с указания на положение нижней челюсти, выдвигая, таким образом, второстепенный признак на первый план. Кстати, следует заметить, что профили расходятся с описанием; так, на профиле [е] нижняя челюсть опущена ниже, чем на профиле [и]; на профиле [о] — ниже, чем на профиле [у]. Это отнюдь не означает, что профили сделаны неправильно; такое положение нижней челюсти вполне возможно в соответствующих случаях. Если к профилям и можно предъявить претензию, то только в том, что на профилях [у] и [о] не видно лабиализации.

В разделе, посвященном согласным, мне кажется удачным, с классификационной точки зрения, различение «вокализованных» и «невокализованных». Непонятно, почему это не нашло отражения в таблице, приведенной на стр. 145, которая, впрочем, и в других отношениях нуждалась бы, мне кажется, в исправлениях. Так, например, из нее следовало бы исключить не основные варианты фонем, так как все варианты, естественно, помещены быть не могут, а предпочтение, отдаваемое каким-нибудь из них, едва ли может быть убедительно мотивировано.

Существенным пробелом в разделе о составе согласных фонем является то, что в нем совершенно не рассматривается вопрос о фонетической трактовке долгих согласных; автор лишь вскользь упоминает об этом вопросе в сноске к стр. 164.

Большой интерес представляет подробный анализ системы согласных. Очень удачно изложен вопрос о месте фонемы (j) в системе согласных фонем русского языка. К сожалению, не показано особое место, занимаемое фонемами [в] и [в'] в связи с тем, что перед ними сохраняется противопоставление по глухости — звонкости. Не безразличны для системы фонем и традиционные чередования; они тоже должны быть признаны фонетическими явлениями, так как не нарушают тождества морфем.

Интересны также параграфы, посвященные типам научно-лингвистической транскрипции. В свое время Щерба соответственно с его учением о фонеме ввел в обиход различение фонетической и фонематической транскрипции. Совершенно естественно, что вместе с понятием фонемного ряда Р. И. Аванесов предлагает различать еще один вид транскрипции, служащей для обозначения тех элементов «звучащей речи, которые в наибольшей степени самостоятельны» (стр. 217). Это предложение автора, а также и введение им терминов «фонетическая», «словофонематическая» и «морфофонематическая» транскрипции представляются мне принципиально важными и приемлемыми.

Заканчивая рецензию, следует отметить, что описания оттенков фонем (в том числе и основных) слишком кратки и зачастую имеют умозрительный характер (ср., например, шесть разновидностей гласных фонем и др.) В уточнении нуждается также описание фонетической природы русского ударения, в котором совершенно неосновательно отодвигается на второй план количественный момент. Автор и сам чувствует необходимость «пополнить свое изложение данными экспериментальных исследований» (стр. 3). Будем же надеяться вместе с ним, что он в скором времени сможет дать более полное изложение предмета.

Л. Р. Зиндер

Орфографический словарь русского языка. 110 000 слов. Под ред. С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро. — М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956. 1261 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

Выход в свет «Орфографического словаря русского языка», подготовленного работниками Института языкознания Академии наук СССР, является естественным продолжением работы по унификации русского правописания, нашедшей свое выражение в «Правилах русской орфографии и пунктуации». Последние, регламентируя современное правописание, дают только общие положения и не могут, конечно, охватить все изолированные случаи спорного написания. Эту задачу призван выполнить орфографический словарь, опирающийся на свод унифицированных правил. Вместе с тем в задачи словаря входит не только охват единичных, некодифицированных случаев двойственного написания, но и включение, по возможности исчерпывающее, слов литературного языка, представляющих интерес в орфографическом отношении. При этих условиях словарь будет служить необходимым практическим руководством для каждого, кто имеет дело с письменным языком.

В какой мере рецензируемый словарь удовлетворяет этому требованию? Структура пособия, обилие представленных в нем слов, вспомогательная аппаратура, учет задач орфоэпии — все это свидетельствует о большой работе, выполненной его составителями. Не приходится сомневаться в том, что книга может служить справочником для лиц, сталкивающихся с вопросами русского правописания. Об установке на массового читателя говорит значительный тираж словаря (500 тыс. экземпляров).

В конце книги в качестве приложения даны «Правила русской орфографии».

Огромное количество слов, включенных в словарь, обеспечивает возможность удовлетворить запросы различных категорий читателей. С должным основанием в словаре помещены произносительные, словообразовательные и лексические варианты слов, связанные с различиями в написании, а также фразеологические обороты, в той или иной степени представляющие интерес с точки зрения орфографии. Включение в словарь сложносокращенных слов типа *райво, районо* (правда, без определенной системы), равно как сложных существительных других типов и сложных прилагательных, поможет устранить наблюдающийся до сих пор разнобой в их написании.

Несомненную пользу принесут грамматические пометы и формы слов, приведенные в словаре. Указания на формы падежей (например, род. падежа мн. числа существительных с беглым гласным типа *цапли — цапель, оглобли — оглобель*, также *ясли — яслей, будни — будней*), краткие формы прилагательных (*ответствен, свойствен, торжествен*) и др. будут способствовать закреплению в практике письменной и устной речи литературных вариантов. Хотя непосредственного отношения к орфографии это не имеет, но составители словаря поступили правильно, не отказавшись от представившейся попутно возможности содействовать нормализации литературного языка. В этом плане заслуживает также положительной оценки стремление частично разрешить орфоэпические задачи путем указания ударений в словах и формах слов: для массового читателя вопросы произношения представляют значительный интерес.

В целом книга производит впечатление лексикографического труда, в который вложена большая, кропотливая работа. В то же время возникает ряд вопросов, общих

и частных, а иногда и возражений, касающихся установок пособия, отбора слов, выбора отдельных написаний. Прежде всего вопрос о словнике. В предисловии указывается, что в словарь «включаются многие слова, хотя и не бытующие широко в общем литературном языке, но встречающиеся в художественной литературе прошлого или в специальной литературе и нуждающиеся в орфографической нормализации, а именно: научные и научно-технические термины, просторечные и диалектные (местные) слова, некоторые устарелые слова и т. п.» (стр. 4). Но что может служить критерием для отбора, например, терминов? Из многих сотен тысяч терминов, имеющихся в области науки и техники, составители словаря выбрали, очевидно, весьма незначительную часть, но принцип этого отбора неясен. Казалось бы, это должны быть слова, понятные по значению широкому кругу людей, но в то же время вызывающие затруднения с точки зрения правильного их написания. Однако даже беглый просмотр словаря показывает, что это не так. Например, на стр. 30 подряд идут слова исключительно специального и ограниченного обихода: *анетол, анзерин, анизогамия, анизокория, анизол, анизотропия, анизотропность, анизотропный.* На той же странице: *анион, анионный, анкерит, анкилоз, анкилостома, анкилостомиды, анкилостомоз, аннелид, аннигиляция, аннона, аннуитет, анодонта.* Ни одного из этих слов нет в четырехтомном словаре под редакцией Д. Н. Ушакова, в котором общеупотребительные термины, как известно, представлены в большом количестве.

Нужны ли в словаре, рассчитанном на массового читателя, такие слова, как *ангоб, арарут, артефакт, бигарадия, жалон, каллаит, калёва, канцелинг, карбоксил, карболеин, карболинеум, карильон, керамзит, кератоз, кервель, кермек, кермес, керн, кикапу, клуатр, коллиматор, коллимация, коффердам, малакология, нозематоз, нозография, нозология, ранатра, сильвин, сильвинит, эспарто* и многие другие, о существовании которых массовый читатель даже не подозревает и, как показывает практика использования словаря, готов видеть в них то техницизмы, то архаизмы, то диалектизмы, то просторечные слова (ср. *рым, нок* и др.)? Вряд ли найдется на тысячу человек один, который сталкивается с этими словами, но и в этом случае из полумиллиона читателей правописанием их может заинтересоваться человек пятьдесят. К тому же следует учесть, что чем специальнее слово, тем больше оснований для того, чтобы искать его в соответствующих книгах и пособиях, к которым не может не обратиться заинтересованное лицо. Повторяем, мы не против помещения в орфографическом словаре терминов, но с тщательным отбором, иначе понадобятся десятки томов словаря.

Только стремлением к «исчерпывающей» полноте можно объяснить включение в словарь вряд ли существующих в литературном языке искусственных слов, таких, как *пристранствовать, прищучиваться, укапываться, утрафлять, ухоливать, ухораниваться, ушырнутый.* См. также *загсироваться* (?).

Второй общий вопрос: нужно ли включать в словарь бесспорные в орфографическом отношении слова (*дом, мак, нос, пол, стол, стон, ум* и т. п.)? Чисто орфоэпические цели (в одних случаях при изменении формы ударение остается на основе, в других переходит на окончание) не являются убедительным основанием: одно дело — п о п у т н ы е о р ф о э п и ч е с к и е задачи при о с н о в н ы х о р ф о г р а ф и ч е с к и х, что можно считать положительной стороной словаря, а другое — вопросы ударения сами по себе. Позволительно усомниться в том, что хоть кто-нибудь откроет словарь для проверки написания слов *дом, пол, стол* и т. п.

Третий вопрос: нужно ли так широко представлять производные слова, написание которых определяется строгими правилами, например уменьшительные и увеличительные имена существительные? Такие слова, как *домик, носик, ротик, столик* и т. п., могут вызвать сомнение в орфографическом отношении только у лиц, приступающих к изучению русского языка и не знакомых с элементарным правилом написания суффиксов *-ик* и *-ек*. Кстати, в самом словаре пропущены слова *ромбик, комодик* и некоторые другие, в частности интересное в нескольких отношениях сочетание *мальчик с пальчик.*

Интересны с точки зрения словообразования, но вряд ли нужны для орфографических целей такие широкие гнезда слов: *захват, захватанный, захватать, захватить, захватиться, захватка, захватнический, захватный, захватчик, захватчица, захватывание, захватывать, захватываться, захватывающий, захваченный* (стр. 305). Или: *ухлёстанный, ухлестать, ухлестаться, ухлёстнутый, ухлестнуть, ухлёстывать, ухлёстываться* (стр. 1118).

Непонятен принцип отбора однокоренных слов: в ряде случаев слова даются с одной какой-нибудь приставкой, а с другими приставками не даются. Так, есть *зазумкерить*, но нет *назумкерить, отзумкерить, прозумкерить* и т. п. Есть *перебодать, переботанный*, но нет *пободать, пободанный* (при *забодать* нет *забоданный*). Есть *заволочь*, но нет *завеслочить*; есть *гаваруха* и *заворошка*, но нет *заварушка*.

Вызывает также сомнение необходимость включения в словарь всех наречий типа *по-албански, по-армянски, по-ирокезски, по-ирански...* Во-первых, исчерпать этот перечень весьма затруднительно: понадобятся и такие слова, как *по-ацтекски, по-инкски, по-ирокезски* и сотни других, учитывая количество названий племен и народов

в прошлом и настоящем (не удивительно, что в самом словаре нет наречий *по-абазински, по-абхазски, по-кумыкски, по-мингрельски, по-жевурски* и др. при наличии в нем соответствующих существительных и прилагательных). Во-вторых, для этого случая имеется несложное правило, которое применяется автоматически. Отсюда, конечно, не следует, что при наличии правил вообще нет смысла включать в словарь попадающие под эти правила слова (тогда в словаре отсутствовали бы, например, слова с проверяемыми безударными гласными). Речь идет об абсолютно однотипных образованиях, причем это относится не только к названиям народностей. Поэтому мы отнюдь не считаем упущением отсутствие в словаре наречий *по-офицерски* или *по-казацки* при наличии *по-солдатски*. На наш взгляд, можно было бы ограничиться теми словами, написание которых вызывает сомнение не потому, что это наречия на *-цки* или *-ски* с приставкой *по-*, а потому, что неясно написание тех прилагательных, от которых образованы наречия (имеются в виду прилагательные на *-ц-кий, -цц-кий, -ц-ский, -д-ский, -т-ский*). Помещение таких слов оправдывалось бы соображением экономии времени: можно было бы не отсылать читателя к соответствующим прилагательным. В противном случае, если быть последовательным, то нужно давать не только *по-московски* (это слово в словаре есть), но и *по-ленинградски, по-киевски*; не только *по-варшавски*, но и *по-венски* и т. д. В словаре есть *по-волчьи, по-медвежьи*, но нет *по-заячьи, по-лисьи* и т. д.

Выше говорилось о словах, которые представляются лишними в орфографическом словаре. С другой стороны, хотелось бы видеть в нем такие слова, которые часто встречаются в обиходной речи, но написание которых может вызвать сомнение, так как не всегда их орфография легко подводится под правило. В словаре отсутствует, например, слово *научно-материалистический*, и читатель должен сам решить вопрос, писать ли это слово слитно (от *научный материализм* — подчинительное сочетание) или раздельно (по аналогии с другими сложными словами с первым компонентом *научно-*). Следовало бы включить такие сложные прилагательные, как *учебно-массовый, учебно-наглядный* (если трудно предусмотреть новые образования этого типа, то может быть, достаточно было бы дать сноску, что слова с элементом *учебно-* пишутся как правило, через дефис).

Выше указывалось на загромождение словаря слишком специальными терминами. С другой стороны, в ряде случаев в нем отсутствуют термины более распространенные или аналогичные тем, которые в нем имеются. Так, есть *парноперистосложный, пальматорассеченный*, но нет *многократноперистосложный, многократнопальчаторассеченный*. Или из области химических терминов: есть *хромоникель, гексахлоран, двухромовокислый*, но нет *щавелеуксусный, хлорвинил, хлорацетон* и т. д. Нет многих слов, часто встречающихся в печати: *цуцеванг, максун, рекетир, эсесовец, бриолин, суньятсеновец*; также терминов типа *каркасно-панельный, молочно-восковой* и т. п.

В словаре вполне уместны сочетания типа *классово чуждый, общественно полезный*, представляющие собой не сложные прилагательные, а сочетание наречия с прилагательным. Однако составители не использовали возможность шире и богаче представить эти случаи. Следовало бы дать больше слов и сочетаний с первым элементом *прямо, обратно, вертикально, горизонтально, продольно, поперечно, быстро, медленно, плоско, мелко, тонко, чисто, круто, полого, сильно, слабо, жизненно* и др. Таким путем можно было бы практически систематизировать эти трудные орфографические случаи, сведя их к наиболее распространенным типам, поскольку немыслимо дать исчерпывающий перечень подобных образований, зачастую носящих индивидуальный характер.

В словаре нет слов с первым элементом *лигно-*, нет сложных названий *фильтр-пресс, блок-схема, шприц-машина, кран-балка* и других подобных терминов. Отсутствие таких слов, как *полдеревни, полдесятка, полсекунды* и т. п., не вызывает возражений, поскольку невозможно дать полный список подобных слов. Больше того, возникает сомнение в целесообразности включения в словарь десятков слов типа *полштофа, полпинта, полдвенадцатого, полнеба* в связи с наличием определенного правила, унифицирующего подобное написание. И здесь можно было бы ограничиться сноской со ссылкой на правила, благо они приложены к словарю.

Написания в словаре, как указано в предисловии, даются в соответствии с «Правилами русской орфографии и пунктуации». В целом это так, однако в ряде случаев имеются отступления, а иногда противоречия в самом словаре. Приведем несколько примеров.

Согласно «Правилам» (§ 81, п. 1), сложные прилагательные, образованные от существительных, пишущихся через дефис, тоже пишутся через дефис (ср. *дизель-мотор — дизель-моторный*), однако в словаре дается слитное написание *яхтклубский*[1] (при *яхт-клуб*).

---

[1] Во 2-ом издании словаря исправлено: *яхт-клубский* (и *яхт-клубовец* вм. *яхтклубовец*). — *Ред.*

Неясно, почему слова *мясо-молочный, мясо-растительный* (отсутствует *мясо-зеленная*) пишутся через дефис, а однотипные — слитно (*хлебобулочный, хлебофуражный*). Если для *хлебофуражный* производящая основа — *хлебофураж*, то ведь «хлебобулки» нет. Значит, к *хлебо-фуражный* нужно применить § 81, п. 2.

Или: *бортинженер, бортмеханик, бортрадист* (слитное написание) — *пресспапье, пресс-бюро* и т. д. (дефисное написание). Больше оснований было поступить наоборот, в соответствии с § 79, п. 1: первые слова состоят «из двух самостоятельно употребляющихся существительных», чего нельзя сказать о словах с элементом *пресс-*.

Или: *блокпост* (слитно) — *блок-механизм* и др. (через дефис).

Неясно, почему дано дефисное написание *индо-китайский*. Если имеется в виду значение двусторонних отношений (по типу *индо-африканский, индо-малайский*), то это нужно было оговорить, иначе нарушается правило § 80, п. 1.

Отсутствие твердого принципа в написании сложных слов сказывается и в других случаях. Так, при написании *удлиненно-яйцевидный* дается *обратнояйцевидный* (также *обратносердцевидный*), хотя эти прилагательные по способу образования тождественны. Ср. также *народнохозяйственный*, но *народно-поэтический*; *круглошлифовальный, плоскошлифовальный*, но *бесцентрово-шлифовальный* (*овальношлифовальный* нет совсем); *воздушнодесантный*, но *парашютно-десантный* и др.

Непонятно, почему даны написания *водно-моторный* (мотор для работы в воде), *весенне-посевной* (ср. весенняя посевная кампания) и т. п. (см. § 80 «Правил»).

Непривычны и ничем не мотивируются дефисные написания терминов: *горизонтально-высадочный, горизонтально-замкнутый, горизонтально-ковочный, горизонтально-расточный, горизонтально-сверлильный, горизонтально-фрезерный*. Или: *жилищно-бытовой, жилищно-строительный* и др. (стр. 260).

Нет слов *вико-овсяный, вико-гороховo-овсяный* и многих подобных.

В предисловии указывается, что словарь «дает одно, признанное правильным, написание слова и не допускает собственно орфографических вариантов (стр. 4) (кстати сказать, приведенная в качестве иллюстрации пара *эксплуатация — эксплоатация* не совсем убедительна, так как здесь не столько варианты написания, сколько произношения). Но ведь варианты *торцо́вый — торцево́й, то́новый* (в музыке) — *тоново́й* (в полиграфии) не являются орфографическими, однако в словаре даются только первые слова каждой пары.

Не все ясно в написании иноязычных слов. Почему *падекатр* слитно, а *па-де-де, па-де-труа* через дефис? Почему из вариантов *эзоповский — эзоповский, кабала — каббала, вернисаж — вернессаж, фрикасе — фрикассе, ас — асс* предпочтен первый (попутно заметим, что объяснение написания *ас*, данное в заметке, опубликованной в первом выпуске сборника «Вопросы культуры речи», вызывает серьезные возражения)? Почему даны варианты *каприччио — каприччо* (с точки зрения произношения правильным является только второй)? Если быть последовательным, то нужно было дать также *арпеджио — арпеджо, сольфеджио — сольфеджо* и под. Нет слов *нерлон, политес, продюсер* и многих других. Есть *персона грата*, но нет *персона нон грата*.

Непоследовательно, а подчас противоречиво разработано правописание слов с отрицанием *не*. Есть *некошеный, несжатый*, но нет *непаханый, несеяный, неубранный, неудобренный*: есть *нехоженый*, но нет *невезженый*; нет *невысказанный, невыполненный, неисследованный, неистраченный, незарегистрированный, незасвидетельствованный*; нет *непростой, несоленый, нестарый, неяркий*; нет *недоглаженный, недомешенный, недопаханный, недопечатанный* и некоторых других с приставкой *недо-*.

Интересная попытка найти решение вопроса о написании прилагательных на *-мый* не доведена до конца. Так, со звездочкой (указывающей, что слова могут писаться слитно, раздельно или через дефис) даются слова *неприменимый, неотделимый, неразложимый, неразрешимый, несоизмеримый* и т. п., но без звездочки (стало быть, пишутся всегда слитно) аналогичные слова *невыразимый, неразличимый, нерастворимый, несокрушимый*. Однако, если можно сказать: *ни к чему не применимый проект, ни с чем не соизмеримая величина* и т. д., то почему нельзя сказать: *ни в какой кислоте не растворимый осадок, ничем не выразимая скорбь, никаким микроскопом не различимые вирусы, ничем не сокрушимая мощь*? А ведь при этих условиях *не* пишется раздельно (см. «Правила», § 89, п. 3, примечание). К слову сказать, *различимый, растворимый* и некоторые другие прилагательные того же типа приведены в словаре и без *не*.

Очень мало в словаре существительных типа *немарксист*: даны только те, которые приводятся в «Правилах» (§ 88 п. 2). Но ведь если есть *неспециалист, немарксист, нерусский*, то есть и *некоммунист, некомсомолец, нематериалист, нечлен союза, неамериканец* и т. д. (ср.: *все китайцы и некитайцы*). Именно написание таких слов и вызывает затруднения.

Есть пропуски слов с одним и двумя *н* в прилагательных и причастиях. Так, дано *венчонный*, но отсутствует *венчаный* (ср.: *они венчаные супруги*); есть *дарёный, морёный*, но нет *да́ренный, мо́ренный*.

Не всегда последовательно приводятся формы, слов, а также сочетания, связанные

с ударением. Так, даются *слово за́ слово*, *рука о́б руку*, но нет *нога за́ ногу*, *зуб за́ зуб*, *око за око* и др. Приводится *инженер-механик* с указанием родительного падежа, но нет слов *инженер-электрик*, *инженер-технолог*, относительно которых возникает тот же вопрос о форме косвенных падежей. Кстати, нужны ли указания на форму родительного падежа при таких словах, как *вид*, *опыт*, *комната* и др., с устойчивым ударением на основе? И здесь, на наш взгляд, имеется резерв экономии места: можно было бы оговорить в указаниях «Как пользоваться словарем», что форма родительного падежа не указывается у подобных слов. Гораздо полезнее было бы зато при таких словах, как *ампер*, *гектар*, *грамм*, *килограмм* и т. п., указывать не форму родительного падежа единственного числа, а форму родительного падежа множественного числа.

Непоследовательно также даются объяснения слов. Так, при слове *риксдаг* дается пояснение «шведский парламент», но таких пояснений нет при словах *стортинг*, *фолькетинг*, *рейхсрат* и др.

Почему *габбро* мужского рода или *кольраби* женского, в отступление от существующего положения, в соответствии с которым заимствованные несклоняемые существительные, обозначающие неодушевленные предметы, относятся к среднему роду?

В заключение еще раз отметим несомненность положительных сторон словаря, но вместе с тем выразим пожелание, чтобы при переиздании ему была придана более отвечающая интересам массового читателя форма: устранены лишние специальные, областные, просторечные слова, сокращено не всегда нужное количество производных словообразований, сглажены противоречия между словарем и «Правилами русской орфографии», а также внутри самого словаря, добавлены слова, нужные в широком обиходе. В последнем случае речь идет не только о случайно пропущенных словах, но и о тех, которые составители сознательно не включили: мы имеем в виду перечень трудных для написания собственных имен лиц, который можно дать в качестве небольшого приложения. Целесообразность такого списка вряд ли приходится доказывать.

К. И. Былинский и Д. Э. Розенталь

František Trávníček. **Historická mluvnice česká.** III. Skladba.—Praha, SPN, 1956. 199 стр.

После того, как в 1929 г. Ф. Травничек опубликовал четвертый том «Исторической грамматики чешского языка» Я. Гебауэра (ум. в 1907 г.), посвященный историческому синтаксису, в чешском языкознании больше не появлялось обобщающих работ аналогичного содержания. Между тем проведенные за последние 50 лет чешскими лингвистами специальные исследования внесли ряд существенных поправок и дополнений в достигнутое Гебауэром понимание исторического развития синтаксического строя чешского языка. В этом отношении особенно видную роль сыграли работы И. Зубатого и ряда других чешских языковедов — И. Страки, В. Вондрака, Э. Сметанки, В. Эртля, Ф. Травничка и др., сделавшие необходимым создание новой итоговой работы по историческому синтаксису чешского языка.

Этой необходимости в значительной степени удовлетворяет новая книга акад. Ф. Травничка «Синтаксис», опубликованная в виде третьей части «Чешской исторической грамматики» и утвержденная в качестве учебника для чехословацких вузов. Однако своему педагогическому назначению данная книга соответствует лишь частично — главным образом ясностью и наглядностью изложения. Что же касается содержания книги, то здесь имеются значительные отклонения от обычного типа курсов, так как, по словам самого автора, в ней даны «о древнечешском синтаксисе и его историческом развитии не всесторонние и полные, а только лишь д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е сведения». Ф. Травничек останавливается на тех явлениях, «которыми древнечешский язык существенно отличался от новочешского», и проходит мимо «явлений, общих для древнего и нового языка, а также явлений, заметно не изменившихся в своем историческом развитии» (стр. 6). Если говорить об общих принципах, то так именно и строятся разделы исторического синтаксиса в подавляющем большинстве курсов исторической грамматики. Но дифференциальное рассмотрение исторических явлений синтаксиса в книге Ф. Травничка оказывается более резко выраженным, чем можно было ожидать, судя по образцам других курсов. Так, например, история употребления падежей и предлогов, занимающая в «Синтаксисе» Я. Гебауэра 220 страниц (т. е. около 30% общего содержания тома)[1], в работе Ф. Травничка затрагивается лишь косвенно, далеко не полно и только в разделах о полупредикативном и предикативном употреблении имен (стр. 123—146). Это свидетельствует о том, что мы имеем дело в данном случае не столько с учебником или курсом, сколько с очерками по историческому синтаксису чешского языка, отличающимися в большей степени научно-исследовательским, чем педагогическим характером.

[1] См. J. Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého, díl IV — Skladba, Praha, 1929, стр. 293—514.

«Синтаксис» Ф. Травничка состоит из трех разделов: «Предложение в целом» (стр. 7—122), «Части (члены) предложения» (стр. 123—163) и «Глагольные формы» (стр. 164—189). В первом разделе рассматриваются предложения неглагольные, в частности именные и междометные, затем предложения глагольные — отрицательные, с обобщенным значением субъекта, и вопросительные; наконец, основное место в этом разделе отведено сложному предложению в его различных структурных разновидностях. В разделе о членах предложения прослеживаются исторические изменения в формах полупредикативного и предикативного употребления имен, а также порядок слов в предложении (расположение энклитик, определений и предлогов). Третий раздел посвящен истории синтаксического употребления супина, инфинитива и деепричастий.

Выбор большинства вопросов, рассматриваемых во всех трех разделах работы, на первый взгляд кажущийся довольно случайным, при более внимательном ознакомлении оказывается обусловленным внутренней связью этих вопросов в изложении автора. Так, например, почти весь ход мыслей Ф. Травничка, связанный с исторической характеристикой сложных предложений и, в частности, союзов, опирается на те части первого раздела, где идет речь о междометных и вопросительных предложениях. Авторское истолкование генезиса синтаксических функций деепричастий в конце книги в значительной степени основывается на тех местах первого раздела, где рассматриваются предложения именные и обобщенно-личные, а также связано с анализом полупредикативной роли деепричастий во втором разделе (стр. 133—136).

В отличие от большинства авторов, ограничивающих историю синтаксических структур языка в своих курсах периодом письменных памятников, Ф. Травничек, следуя пока еще не очень распространенной традиции, идущей в славянском языкознании от А. А. Потебни, выходит далеко в прошлое за пределы этого периода, который для чешского языка начинается фактически с XIV в. «Моя цель, — пишет автор,—заключается в том, чтобы представить древнечешский синтаксис не только как результат более раннего развития до XIV ст., но и как отправной момент для возникновения новочешского состояния, т. е. чтобы представить его как один из периодов в развитии нашего национального языка» (стр. 5—6).

Одно из исходных теоретических положений Ф. Травничка сформулировано в книге следующим образом: «Как слова сохраняют свое фонетическое звучание, но меняют свое смысловое содержание..., как одна и та же форма меняет свое значение..., так и синтаксические конструкции (větné útvary) приобретают со временем новое значение» (стр. 5). Именно стремление к последовательному проведению и конкретизации этого положения при анализе исторических путей развития различных синтаксических явлений в сочетании с особым вниманием к доисторическому состоянию исследуемых явлений делает работу Ф. Травничка исключительно интересной для всех, кого занимают вопросы славянского исторического синтаксиса.

Из наиболее удачных мест книги Ф. Травничка, в которых применены указанные принципы, можно отметить, например, последовательное и четкое истолкование генезиса ряда структурных типов сложноподчиненных предложений: с придаточными повествовательно-изъяснительными с формой сослагательного наклонения (*ty pravíš, bych já blúdil*), с придаточными желательно-изъяснительными с сослагательным наклонением (*káza, by sě hotovali*), с придаточными цели с сослагательным наклонением (*je sě modliti, aby sě vrátil*), с придаточными желания и цели с изъявительным наклонением и союзом *at'* (*učiň, at' budem zdrávi*; *daj nám vody, at'píti budem*) и сложноподчиненных условных со значением нереальности (*by bylo lzě kam utíci, každý by rád pryč vyplanul*) (стр. 59—70). Основываясь на известной мысли о том, что гипотактические конструкции сложных предложений в славянских, как и вообще в индоевропейских языках развились путем видоизменения конструкций паратактических, Ф. Травничек блестяще подтверждает и конкретизирует это положение, применяя его к указанным синтаксическим конструкциям. Исторические объяснения Ф. Травничка в данном случае концентрируются вокруг того засвидетельствованного рядом индоевропейских языков факта, что сослагательное наклонение в этих языках развилось из форм прошедшего времени и, в частности, в славянских языках — из формы плюсквамперфекта.

Исходя из указанного, автор просто и убедительно толкует изъяснительные и целевые придаточные с сослагательным наклонением как предложения, имевшие первоначально сказуемое в форме плюсквамперфекта и не зависевшие от предшествующего предложения, а соединявшиеся с ним бессоюзной сочинительной связью. Лишь впоследствии, в результате более тесного слияния такого предложения с предшествующим, оно начало приобретать новые оттенки значения, зависевшие от значений главного предложения (желания, цели и т. п.), в связи с чем форма плюсквамперфекта приобрела новое значение сослагательности. Параллельно этому форма повелительного наклонения типа *at' bude* объясняется как возникшая из сочетания формы изъявительного наклонения настоящего времени с сочинительным союзом *a* и частицей (первоначально местоимением) *ti* в составе тех же придаточных предложений желания или цели, развившихся в результате видоизменения чисто паратактических конструкций. Таким

образом, Ф. Травничек показывает, как в определенных контекстуально-семантических условиях не только конструкции с плюсквамперфектом, но и конструкции с формой настоящего времени в ходе исторического развития языка приобрели совершенно новое грамматическое значение.

Приведенный пример достаточно характеризует общий метод изложения автора, стремящегося к всестороннему освещению связей между различными историческими явлениями языка, к глубокому проникновению в доисторическое состояние разбираемых синтаксических конструкций. В том же плане рассматривает Ф. Травничек развитие синтаксических функций инфинитива в чешском языке (стр. 167—178). В качестве наиболее древней функции инфинитива, засвидетельствованной в памятниках, он принимает, как, впрочем, уже и В. Вондрак[1], его обстоятельственную функцию со значением отношения (*chléb ivrd jěsti*) и цели (*město dobrě bydliti*; *pytel peněz'm klásti*; *kto má uši slyšeti, slyš*; *káza vojem vstáti*; *žluč jemu piti dali* и т. п.). В дальнейшем, в условиях конструкций типа *ovoce jěsti bylo nechutné*, в которых имена существительные среднего рода первоначально были подлежащими, а инфинитивы — обстоятельствами при именных сказуемых, имена постепенно переосмыслились в дополнения к инфинитивам, которые в связи с этим превратились в подлежащие при тех же составных сказуемых. Под влиянием этого переосмысления старые конструкции с именами существительными мужского и женского рода единственного и всех трех родов множественного числа подверглись уже и внешним изменениям: тип *čistota je liba slyšeti* изменился в тип *čistotu je libo slyšeti* и т. п.

В ходе указанных изменений инфинитив, наряду с чисто обстоятельственными функциями, приобрел также функции, приближающие его к личному глаголу (способность управления прямым дополнением) и одновременно к именительному падежу существительного (*способность выступать в роли подлежащего*). В результате субстантивации и вербализации инфинитива его обстоятельственное значение цели превратилось в значение возможности или необходимости (стр. 175—176). Предлагаемое понимание путей развития функций инфинитива вскрывает и исторические корни специфических для инфинитива связей с дательным падежом и других свойственных ему конструкций (стр. 176—177).

Не менее показательным для характеристики метода Ф. Травничка является и то место в разделе о полупредикативном употреблении именных частей речи, где дается обстоятельное и последовательное изложение условий и путей превращения полупредикативных прилагательных, согласовывавшихся с подлежащими или прямыми дополнениями, в наречия на *-o* (стр. 126—130).

Нет надобности останавливаться на других, более частных достоинствах книги Ф. Травничка, вполне естественных при характерных для нее полноте и всесторонности охвата материала и широком обобщении связей между наблюдаемыми историческими явлениями. Все же не все части книги в равной мере заслуживают безоговорочного признания. Именно тот факт, что в работе не просто излагаются общепринятые сведения по историческому синтаксису чешского языка, а делается ряд серьезных попыток нового подхода к различным синтаксическим явлениям, обусловливает наличие ряда спорных положений или выводов. Так, например, приступая к освещению исторического развития функций инфинитива, Ф. Травничек отклоняет общераспространенное мнение о том, что инфинитив первоначально представлял собой отглагольное имя существительное в форме дательного падежа. Отмечая, что «развитие инфинитива в исторический период движется от наречного значения к субстантивному», что в более ранние периоды исторического развития чешского языка, отраженного в памятниках, инфинитив имеет «наречное» значение чаще, чем в более поздние периоды (стр. 167), Ф. Травничек делает вывод, что инфинитив по своему происхождению является отглагольным наречием и что только из этого наречного значения инфинитива развивается впоследствии значение субстантивное (стр. 168).

Известно, однако, что никакие производные наречия (а именно таким наречием следует признать инфинитив, согласно Ф. Травничку) не были наречиями с самого начала, что все они являются застывшими формами каких-либо других частей речи. Поэтому нет никаких оснований отрицать первоначально субстантивный характер инфинитива, выполнявшего в качестве формы дательного падежа сначала обычную для нее функцию обстоятельства цели и лишь впоследствии потерявшего всякую связь с категорией имени существительного. Что же касается так называемой «субстантивации», наблюдающейся у инфинитива в более поздний период развития славянских языков, то, во-первых, это уже вторичное вовлечение инфинитива в сферу имени существительного, не имеющее ничего общего с его происхождением, во-вторых же, «субстантивация» здесь оказывается далеко не полной, так сказать «контекстуальной», поскольку инфинитив сблизился с именем существительным лишь в отношении некоторых синтаксических функций, сохранив, однако, все свои отличия от имени существительного в плане морфологическом.

[1] W. Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik, Bd. II — Formenlehre und Syntax, 2-e Aufl., Göttingen, 1928, стр. 263, 408.

В иных случаях в рассматриваемой книге наблюдается некоторое хронологическое перемещение процессов возникновения отдельных синтаксических категорий в относительно поздние периоды развития славянских языков. Так, например, считая, что сочинительные союзы *a*, *i*, *ale*, *však* первоначально представляли собой междометия со значением «вот», имевшие самостоятельную фразную функцию (стр. 16—17, 46—85), Ф. Травничек и в тех случаях, когда эти союзы присоединяют главные предложения к придаточным условным, уступительным, временным и т. п., оформленным соответствующими подчинительными союзами или союзными словами (например, *ač jsem ml d ělem, ale stár jsem srdcem*), возводит функцию сочинительных союзов при главных предложениях к первоначальной междометной функции этих союзов (стр. 46). Однако такое возведение вряд ли возможно, если помнить, что сочинительные союзы должны были окончательно сформироваться как категория еще до возникновения подчинительных союзов и союзных слов. В таком случае даже наиболее древние сложноподчиненные конструкции с подчинительными союзами включали в свой состав союзы *a*, *i*, *ale*, которые утратили уже какую бы то ни было связь со своим предшествующим несоюзным состоянием. Поэтому кажется лишенным реальной почвы и следующее обобщающее положение автора, высказанное в связи с развитием данного типа конструкций: «Изменение первоначального междометного значения в союзное явилось отражением усовершенствования мышления, того, что говорящие осознавали смысловую связь обоих предложений» (стр. 46).

Подобно значению союзов *a*, *i*, *ale* после придаточных предложений, Ф. Травничек объясняет значение союза *jež* (*ježto*) в его причинной функции (*dělati nemožieše, jež solě ruče zhryzla*), тем, что первоначально этот союз в таких конструкциях имел междометное значение «вот» (стр. 93). При таком объяснении конструкций указанного типа следует, с одной стороны, предположить у них длительный период предшествующего развития, на протяжении которого «междометие» *jež* в их составе превратилось в причинный союз, с другой стороны, признать, что междометный характер сохранялся у *jež* до того времени, пока не стали развиваться придаточные конструкции с причинным значением. Однако такие отмечаемые самим автором факты, как необычность подобных конструкций в древних памятниках (где они в части случаев смешиваются еще с относительными) и наличие их в современном чешском языке, преобладание в древних памятниках причинных конструкций с другими союзами и широкое распространение в древности придаточных относительных с *jež* (*ježto*), говорят о том, что причинная функция *jež* является вторичной по отношению к его относительной (а может быть, и изъяснительной) функции[1]. Следовательно, предполагать междометное значение *jež* (*to*) в тот период, когда этот союз начал использоваться в причинных конструкциях — значит допускать известный анахронизм в освещении развития синтаксического строя.

Осуществленная в книге попытка сведения первоначальных функций большинства союзов и союзных слов [*a*, *i*, *ale* — стр. 46; *nali(t')* — стр. 47; *ano* — стр. 16, 49; *že* — стр. 56, 117; *ježe*, *jež(to)* — стр. 93, 103; *jako* — стр. 58; *však* — стр. 85; *jedy*, *jeda* — стр. 87 и др.] к междометному значению «вот» кажется слишком прямолинейной. Что касается союзов *nali(t')* и *an(o)*, то их указательно-междометное происхождение, доказанное уже И. Зубатым[2], не только не вызывает каких-либо сомнений, но и довольно четко прослеживается в самом функционировании этих слов в качестве союзов. Иначе обстоит дело с остальными союзами и союзными словами, которые Ф. Травничек считает возможным присоединить к *nali* и *ano*. Прежде всего, вряд ли может быть оправданным приписывание одного и того же междометного значения целому ряду слов, отличных друг от друга как по своей грамматической природе, так и по своим этимологическим связям (ср. этимологическую неопределенность частиц *a*, *i*, *ale* и несомненные остатки местоименной природы у слов *jako*, *však*, *jež*, *ješto* и т. п.). По-видимому, у всех союзов местоименного происхождения указательность может предполагаться лишь как общий оттенок их былого значения, сопровождавший основные значения (места, времени, субстанции, качества и т. п.), различные у каждого из соответствующих местоименных слов с самого начала. Поэтому, например, развитие функции *jedy* в конструкции типа *jedyžto přijidú do Syrie* следует объяснять не так, будто первоначально эта конструкция означала «вот, пришли в Сирию» и только «со временем *jedy*... приобрело значение временного союза» (стр. 87), а так, что *jedy* с самого начала имело указательно-временное значение наречия *togda*, постепенно же его указательный оттенок значения изменился в относительный. Это же касается

[1] Ср. аналогичное развитие причинной функции у союзов *что*, *що*, *што* в восточнославянских языках: Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка т. II, Киев, 1953, стр. 331—332; «Курс сучасної української літературної мови», т. II, Київ, 1951, стр. 290—291; Е. Ф. Карский, Белорусы. Язык белорусского народа, вып. 2—3, М., 1956, стр. 486—487.

[2] См. J. Zubatý, Studie a články, Praha: sv. I, č. 2, 1949, стр. 44—57; sv. II, 1954, стр. 53—106.

и других союзов и союзных слов местоименного или местоименно-наречного происхождения, которые никак невозможно возвести к недифференцированному значению «вот». В частности предполагать это значение в качестве основного для слова *však* (причисляемого, кстати, к союзам весьма условно, даже с точки зрения современного чешского языка) едва ли возможно.

Но несводимостью первоначальных значений союзов местоименного происхождения к функции указательного междометия не ограничиваются трудности, возникающие в случае принятия точки зрения Ф. Травничка; ничем фактически нельзя подтвердить не только первоначально междометную, но даже просто указательную функцию союзов *a*, *i*, *ale*. Наличие в славянских языках междометий *a* или *i* в пользу этого предположения абсолютно ничего не говорит, так как, во-первых, данные междометия нигде указательного значения не имеют, во-вторых же, в славянских языках имеются и междометия *o*, *u*, что отнюдь не служит поводом для того, чтобы этим обосновывать, скажем, междометное происхождение предлогов *o*, *u*. Таким образом, положение о первоначально междометном характере союзов *a*, *i*, *ale* в славянских языках остается пока только гипотезой.

Наконец, особо следует отметить сомнения, вызываемые утверждением Ф. Травничка, будто и союз *že* представлял собой в прошлом междометие *že* все с тем же указательным значением «вот». Бесспорным доказательством такого происхождения союза *že* Ф. Травничек считает один несомненный и один сомнительный пример из памятников, где *že* соответствует латинскому *ecce* (стр. 56). Однако нет никаких причин расценивать это *že* иначе, чем фонетическую (а возможно, и морфологическую) разновидность указательной частицы *ež*, более обычной со значением *ecce* в древнечешском и отмечаемой в связи с *že* самим автором. Что касается частицы *ež*, то ее генетическое тождество с *ježe*, *jež* не вызывает сомнения и у Травничка, хотя, как уже было указано, эти последние формы он тоже рассматривает как указательные междометия в прошлом. Но если признавать фонетическими вариантами, с одной стороны, *jež*(*e*) и *ež*(*e*), а с другой — *že* и *ž'*, то вряд ли можно найти сколько-нибудь серьезные препятствия к тому, чтобы в условиях частой употребительности союза *eže* (а может быть, и **iže*) предположить возможность утраты этим словом начального гласного и превращения в *že*[1]. Абсолютный параллелизм функций *že* и (*j*)*eže* как изъяснительных союзов в древнечешском не оставляет никаких сомнений в тождественности их происхождения. Ввиду невозможности другого объяснения союза *že* такие сомнения до сих пор ни у кого и не возникали, и только преувеличение роли предполагаемых указательно-междометных функций в развитии функций союзов заставило Травничка оторвать *že* от *ježe* и признать его отдельным союзом, возникшим из междометия *že*.

Серьезные возражения вызывает толкование исторического развития синтаксических функций деепричастий из функций общеславянских активных причастий. Ф. Травничек считает, будто в древнем языке деепричастия выступают как именные предложения (стр. 180). «Фразная функция деепричастий,— пишет автор дальше,— является несомненно древней. Это вытекает как из древности именных предложений вообще (§ 9), так и из того, что деепричастия образуют с глагольными предложениями по форме сложносочиненные предложения, внутри которых смысловое отношение предложений часто бывает подчинительным» (стр. 181). Однако эти аргументы вряд ли могут быть достаточными для отнесения древних причастных оборотов к числу обычных именных предложений. Для этого необходимо доказать, что старые причастия с относящимися к ним словами или без них могли функционировать как *самостоятельные* простые предложения, хотя бы подобно междометиям или обращениям. Но по отношению к старым причастиям, до тех пор пока они сохраняли свои обычные функции, этого сказать нельзя: ни одно деепричастие без вспомогательного глагола в личной форме не могло функционировать без наличия глагольного или именного со связкой предложения; оно представляло, таким образом, лишь составную часть предложения, осложняя его указанием на дополнительное действие или состояние, для выражения которого не требовалось отдельного предложения (например: *zjevi sě děťatko, nesa v košíku ovoce*).

Ничего не говорят в пользу признания древних причастных оборотов предложениями и известные в древних памятниках случаи употребления сочинительных союзов между оборотом и основной частью предложения (*nechav jedenie i poče... plakati*; *některé zjímav a vedl do Babylona*). Помимо убедительного объяснения этого явления, данного уже А. А. Потебней, считавшим старые причастия второстепенными сказуемыми по отношению к основным сказуемым в одном и том же предложении[2], следует учитывать также указание Л. А. Булаховского о возможности влияния на подобное употребление со стороны «параллельных сочетаний — с настоящими придаточными

[1] Ср. А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. IV, М.— Л., 1941, стр. 227.

[2] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 185—194.

предложениями, за которыми шли в древнерусском (а также, добавим от себя, и в древнечешском, как это отмечает и Травничек — *В. К., А. М.*) главные, тоже начинавшиеся с *и, а...*»[1]. Наконец, тот приводимый Ф. Травничком факт, что причастия в старом языке употреблялись также в качестве составных форм сказуемого типа *jsem nesa*, вообще никакого отношения к самостоятельно-предикативной функции причастий не имеет. И даже не потому, что такое употребление причастий является якобы более поздним, чем употребление их без связки (это вряд ли верно), а прежде всего потому, что обороты типа *jsem nesa*, имеющие специальное грамматическое значение длительности или обычности действия и, вопреки мнению А. А. Потебни, представляющие собой не составные сказуемые, а особые личноглагольные формы, не могут быть признаны простым формальным видоизменением употребления причастий без связок, как это считает Ф. Травничек (стр. 182—183).

Мало убедительны толкования оборотов типа: *činíš se nevěda* (стр. 185), *vizu tě ležiec* (стр. 187), *nenie kto pomoha* (стр. 185) как первоначально означавших якобы *činíš se, neviš*; *vidím tě, ležiš*; *není, kdo by pomohl*. При этом обходится молчанием вопрос о том, почему же в более древних памятниках славянских языков (например, в церковнославянском) для этих конструкций было обязательным согласование причастия с дополнением к сказуемому в первых двух случаях и с подлежащим в последнем случае. А между тем эти примеры, как и вся совокупность относящихся к данному вопросу фактов, свидетельствуют о том, что наиболее древняя из доступных исследованию функций старых славянских причастий заключалась в атрибутивном по форме и полупредикативном по содержанию выражении действия или состояния, второстепенного по отношению к действию сказуемого того предложения, в состав которого входило причастие.

В качестве одного из доказательств абсолютно-предикативного характера причастий в древности Ф. Травничек приводит факты типа *он женивши(сь)* из севернорусских говоров, представляющие собой пережитки старого употребления причастий в роли самостоятельных сказуемых. Действительно, подобные конструкции имеют в роли сказуемых старые причастия, не нуждающиеся (и, кстати, никогда не нуждавшиеся) в связке. Более того, старые деепричастия мужского рода на *-(в)ъ* распространились в роли самостоятельных сказуемых в украинском и белорусском языках[2]. Но эти факты отражают не древнейший характер причастий, а только результат последующего изменения синтаксических функций в процессе утраты ими атрибутивной роли. Об этом свидетельствуют и данные восточнославянских письменных памятников.

Касаясь порядка слов, Ф. Травничек с достаточной точностью характеризует древнее состояние и дальнейшие изменения в расположении энклитик и предлогов. В той мере, в какой это позволяли чисто формальные критерии (согласованность — несогласованность, распространенность — нераспространенность и т. п.), рассмотрены также особенности расположения определений по отношению к определяемому существительному (стр. 153—159). Следует, однако, пожалеть, что автор не счел нужным привлечь к анализу порядка слов решающие в данном случае смысловые критерии, с успехом применяемые в подобных случаях другими чехословацкими лингвистами вслед за В. Матезиусом[3]. Учет этих критериев, как нам кажется, дал бы возможность глубже уяснить не только наблюдаемые в памятниках разновидности расположения определений, но и некоторые вопросы, на первый взгляд не имеющие отношения к порядку слов. В частности, выдвинутое Ф. Травничком утверждение, что относительные предложения с союзными словами указательного происхождения типа *jenž, jež, jedy* и т. п. выполняли в древности функцию распространения члена главного предложения, а относительные предложения с союзными словами вопросительного происхождения типа *kto, který, kdy* и т. п. — функцию распространения всего главного предложения в целом (стр. 100, 106—107, 109), можно было бы уточнить. Следовало бы указать на то, что значение обстоятельственности всех относительных предложений, начинающихся с *kto, který* и т. п., объясняется обычно для них, в силу их происхождения, позицией перед главным предложением, поскольку любая семантически самостоятельная часть предложения, не несущая основного смыслового веса предложения, располагаясь в начале последнего, приобретает роль выразителя исходной части мысли с постоянным — почти при всяком ее оформлении — общим оттенком условия, не свойственным в таких

---

[1] Л. А. Булаховский, указ. соч., стр. 362—363.

[2] Подробнее см.: А. С. Мельничук, Развитие предикативного употребления причастий на *-(в)ъ, -(в)ъш* в восточнославянских языках, сб. «Славянское языкознание», т. I, Киев, 1957 (печатается).

[3] См.: V. Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt, Praha, 1947 (статьи «O tak zvaném aktuálním členění větném», «Základní funkce českého pořádku slov» и др.); E. Paulíny, Slovosled a aktuálne vetné členenie, «Slovenská reč», ročn. XVI, № 6, 1950—1951; см. также по этому вопросу статьи того же автора в №№ 7 и 8 того же тома и более поздние работы других авторов.

случаях только группе сказуемого [ср. *kterýžť nechtěl uvěřiti, ten v svém hoři musil býti* (стр. 105) и *ten v svém hoři musil býti, jenž nechtěl uvěřiti*]. Нечего уж и говорить о том, что применение смысловых критериев могло бы привести к раскрытию отдельных интересных особенностей, характеризующих также и взаимное расположение других членов предложения, оставшихся в книге с этой точки зрения не рассмотренными.

Здесь нет возможности остановиться на вопросе о связи между структурой языка и характером мышления, разрешаемом, по нашему мнению, слишком прямолинейно, и на некоторых других, менее важных местах работы Ф. Травничка, кажущихся нам в той или иной степени спорными. Сюда относятся, например:

Признание имени существительного в дательном падеже или предложной конструкции главным членом в предложениях типа *ach mně smutnéj, auvé mně, ach na tě* (стр. 9), в которых, по нашему мнению, главным членом является междометие, управляющее дополнениями по аналогии к *běda mi* и т. п. (как и в др.- русск. *увы мнѣ*, укр. *тьху на тебе* и др.);

утверждение, согласно которому «именные предложения, несомненно, представляют собой более старый тип предложений, чем глагольные» (стр. 12). Это могло бы быть верно лишь в том случае, если бы было доказано более древнее существование имен в подлинном смысле слова по отношению к глаголам или же если под «именными» и «глагольными» предложениями понимать предложения без связки и со связкой при именном сказуемом;

отнесение предложений с подлежащим *lidé* к категории обобщенно-личных (стр. 32 35—36)— в один ряд с предложениями типа [*bolest přestala*], *jako když utne, když člověk ustane, s poctivosti nejdál dojdeš*, хотя слово *lidé* в соответствующих предложениях употребляется не в обобщенном, а в своем обычном значении (*lidé mluviechu* и т. п.);

положение о том, что «желательное и целевое значение воспринимается во времени лишь как настоящее или будущее: *at' jde, přijde // aby psal, napsal*» (стр. 67), которое следовало бы уточнить оговоркой о возможности также и значения прошедшего у этих форм в случае их зависимости от главных, оформленных прошедшим временем;

неубедительность ссылок на роль энклитик как показателей былой синтаксической природы тех частей предложения, за которыми они могут или не могут следовать. В одних случаях (стр. 42, 46, 150) невозможность употребления энклитик после *a, i, ale* считается доказательством первично самостоятельного фразного характера *a, i* и т. п. как междометий, между тем как в других случаях (стр. 19, 73) употребление энклитик после *ano, nalit', necht'*, фразный характер которых в прошлом менее сомнителен, рассматривается уже лишь как показатель слияния слов *ano, necht'* и т. п. с остальной частью предложения в единое предложение, хотя слияние этих частиц с предложением ничуть не сильнее, чем в случае с *a*;

неточное утверждение, будто в так называемом ситуационно вторичном проявлении речи (в косвенной речи) грамматическое лицо, не относящееся в прямой речи к самому говорящему, всегда совпадает с лицом, обозначенным во вводящем предложении (в словах автора), например: *rád vám pomohu // řekl vám, že vám pomůže*; *řekl nám, že nám pomůže*; *řekl jim, že jim pomůže* (стр. 116), хотя при *rád jim pomohu* возможно как *řekl jim, že jim pomůže*, так и *řekl nám* (*vám*), *že jim pomůže*;

неточное понимание винительного полупредикативного в конструкции типа *Josef neduóstojna se mně* как стоящего якобы вместо именительного (стр. 141; ср. также стр. 125, где в подобном случае отмечается несогласованность определения с подлежащим), между тем как винительный падеж определения в этих случаях издавна соотносится и согласуется с дополнением *se*, превратившимся в частицу лишь впоследствии, когда такое согласование с ним перестало быть возможным);

некоторые неисправленные опечатки, в том числе такая, как «Infinitiv» вместо «Dativ» (на стр. 176, 11 св.), и т. п.

Таким образом, наряду с несомненными достоинствами, обусловленными широким охватом фактического материала и постоянным вниманием автора к общим, пока еще мало исследованным тенденциям развития синтаксического строя чешского языка, начиная с общеславянского периода, в книге Ф. Травничка имеются и некоторые положения, вызывающие сомнение и требующие известного пересмотра и уточнения. Тем не менее они отнюдь не уменьшают важности книги Ф. Травничка как глубокого и своеобразного обобщения результатов новых исследований в области исторического синтаксиса чешского языка. Вызывая к себе живой интерес оригинальностью и смелостью подхода к ряду вопросов, книга Ф. Травничка наводит на новые мысли и, несомненно, послужит серьезным стимулом для дальнейшей разработки соответствующих вопросов истории славянского синтаксиса.

В. Т. Коломиец и А. С. Мельничук

Ш. Ш. Сарыбаев. **Библиографический указатель по казахскому языкознанию.** Отв. ред. С. К. Кенесбаев.— Алма-Ата, Изд-во АН Казахск. ССР, 1956. 98 стр. [На казахск. и русск. языках].

Казахские языковеды, преподаватели вузов, учителя школ, а также студенты до последнего времени остро ощущали отсутствие какого-либо справочника-указателя по казахскому языкознанию. Несомненно, большую помощь им окажет «Библиографический указатель по казахскому языкознанию», составленный канд. филол. наук Ш. Ш. Сарыбаевым. «Указатель» включает в себя около 1800 названий книг, монографий, брошюр, журнальных и газетных статей как на казахском, так и на русском языках.

Сведения для «Указателя» были подобраны самим составителем, так как до него никто не занимался собиранием библиографических материалов по казахскому языкознанию. Достигнуть успеха в этой трудной и кропотливой работе составителю, возможно, помогло и то обстоятельство, что он является специалистом по казахскому языку а не библиографом-любителем.

«Указатель» состоит из краткого вступления («От составителя») и двух основных частей. Первая часть («Дореволюционная литература») охватывает материал начиная со второй половины XIX в. по 1916 г. Ввиду малочисленности представленной литературы в этой части не выделены тематические разделы. Во второй части («Послереволюционная литература») собраны материалы по казахскому языкознанию начиная с 1917 г. по 1955 г. включительно. Материал здесь разбит на девять тематических разделов, внутри каждого из которых имеются рубрики: «Материалы на казахском языке» и «Материалы на русском языке». Подобной рубрикации не имеют лишь раздел «Учебники» и подраздел «Словари».

Вторая часть «Указателя» состоит из следующих разделов: 1) «Общий раздел»; 2) «Вопросы грамматики» — а) «Морфология», б) «Синтаксис»; 3) «Вопросы фонетики»; 4) «Вопросы алфавита и орфографии»; 5) «Вопросы лексикологии и лексикографии»— а) «Лексика. Терминология», б) «Словари»; 6) «Вопросы диалектологии и истории языка»; 7) «Учебники»; 8) «Язык и литература. Вопросы перевода»; 9) «Критика и библиография».

Внутри каждого раздела материал расположен в алфавитном порядке по фамилиям, а если автор не указан, то по названию работы. В тех случаях, когда из заглавия работы не ясно, о чем идет речь, в скобках даются очень краткие пояснения относительно ее содержания. Фамилии, которые удалось восстановить предположительно, заключены в квадратные скобки. Нумерация материала отсутствует.

Систематизация материала по хронологическому и тематическому принципам, размещение его в алфавитном порядке в рецензируемом «Указателе», безусловно, оправдывают себя. По составу и количеству содержащейся в нем литературы, по принципам и методике построения «Указатель» вполне отвечает всем требованиям современных библиографических справочников.

Однако необходимо отметить, что в работе имеются и упущения. Так, в «Указатель» не включены следующие материалы, имеющие непосредственное отношение к казахскому языкознанию: Н. Т. Сауранбаев, К вопросу об образовании казахского языка, «Доклады советской делегации на XXIII Международном конгрессе востоковедов. Секция Ирана, Армении и Средней Азии», М., 1954; А. К. Боровков, Изучение языков народов Средней Азии и Казахстана в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания, «Уч. зап. Ин-та Востоковедения [АН СССР]», т. IV — Лингвистический сборник, М., Изд-во АН СССР, 1952; У. К. Киселков, Материалы для словаря казахско-русско-латинских названий растений, «Изв. АН Казахск. ССР», Серия биологическая, вып. 9, Алма-Ата, 1955; П. П. Поляков, О казахских ботанических терминах, «Вестник АН Казахск. ССР», 1950, № 6 (63); В. Н. Исаин, Ботаника, Алма-Ата, 1954 [на казахск. яз.]. См. разделы «Словарь терминов» и «Названия растений, принадлежащих к одному виду» (стр. 663—690); С. Кляшторный, Яксарт — Сыр-Дарья, «Сов. этнография», 1953, № 3; E. Berezine, Recherches sur les dialectes musulmans, partie I — Systeme des dialectes turcs, Casan, 1848 (в книге имеется раздел, посвященный казахскому языку).

Некоторые статьи, посвященные различным вопросам казахского языка, в «Указатель» не попали потому, что их названия или названия изданий, где они помещены, связаны с именем акад. Н. Я. Марра[1]. Не следовало бы опасаться вынести на суд читателей некоторые материалы, тематика которых связана с «новым учением о языке» Н. Я. Марра

Нам думается, что нельзя оправдать отсутствие в «Указателе» литературы методического характера, программ по казахскому языку для высших учебных заведений,

[1] См., например: С. К Кенесбаев, Н. Я. Марр и развитие казахского литературного языка и письменности в советское время, «Вестник АН Казахск. ССР», 1950, № 2 (59); А. Бернштам, О древнейших следах джекания в тюркских языках Средней Азии, сб. «Памяти акад. Н. Я. Марра (1864—1934)», М.— Л , 1938.

средней, неполной средней и начальной школы, а также авторефератов докторских и кандидатских диссертаций.

Нельзя считать нормальным и отсутствие в «Указателе» перечня стабильных учебников по родному языку для казахской начальной школы. Имеющее место в «Указателе» стремление приводить учебники лишь самого последнего издания, не оговаривая их предыдущих изданий, приводит к некоторым несообразностям. Так, в разделе «Критика и библиография» в числе других указаны рецензии на те издания учебников, которые в «Указателе» как раз не упоминаются.

В «Указателе» особо не отмечены также отдельные сборники по казахскому языкознанию; статьи же, вошедшие в эти сборники, распределены по тематическим разделам в алфавитном порядке фамилий их авторов. Как нам кажется, сборники по казахскому языкознанию следовало бы перечислить в начале «Общего раздела». Что касается статей отдельных авторов, содержащихся в том или ином сборнике, то, приводя их в соответствующем тематическом разделе, можно было бы ссылаться на порядковый номер сборника.

Нельзя не упомянуть также о неправильном порядке размещения ряда статей по тематическим разделам. Это касается рецензий Е. Меирманова, М. Нурышева и К. Макашева, Б. Сарыбаева на «Русско-казахский словарь» (М., 1954), которые неправильно включены в раздел «Вопросы лексикологии и лексикографии». Неоправданным представляется разнобой в тематическом размещении материалов, посвященных вопросам транскрипции и произношения географических названий.

Недостаточную последовательность проявил Ш. Ш. Сарыбаев также и в отношении размещения иностранных изданий нашего времени. Так, книга И. Бенцига (J. B e n z i g, Einführung in das Studium der altaischen Philologie und Turkologie, Wiesbaden, 1953) включена в первую часть «Указателя» («Дореволюционная литература», стр. 10). В то же время перевод второй части «Краткой грамматики казак-киргизского языка» П. М. Мелиоранского на французский язык [P. M. M e l i o r a n s k i, La syntaxe kirghize, traduite du russe par E. de Zacharko et commentée par W. Bang (Extrait du Muséon, t. XXXV), Louvain, 1922], в описании которого, кстати, допущены ошибки и грубые опечатки, отнесен ко второй части (см. II. «Послереволюционная литература», раздел 7. «Учебники», стр. 76).

В то же время в «Указателе» дается описание некоторых материалов, не имеющих прямого отношения к казахскому языку (несколько стихотворений о русском языке, в переводе на казахский язык — сборник «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина», М., 1952).

Работу читателя с «Указателем» в определенной мере затрудняет отсутствие именного указателя, этого существенного приложения к любому библиографическому справочнику.

Внимательно просматривая «Указатель» Ш. Ш. Сарыбаева, нельзя не заметить и других, более мелких упущений автора. Так, указывая, что «в квадратные скобки нами взяты те фамилии, которые нам предположительно удалось восстановить» (стр. 6), составитель неправильно применяет эти скобки при транскрибировании иностранных фамилий, например: [Вамбери] Vambéry (стр. 10).

Одни и те же издания, приводимые в разных отделах «Указателя», описываются иногда неодинаково (ср., например, «Тюркологический сборник»— на стр. 40 и 87), недостаточно точно передается подчас название книги (стр. 10); особенно много неправильностей и грубых опечаток допущено при описании немногих иностранных изданий, указанных составителем (см. стр. 13, 76).

Вышеуказанные недостатки и упущения, разумеется, не могут умалить достоинства рецензируемого «Указателя», мы остановились на них для того, чтобы помочь составителю в дальнейшем собирании и обработке материалов. В целом же «Указатель» окажет большую помощь филологам-казаховедам, учителям и преподавателям в их творческой работе. «Указатель» Ш. Ш. Сарыбаева, изданный тиражом в 1600 экз., быстро разошелся среди читателей. Остается пожелать, чтобы второе, исправленное и дополненное издание этой полезной книги было выпущено бо́льшим тиражом.

А. Курышжанов

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЮБИЛЕЙ ОСТРОМИРОВА ЕВАНГЕЛИЯ

В мае 1957 г. исполнилось 900 лет древнейшему крупному датированному памятнику славянской письменности — Остромирову евангелию, получившему свое название по имени новгородского посадника Остромира (середина XI в.), для которого оно и было изготовлено. Судя по записи, имеющейся в нем, работа по переписыванию Остромирова евангелия была начата 21 октября 1056 г. и окончена 12 мая 1057 г.

13—17 мая 1957 г. в Ленинграде состоялись юбилейные открытые заседания Ученого совета Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, где хранится рукопись Остромирова евангелия, а также Методического совета Отдела рукописей библиотеки. Библиотекой были организованы выставки литературы об Остромировом евангелии, документов и материалов, отражающих историю его обнаружения и изучения, выставка отдельных его листов (в настоящее время оно расплетено) и остальных старославянских и русских рукописей XI в., хранящихся в Публичной библиотеке. Кроме членов указанных советов, в юбилейных заседаниях приняли участие работники научных учреждений Ленинграда, ученые из Москвы и других городов, а также ученые из Польши, Болгарии, Чехословакии и Югославии.

Вступительное слово о значении Остромирова евангелия — величайшего памятника древнерусской культуры и письменности — произнес директор Публичной библиотеки канд. истор. наук В. М. Барашенков.

С докладом «Остромирово евангелие в Публичной библиотеке (150 лет хранения и изучения)» выступил хранитель Остромирова евангелия канд. филол. наук Н. Н. Розов (Публ. биб-ка). Он остановился на обстоятельствах нахождения Остромирова евангелия и первых публикациях о нем. Основная часть доклада была посвящена фактам, связанным с изучением Остромирова евангелия в Публичной библиотеке. В связи с докладом на выставке экспонировалась хранящаяся в Отделе рукописей библиотеки первая рукописная копия с Остромирова евангелия. Она была выполнена неизвестным лицом и, по мнению докладчика, относится к первым годам изучения Остромирова евангелия (1806—1808 гг.). Эта рукопись лист в лист, строка в строку, слово в слово передает текст Остромирова евангелия и является в известной степени научным трудом: во многих листах копии приведены разночтения с Полоцким евангелием XIV в. Докладчик осветил деятельность хранителей Отдела рукописей А. И. Ермолаева, А. Х. Востокова и А. Ф. Бычкова в связи с изучением Остромирова евангелия, указал на огромную положительную роль в развитии русской археографии директора Публичной библиотеки А. Н. Оленина — зачинателя изучения Остромирова евангелия. Далее Н. Н. Розов остановился на истории и значении различных изданий Остромирова евангелия. В заключение докладчик кратко осветил историю изучения Остромирова евангелия лингвистами во второй половине XIX в. и первой четверти XX в.

Доклад «Реставрация Остромирова евангелия» сделала старший библиотекарь Е. Х. Трей (Публ. биб-ка). В конце 1954 г. дирекция библиотеки, сказала она, приняла решение о реставрации евангелия. Все реставрационные работы были выполнены собственноручно Е. Х. Трей. Докладчик сообщила, что пергаменные листы рукописи были сильно покороблены в разных направлениях и за 900 лет существования ее загрязнены, особенно в нижних углах. Перед реставрацией были проведены консультации со специалистами разных областей, в том числе с историками искусства и специалистами по обработке кожи. Учитывая величайшую ценность памятника и желая сохранить его и на будущие столетия, реставратор решила отказаться от применения химических веществ для размягчения пергамена и удаления грязи и восковых пятен, поскольку действие химикалиев не проверено во времени. Для размягчения и расправления пергамена были использованы только дистиллированная вода и пресс, а для очистки — мягкая резинка и беличья кисточка. Доклад Е. Х. Трей вызвал большой интерес у присутствующих. Лица, знавшие состояние рукописи до реставрации, выразили в прениях благодарность Е. Х. Трей за любовно и бережно проделанную работу.

В докладе «Остромирово евангелие как памятник искусства» канд. искусствоведения А. Н. Свирин (Гос. Третьяковск. галерея) охарактеризовал миниатюры

и уникальный орнамент Остромирова евангелия. Докладчик указал, что первая из миниатюр (Иоанн) принадлежит дьякону Григорию. А. Н. Свирин описал манеру письма инициалов Остромирова евангелия и осветил происхождение составляющих их тератологических и антропоморфных элементов. Особо остановился докладчик на одном изображении (лист 66 об.) крылатого существа, которое, по его мнению, напоминает сенмурва — существо иранской мифологии, широко представленное в древнеиранском искусстве. К сожалению, в докладе не было уделено достаточного внимания типичным чертам орнамента Остромирова евангелия, продолжающимся в орнаменте и последующих древнерусских рукописей. Между тем этот вопрос имеет значение не только для истории русского искусства, но и для изучения самого Остромирова евангелия: возможно, что сравнительный анализ его орнамента позволит в дальнейшем установить точно место создания памятника.

В докладе «О календаре Остромирова евангелия» канд. филол. наук Н. А. Мещерский (Карельский пед. ин-т) дал анализ месяцеслова Остромирова евангелия с точки зрения его состава и происхождения. Докладчик отметил, что неподвижная часть чтений рукописи имеет много своеобразного и позволяет определить время создания той редакции, к которой принадлежал один из промежуточных списков — предшественников Остромирова евангелия. Н. А. Мещерский установил, что в основу месяцеслова Остромирова евангелия положен константинопольский церковный календарь, составление которого относится к периоду между 828 и 846 гг [в нем отмечен день памяти смерти константинопольского патриарха Никифора (828 г.), но не отмечен день памяти перенесения его мощей (18 мая 846 г.)]. То обстоятельство, что отдельные памяти в месяцеслове Остромирова евангелия указаны по два раза, свидетельствует об использовании разных источников, послуживших для его составления. Выявив некоторые элементы латинофильства в месяцеслове, докладчик указал, что в нем отмечен день памяти смерти Кирилла (869 г.), но нет памяти смерти Мефодия (885 г.). То, что римские памяти, имеющиеся в месяцеслове, связаны именно с этим отрезком времени, заставляет признать одним из источников рассматриваемого месяцеслова список, относящийся к 869—885 гг. Наряду с этим Н. А. Мещерский на основании памяти «Григора епископа Мусии» (8 января) и неправильного перевода слова βασιλεύς при имени императора Константина (21 мая) установил существование промежуточного списка, восходящего к Болгарии начала XI в. Исследование Н. А. Мещерского имеет большое значение для истории славянского текста евангелия и, видимо, еще привлечет к себе внимание ученых, занимающихся историей первых переводов.

По докладу Н. А. Мещерского выступил проф. В. А. Мошин (Загреб). Высоко оценив достоинства доклада, он остановился на истории русско-балканских культурных связей. В. А. Мошин считает, что в период с конца XII — начала XIII вв., когда на Балканах в связи с антибогомильской инквизицией была уничтожена почти вся старая каноническая литература, южные славяне стали ее брать на Руси. Началась мощная волна русского влияния на Балканы, о чем свидетельствует наличие в списках южнославянских месяцесловов имен русских святых и дат, связанных с событиями на Руси.

Канд. педагог. наук А. С. Львов (Ин-т языкознания АН СССР) прочел доклад «Особенности лексики Остромирова евангелия». А. С. Львов подверг детальному разбору большое число слов Остромирова евангелия в сравнении с соответственными словами других, собственно старославянских, памятников. А. С. Львов отметил, что Остромирово евангелие как апракос сохраняет в своем словарном составе следы древнего перевода, в то же время имея много общего и с Саввиной книгой. Один из списков, предшествовавших Остромирову евангелию, был отредактирован в Симсонову эпоху.

Редактирование заключалось в сверке с греческим оригиналом, пополнении (по сравнению с Ассеманиевым евангелием) по славянским тетраевангелиям и в устранении синонимических пар, передававших в первых переводах тонкие различия одного и того же греческого слова; кроме того, были устранены слова, имевшие в восточной Болгарии иное значение, чем в первом переводе, лучше других сохранившемся в Ассеманиевом евангелии. На русской почве текст южнославянского оригинала, который в основном использовал дьякон Григорий, редакторской сверке не подвергался. В заключение А. С. Львов сделал вывод, что при внимательном изучении всех текстов евангелия можно более или менее точно восстановить текст первого перевода и дальнейшие видоизменения этого текста в процессе последующей сверки с греческими оригиналами. В докладе была сделана попытка произвести анализ семантических различий лексических параллелей.

Проф. В. А. Мошин в своем выступлении сообщил, что разночтения, имеющиеся в Остромировом евангелии, свойственны также и Македонскому евангелию XIв. Остановившись затем на истории евангельского текста, он отметил, что этот вопрос все более усложняется. Ассеманиево евангелие во всяком случае не передает первый перевод. В. А. Мошин дал краткую характеристику южнославянских текстов; он остановился также на изучении проблемы первых переводов и их истории в Чехословакии и Югославии.

Канд. педагог. наук Е. Э. Гранстрем (Публ. биб-ка) в своем выступлении указала, что для сличения со славянскими переводами ни в коем случае не следует пользоваться греческим текстом, подобранным А. Х. Востоковым специально к своему изданию из разных источников. При сравнении славянских текстов с византийскими нужно принимать во внимание разные редакции последних и разночтения, которые в них имеются. Греческий апракос как предмет культового ритуала был канонизирован раньше, чем тетраевангелие, что подтверждается особенностями оформления и письма тех и других рукописей. Отметив, что наши ученые не ориентированы в литературе по истории и критике канонических текстов и это вредно отражается на исследовательской работе, Е. Э. Гранстрем призвала покончить с недооценкой изучения этой литературы.

Канд. филол. наук А. В. Позднеев (Моск. заочн. пед. ин-т), показав на примерах из песенников XVII—XVIII вв. постепенную руссификацию текста польской песни, призвал осторожнее строить заключения о редакциях на материале лексических разночтений, так как могла иметь место лишь постепенная болгаризация евангельского текста, которой, возможно, и объясняются указанные А. С. Львовым лексические изменения.

В докладе канд. филол. наук Л. П. Жуковской (Ин-т языкознания АН СССР) «Задачи дальнейшего лингвистического изучения Остромирова евангелия» отмечалось, что в Остромировом евангелии еще имеется много материала для постановки и решения ряда вопросов — а) исторической фонетики: о наличии и качестве отдельных фонем (например, [ў], [ĭ], [ŭ], [ă], [l], [r] и др., о соотношении их между собой (например, [l], ([l]) — [l'] — [l·], [n] — [n'] — [n·]) и др.; б) морфологии: о путях перехода склонения в зависимости от звукового типа основы к склонению по грамматическому роду, о соотношении форм род. и вин. падежей, территориальной и временной локализации отдельных форм (например, вин. падеж ед. числа с окончанием *-е* вместо *-ь* в словах жен. рода с основой на согласный; окончания *-и* или *-ии*, *ихъ* или *ихъ'* и т. д. во мн. числе имен прилагательных вместо *-еи*, *-еихъ* и т. д. других памятников; формы без окончания в 3-м лице глаголов, и др.); в) синтаксиса: о синтаксических единицах, отделенных знаками препинания или раздельным написанием, и др., а также г) лексики. Дальнейшее изучение языка и письма Остромирова евангелия нужно проводить новыми методами. Путем только поисков «отклонений» вряд ли могут быть получены новые результаты. При решении вопроса о диалектной принадлежности писцов Остромирова евангелия нельзя упускать сходства некоторых черт графики и орфографии этого памятника и некоторых новгородских берестяных грамот.

Остромирово евангелие в сопоставлении с другими древними памятниками позволит определить старые школы письма, а сравнение его с аналогичными старославянскими и древнерусскими списками евангелия должно сыграть важную роль для установления границ разных переводов евангельского текста, характера последующих редакторских изменений, а также времени и территорий, где они были произведены. После установления этих фактов славяноведение получит важный материал для определения относительной и — что особенно важно— абсолютной хронологии и понимания сущности древнейших фонетических и грамматических процессов, происходивших в славянских языках и диалектах.

На заключительном заседании в прениях выступили: Н. А. Мещерский, Д. И. Арсенишвили (Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева, Москва), канд. филол. наук Г. Ф. Нефедов (ЛГУ), канд. искусствоведения О. И. Подобедова (Ин-т истории искусств АН СССР). Итоги юбилейной сессии подвел в своем выступлении зав. отделом рукописей Публ. библиотеки канд. педагог. наук С. М. Бабинцев. Участниками сессии было принято решение просить Министерство культуры СССР принять меры для издания Остромирова евангелия.

Л. П. Жуковская

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В области языкознания научно-исследовательская работа Института языка и литературы Академии наук Таджикской ССР ведется по проблемам: таджикского языка, ягнобского языка и сравнительно-исторической грамматики иранских языков.

Изучение таджикского языка включает в себя разработку научной грамматики современного таджикского литературного языка, исторической грамматики, диалектологии и таджикской лексикографии. Опубликована «Грамматика таджикского языка. Часть I. Фонетика и морфология», под ред. акад. Б. Ниязмухамедова и канд-ов филол. наук Ш. Ниязи и Д. Таджиева. В составлении «Грамматики» принимали также участие чл.-корр. АН Таджикской ССР М. Ф. Фазылов, канд-ты филол. наук Р. Л. Неменова, С. Д. Арзуманов, А. З. Розенфельд, Х. Каримов и науч. сотр. Д. И. Эдельман. «Грамматика», предназначенная в качестве учебника для вузов

представляет собою интерес не только для учащихся и специалистов, но и для всех, желающих ознакомиться с основами современного таджикского литературного языка.

Продолжается работа и над второй частью «Грамматики»—«Синтаксисом таджикского языка» (Б. Ниязмухамедов, М. Ф. Фазылов, Ш. Ниязи и др.).

Созданию научной грамматики таджикского языка предшествовала большая работа по написанию отдельных грамматических очерков. Так, были опубликованы работы Ш. Ниязи «Имена существительные и прилагательные в таджикском языке», Д. Таджиева «Причастия в современном таджикском литературном языке», В. С. Расторгуевой «О формах конъюнктива (сослагательного наклонения) в современном таджикском литературном языке», ее же «Краткий очерк фонетики таджикского языка», Р. Л. Неменовой «Предлоги в таджикском языке», А. З. Резенфельд «Глагол», ее же «Материалы к исследованию сложносоставных глаголов в современном таджикском языке».

В области исторической грамматики таджикского языка в Институте написана (В. А. Лившицем) первая часть этой грамматики с древнейших времен до VIII—IX вв. н. э. Работа охватывает историю таджикского языка древнего и среднего периодов. Для древнего периода основным материалом явились ахеменидские надписи, для сравнения привлечены материалы из авестийского языка. Для среднего периода использованы опубликованные манихейские тексты и ряд памятников пехлевийской письменности. В разделе «Фонетика» приводится краткий очерк истории таджикских звуков по этапам. В разделе «Морфология» прослеживается история основных грамматических категорий частей речи.

По диалектологии под редакцией В. А. Лившица опубликованы «Рушанские тексты» (составитель А. К. Писарчик), издана работа Л. В. Успенской «Каратагский говор таджикского языка» (описание одного из диалектов таджикского языка северо-западной группы). Вышла в свет работа Р. Л. Неменовой «Кулябские говоры таджикского языка» (северная группа). Заканчивается работа по матчинским говорам таджикского языка (А. Л. Хромовым).

В области лексикографии в Институте продолжается работа по картотеке лексических и фразеологических материалов из произведений классиков таджикской литературы XI—XIX вв. для толкового словаря таджикского языка; составлен макет этого словаря. Словарь должен быть подготовлен к печати в конце 1958 г. и будет охватывать 15—20 тысяч слов. Главный редактор словаря — писатель А. Дехоти, составители — Я. И. Калонтаров, И. А. Ализаде, Х. Рахимов, В. А. Капранов.

Сданы в печать терминологические словари по физике, математике и хлопководству. Под ред. М. Ф. Фазылова вышел в свет школьный «Русско-таджикский словарь», составленный Х. Каримовым и С. Д. Арзумановым. Подготавливается большой «Русско-таджикский словарь», который охватит от 80 до 100 тысяч слов (этот словарь выйдет в свет в 1960 г.).

По линии изучения ягнобского языка В. А. Лившицем и А. К. Писарчик опубликованы «Ягнобские тексты», записанные членом-корр. АН СССР М. С. Андреевым и Е. М. Пещеровой. По заданию Института языка и литературы д-ром филол. наук М. Н. Боголюбовым выполнена капитальная работа «Ягнобский (новосогдийский) язык». Первая часть этого исследования посвящена описанию фонетической системы и грамматического строя ягнобского (новосогдийского) языка. Материалом для описания послужили записи ягнобских текстов, фраз и лексики, произведенные М. Н. Боголюбовым в долине реки Ягноб в 1947 и 1952 гг., а также имеющиеся ягнобские публикации и неизданные ягнобские материалы А. Л. Кука и Мирзы Муллы Абдурраxмана, Е. Ф. Каля, К. Г. Залемана, М. С. Андреева и Е. М. Пещеровой. Кроме того, использована новая грамматика согдийского языка, изданная И. Гершевичем в 1954 г. в Оксфорде.

Во второй части работы дано сравнительно-историческое истолкование фонетических и грамматических фактов ягнобского языка. Сюда вошли: 41 оригинальный и 28 переводных ягнобских текстов, записанных автором, и их перевод на русский язык. Здесь же помещен ягнобско-русский словарь с этимологическими комментариями, обнимающий лексику, содержащуюся как в записях автора, так и в привлеченных им изданных и неизданных ягнобских материалах.

Ягнобский язык является живым восточноиранским языком и представляет в своем развитии один из диалектов согдийского языка. В этом и заключается научная ценность ягнобских языковых фактов для сравнительно-исторического иранского языкознания. Ягнобский язык, изученный в свете согдийского материала, становится внутри восточноиранской языковой группы необходимым звеном в цепи преемственного развития языка от древнеиранского к согдийскому и далее к новосогдийскому или ягнобскому языку.

По проблеме сравнительной исторической грамматики иранских языков разрабатываются две темы: «Язгулемский язык» и «Расшифровка парфянских документов I века до нашей эры из древней Нисы». Научным сотрудником Д. И. Эдельманом собран обширный материал по язгулемскому языку, наименее изученному из памирских языков, и написан грамматической очерк некоторых частей речи

язгулемского языка (глагол, предлоги, послелоги, местоимения и числительные).

Работа по расшифровке парфянских документов координируется с Институтом востоковедения АН СССР. Исполнителями этой работы И. М. Дьяконовым и В. А. Лившицем протранскрибировано около 1900 парфянских документов и расшифровано около 1600 парфянских текстов.

Проделанная Институтом работа отнюдь не означает, что в области таджикского языкознания все сделано. Предстоит исследовать еще многие вопросы истории языка, диалектологии, сравнительного изучения иранских языков, истории литературы классического периода и др.

А. П. Колпаков

ПЕРВАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОСТОКОВЕДОВ

С 4 по 11 июня в Ташкенте проходила Первая всесоюзная конференция востоковедов. В работе конференции приняли участие ученые нашей страны, Китайской Народной Республики, Польской Народной Республики, Чехословацкой Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Монгольской Народной Республики, Демократической Республики Вьетнам, Румынской Народной Республики Как было отмечено директором Института востоковедения АН СССР Б. Гафуровым, основная задача данной конференции заключалась в том, чтобы сообща выработать меры по скорейшему выполнению задач, поставленных перед востоковедами историческим XX съездом КПСС. На пленарных и секционных заседаниях было заслушано и обсуждено 120 докладов. Лингвистические вопросы обсуждались преимущественно на Секции восточных языков.

Доклад чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебренникова (Москва) «Основные проблемы развития филологической науки на ближайшее пятилетие» был прочитан на объединенном заседании трех филологических секций. Дав критический анализ работы лингвистов в советский период, докладчик выдвинул четыре проблемы, требующие сейчас глубокого изучения: 1) образование и развитие литературных языков; 2) сравнительно-историческое изучение семей и групп языков; 3) вопросы лексикологии, семасиологии и теории лексикографии; 4) закономерности исторического развития общенародного разговорного языка и местных диалектов.

Большой интерес вызвал доклад проф. И. М. Ошанина (Москва) «Вопросы языкознания в Китайской Народной Республике». Современное китайское языкознание, сообщил докладчик, строится на базе марксистско-ленинской теории; его содержание и планируемая тематика отвечают задачам культурного преобразования страны. В связи с подготовкой реформы письма проводится огромная работа и по изучению языков нацменьшинств. Ученые Китая широко используют опыт советской лингвистики.

Весьма важным для тюркологов был доклад проф. А. К. Боровкова (Ленинград) «Лексикографическая традиция в словарях чагатайского языка». А. К. Боровков дал общую характеристику словарей чагатайского языка. Он подчеркнул их культурно-историческое значение и вместе с тем, отметив допускаемые авторами словарей ошибки, указал на необходимость критического отношения к этим словарям.

Принципам составления толковых словарей азербайджанского и таджикского языков были посвящены соответственно доклады канд. филол. наук А. Г. Орудженева (Баку) и акад. АН Тадж. ССР Б. Нияз мухамедова (Сталинабад). Докладчики, обосновав необходимость создания таких словарей, останавливались на вопросах их структуры, источников, периода охватываемой лексики.

С докладом «Согдо-ягнобские диалектологические отношения» выступил доктор филол. наук М. Н. Боголюбов (Ленинград). Докладчик определил отношение ягнобского, или новосогдийского, языка, выступающего как восточносогдийский диалект, к согдийским письменным памятникам, отражающим западносогдийскую группу говоров.

Чл.-корр. АН Тадж. ССР М. Ф. Фазылов ознакомил участников конференции с состоянием и задачами дальнейшего изучения таджикской диалектологии. В настоящее время исследована большая часть диалектов таджикского языка, что позволяет дать классификацию диалектов как по северо-западной группе, так и по юго-восточной, а также установить их взаимоотношение. Координация работы с узбекскими диалектологами для изучения районов со смешанным населением, привлечение материалов говоров совершенно не исследуемых зарубежных таджикоязычных районов Северного Афганистана и северо-восточной части Ирана — одна из основных задач, стоящих перед диалектологами-иранистами.

В докладе «Значение перевода узбекской письменности со старой графики на новую» канд. филол. наук Ф. Камалов (Ташкент) изложил историю узбекской пись-

менности и остановился на вопросе максимальной унификации национальных письменностей, основанных на русской графике.

Проблемам, имеющим большое значение для развития тюркологии, были посвящены доклады чл.-корр. АН Казахск. ССР С. С. Аманжолова (Алма-Ата) «Памятники древнетюркской письменности и их отношение к современным языкам тюркских народов» и канд. филол. наук А. Джафара (Баку) «Из истории применения сравнительно-исторического метода к изучению тюркских языков». На основании общих языковых фактов в указанных памятниках и казахском языке С. С. Аманжолов попытался установить их непосредственную связь. Однако неточности методики исследования вызвали сомнения в правомерности выводов докладчика. Выступившие в прениях проф. И. А. Батманов (Фрунзе) и чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебренников подвергли его доклад строгой научной критике.

А. Джафар в своем докладе, подробно изложив историю возникновения сравнительно-исторического метода в языкознании и дав периодизацию применения его в изучении тюркских языков, пришел к выводу, что все труды по сравнительному изучению тюркских языков в совокупности представляют лишь подготовительный этап в построении тюркского сравнительно-исторического языкознания.

Частному вопросу грамматики арабского языка был посвящен доклад канд. филол. наук А. С. Лекиашвили (Тбилиси) «К изучению структуры арабского корня».

В докладе «К новым успехам советского востоковедения» первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Н. А. Мухитдинов, подводя итоги конференции и отметив ее большое значение, в качестве одной из задач, стоящих перед советскими востоковедами, указал на необходимость усиления исследовательской работы в области изучения восточных языков и литератур, подготовки словарей, грамматик и других научных трудов и пособий, в особенности по малоизученным языкам Востока.

Работа конференции прошла успешно и имела большое значение для развития советского востоковедения.

А. А. Коклянова

ТРЕТЬЕ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

13—16 мая 1957 г. в Институте русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде состоялось Третье всесоюзное совещание по древнерусской литературе, посвященное, как это отметил во вступительном слове чл.-корр. АН СССР Д. С. Лихачев, «изучению художественного мастерства, как теперь говорят, или художественной формы, как было бы правильнее сказать». Д. С. Лихачев подчеркнул важность изучения древнерусского языка для понимания художественной формы древнерусских произведений.

Вопросам развития древнерусского языка и был посвящен первый доклад на совещании, сделанный акад. В. В. Виноградовым — «Основные направления развития древнерусского языка». В. В. Виноградов начал с критического анализа тех двух точек зрения на развитие русского литературного языка древнейшего периода, которые были наиболее отчетливо в свое время сформулированы акад. А. А. Шахматовым, с одной стороны, и акад. С. П. Обнорским, с другой. Докладчик указал на те основные вопросы, важные для понимания истории русского языка, которые продолжают оставаться спорными или неисследованными до настоящего времени.

В. В. Виноградов отметил, что в лингвистических работах часто не различаются литературный язык и письменный язык. Литературный язык древней Руси представлен двумя типами: церковнославянским и народно-литературным, которые постоянно взаимодействовали в разных жанрах. Второе южнославянское влияние способствовало установлению четких синонимических сопоставлений этих двух типов литературного языка. Промежуточный тип создается не на основе их синтеза, а на основе чередования или смешения. Письменно-деловая речь развивалась за пределами собственно литературного языка, хотя и взаимодействовала с ним и постепенно вливалась в него. С конца XV в. структура деловой речи существенно меняется, а в XVI в., особенно, в XVII в. деловая речь уже становится основой в формировании литературного языка этого времени.

В. В. Виноградов наметил ряд задач в области изучения древнерусского языка. В частности, он отметил, что важно проследить, как образы и цитаты из церковнославянских памятников проникали в памятники древнерусского языка, а затем и русского языка позднего средневековья, исследовать, насколько это возможно, диалектно-областные варианты делового языка и т. д.

Действ. член АН УССР Н. К. Гудзий в докладе «О древнерусской литературе как художественном наследстве» подчеркнул, что при изучении памятников древнерусской литературы нельзя ограничиваться, как это часто делают, выявлением идеи

произведения, исторической интерпретацией и текстологическим исследованием, оставляя без внимания при этом художественную форму.

Чл.-корр. АН СССР В. П. Адрианова-Перетц в своем докладе «Роль учительной литературы XIII—XIV вв. в развитии мастерства изображения внутреннего мира человека» показала, как при изображении пороков и страстей в «Прологах», «Пчелах» и других средневековых сборниках (в статьях о «завидливых», «ленивых», «пьяничивых», «злачных» и т. п.) развивается наблюдательность и словесное мастерство средневековых авторов.

Доклад проф. И. П. Еремина «О художественной специфике древнерусской литературы», хотя и имевший целиком литературоведческую направленность (и спорный во многом), не может не представлять значительного интереса и для исследователя древнерусского литературного языка.

Докладчик исходил из положения, что древнерусская литература — это литература дореалистическая. Древнерусский автор никогда не возвышался до каких-либо обобщений, до типизации, его задачей было — достоверно описать то, что происходило; те оценки, которые он дает при этом, не имеют прямого отношения к способу изображения. Конечно, изображение того, что было, требовало наблюдательности и мастерства, но это мастерство — особого рода (целенаправленность — на познавательность, а не на эстетические качества). Однако древнерусская литература имела свои художественные принципы и «в своем художественном ключе» создавала произведения не менее ценные, чем произведения позднейших писателей. Собственно искусством древнерусская литература становилась тогда, когда отходила от достоверного факта к утверждению идеала, когда перед ней вставала задача «преображения жизни», создания идеального мира. Здесь на первый план выступало уже стремление «найти достойные слова», т. е. стремление к художественности. Для различных «идеалов» выработались свои стилистические системы: воинским идеалам соответствует своя стилистическая система, религиозным — своя и т. п. Элементы разных стилистических систем совмещаются, чередуясь в одном и том же произведении, но не сливаются воедино. Таким образом, в древнерусской литературе выделяются два отличных друг от друга способа изображения, определяемые разными задачами: 1) с наибольшей достоверностью воспроизвести действительность; 2) изобразить не действительность, а порожденный ею идеал. Эта двусторонняя природа творческого метода древнерусской литературы не преодолевается до XVII в.

Докладчик отметил необходимость изучения языка древнерусских произведений и выразил неудовлетворенность теми работами языковедов, которые были посвящены исследованию языка отдельных памятников, поскольку в них обычно избегается рассмотрение языка памятника как языка художественного произведения.

Чл.-корр. АН СССР Д. С. Лихачев сделал доклад «К вопросу о зарождении литературных направлений в древней Руси». По мнению Д. С. Лихачева, говорить о литературных направлениях в русской литературе XI—XVI вв. нельзя. Это не значит, что литература за все это время не развивалась. Но смены литературных направлений не было. Это объясняется отсутствием критики, изолированной жизнью отдельных произведений, резким различием по жанрам. Литературные направления зарождаются только в XVII в. (Симеон Полоцкий и др.).

В докладе канд. филол. наук Н. А. Мещерского «Искусство в Киевской Руси» были отмечены те отступления от оригиналов, которые характеризуют некоторые древнерусские переводные памятники (Иосиф Флавий, Александрия). Докладчик считает, что в древней Руси существовали переводы не только с греческого, но и непосредственно с древнееврейского (около 10 произведений), сирийского («Повесть об Акире») возможно, армянского и грузинского языков.

На совещании были заслушаны еще доклады канд. филол. наук А. Н. Робинсона «Художественные принципы автобиографического повествования у Аввакума и Епифания», докт. филол. наук В. Д. Кузьминой «Поэтическая стилистика греческих поэм о Дигенисе и русских списков „Девгениева деяния“, канд. филол. наук О. А. Державиной «Развитие сюжета в переводной новелле XVII в. и его отражение в миниатюре», а также доклады действ. члена Академии художеств СССР М. В. Алпатова и проф. Н. Н. Воронина, освещающие различные стороны древнерусского искусства и его взаимодействия с образами литературы.

По окончании совещания Сектором древнерусской литературы Института проводились расширенные заседания, на одном из которых было обсуждено «состояние изучения древнерусского рукописного наследия». На этом заседании были прочитаны доклады: Е. Э. Гранстрем (Ленинград) «Подготовка сводного печатного каталога славянских рукописей», Я. И. Шапова (Москва) «Археографическая поездка Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», И. Ф. Голубева (Калинин) «О рукописных материалах гор. Калинина» и В. В. Лукьянова (Ярославль) «Рукописные собрания в Ярославле».

Д. Н. Шмелев

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ И ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАШИН

С 28 по 31 мая в Москве проходило научно-техническое совещание, организованное Лабораторией электромоделирования (ЛЭ) АН СССР и посвященное проблеме разработки и построения информационных машин с большой долговременной памятью. Естественно, что вопрос о создании специализированных информационных и переводных машин выдвинул общую проблему записи, хранения и преобразования научной информации — проблему, которая тесно связана с разнообразной лингвистической тематикой. Поэтому в работе совещания, наряду с математиками и инженерами, принимали участие логики, специалисты по общей семантике и лингвисты (всего более 500 человек — представителей 90 различных организаций и учреждений). В ходе 13 заседаний (3 пленарных, 5 в технической и 5 в общетеоретической секциях) было сделано 56 докладов и сообщений. Здесь упоминаются только основные доклады, представляющие известный интерес как вообще для языковедов, так и для языковедов, специально работающих в области машинного перевода.

Проф. Л. И. Гутенмахер в своем докладе «Электрическое моделирование некоторых процессов умственного труда с помощью информационных машин с большой внутренней памятью» дал обзор богатейших возможностей электронных машин: практически беспредельная по объему память, огромная скорость действия, способность выполнять логические операции большой сложности и т. д. Но чтобы можно было использовать эти технические возможности, логики и лингвисты должны предварительно решить вопрос о создании так называемого «информационного языка» (на котором будет записываться информация для машин) и проблему соотношения этого языка с языками реальными, на которых научная информация записывается людьми.

Ст. инженер Л. Л. Мохель (ЛЭ) предложила проект чрезвычайно емкого автоматического словаря.

Сотрудники Отделения прикладной математики (ОПМ) АН СССР Э. З. Любимский, С. С. Камынин и М. И. Филиппова доложили о принципах автоматического чтения символов машинами; они разработали программу чтения латинских букв для машины «Стрела». Автоматическое чтение текста значительно облегчит ввод информации в машину и может быть использовано также для автоматического набора в типографиях.

Доклад инженера Л. С. Левинского (ЛЭ) был посвящен автоматическому устройству, служащему для преобразования печатного текста в звучащую речь.

В своем докладе «Об общих вопросах машинного перевода» проф. А. А. Ляпунов (ОПМ) указал, что первые опытные работы по машинному переводу уже позволяют переходить к некоторым обобщениям. Продолжая составление систем формальных правил для перевода с одного языка на другой, вместо эмпирических поисков в каждом отдельном случае следует разрабатывать общие формальные правила для построения таких систем, т. е. алгоритмизировать сам процесс создания переводческих алгоритмов[1]. Это позволило бы «научить» машину самостоятельно составлять правила перевода, используя параллельный текст на двух языках и заранее подготовленный словарь. Поэтому надо стремиться к выработке максимально обобщенных методов формального анализа языков.

Один из таких методов был изложен О. С. Кулагиной (ОПМ), которая предложила систему теоретико-множественных понятий, позволяющую выделять в данном языке группы слов (аналог «частей речи») как некоторые классы эквивалентности.

Вяч. Вс. Иванов (МГУ), говоря о лингвистических вопросах создания машинного языка для информационной машины, предложил подходить к построению этого абстрактного языка путем выделения специальных «языков» для отдельных областей науки, а также путем создания упрощенных условных моделей реальных языков. Особое внимание придется уделить семантической стороне. Семантика абстрактного языка должна быть сведена к набору минимального числа простейших элементов (так называемых «семантических множителей»). При этом возможно, что при переходе от конкретного языка к информационному удастся осуществлять не подстрочный перевод, а реферат, с опущением избыточного текста.

Доклад о логико-математических вопросах создания информационного языка сделал канд. физ.-мат. наук В. А. Успенский (МГУ), подчеркнувший в своем выступлении значение лингвистики как прикладной науки.

---

[1] Этот термин взят из области математики, где им обозначается одно из основных математических понятий; алгоритмом, или алгорифмом, называется «всякая система вычислений, выполняемых по строго определенным правилам, которая после какого-либо числа шагов заведомо приводит к решению поставленной задачи» (см. БСЭ[2], т. 2, стр. 65).

Канд. хим. наук Г. М. Влэдуц (Ин-т научной информации АН СССР) и сотрудники Лаборатории электромоделирования В. К. Финн, Н. М. Ермолаева и Ю. А. Шиханович доложили о своей работе над информационными языками для химии и геометрии.

Выступления В. К. Финна и Д. Г. Лахути (ЛЭ) были посвящены вопросу о семантических требованиях к информационному языку, доклад И. Н. Шелимовой (ЛЭ)— системе кодирования слов для информационной машины.

Об опытных переводах математических текстов с французского языка на русский на машине «Стрела» сообщила Г. В. Чекова (ОПМ).

Вот образцы переводов — одни из первых, выполненных машиной:

1. *Nous partagerons ces intégrales en deux catégories différentes — Мы разделим эти интегралы на две различные категории.*

2. *Les relations que nous avons trouvées entre les racines et les coefficients d'une equation conduisent assez naturellement a l'étude des formes symmétriques— Соотношения, которые мы нашли между корнями и коэффициентами уравнения, приводят достаточно естественно к изучению симметрических форм.*

3. *Cette transformation pourrait s'effectuer par les calculs relativement simples, en appliquant la remarque suivante — Это преобразование сможет осуществиться относительно простыми вычислениями [исчислениями], применяя следующее замечание*[1].

С докладами о приемах формального анализа конкретных языков как для информационных целей (русский), так и для целей машинного перевода (немецкий, английский, венгерский, китайский) выступили А. Л. Шумилина и З. М. Волоцкая (ЛЭ), И. И. Ревзин (МГПИИЯ), Т. П. Молошная (ОПМ), И. А. Мельчук (Ин-т языкознания АН СССР), М. В. Софронов (Ин-т востоковедения АН СССР).

В целом совещание показало, что рост электронной техники и расширение сферы ее применения предъявляют к лингвистике серьезные требования. Ведь решение чисто практических лингвистических задач для информационных и переводных машин невозможно без успешной работы над такими теоретическими проблемами, как методы фонологического и синтаксического анализа, вопрос о плане содержания и т. д. Как выяснилось в результате сотрудничества языковедов с математиками и техниками, эта работа требует от лингвистов, чтобы они добивались отчетливости и последовательности мышления, строгости в определении понятий, алгоритмического подхода к описаниям явлений языка. А это выдвигает новую проблему — развитие лингвистики как точной науки, широко использующей методы и аппарат математики и математической логики («математическая лингвистика».)

В решениях совещания указывается, что развертывание работы по математической лингвистике и машинному переводу, а также своевременная и регулярная публикация результатов имеют очень большое значение для советской науки и народного хозяйства. Поэтому признано необходимым создать специальный печатный орган (наподобие журнала «*Mechanical Translation*» в США), организовать соответствующий сектор в Институте языкознания АН СССР и подготовить специалистов в этой области на филологических факультетах университетов.

И. А. Мельчук

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В Николаевском педагогическом институте им. В. Г. Белинского в апреле 1957 г. состоялась научная сессия преподавателей института, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1956 год. На секции филологических наук среди других были представлены и заслушаны следующие доклады: «Из наблюдений над морфологическими славянизмами в формах словообразования в мемуарной литературе второй половины XVIII в.» — канд. филол. наук П. В. Бурба; «Из истории образования наречия из кратких прилагательных в русском языке» — преподаватель И. К. Марковский; «Общественно-политическая лексика украинской поэзии для детей» — преподаватель Н. С. Фесенко; «Коцюбинский о языке» — преподаватель Д. Т. Кроть.

В мае 1957 г. в Казани состоялась конференция, посвященная столетию со дня рождения выдающегося представителя казанской лингвистической школы Василия Алексеевича Богородицкого (1857—1941). В работе конференции приняли участие языковеды — представители научных учреждений и высших учебных

[1] Даем переводы точно в том виде, как они были выданы машиной.

заведений городов Ашхабада, Гурьева, Елабуги, Казани, Кирова, Куйбышева, Ленинграда, Молотова, Москвы, Ташкента, Чебоксар, Челябинска.

На пленарном заседании языковеды Казани сделали ряд докладов, посвященных научной биографии и лингвистическому наследию В. А. Богородицкого: «Жизнь и деятельность В. А. Богородицкого (ранний период: 1868—1884)»— зав. кабинетом экспериментальной фонетики им. В. А. Богородицкого А. Н. Мироносицкая; «Научная деятельность В. А. Богородицкого и его роль в развитии языковедческой науки»— доц. Л. В. Златоустова; «В. А. Богородицкий и татарское советское языкознание» — канд. филол. наук Г. С. Амиров; «Опыт В. А. Богородицкого в области историко-литературного изучения художественных произведений» — проф. А. Н. Вознесенский.

Преобладающая часть докладов, представленных на конференцию, была заслушана на секционных заседаниях.

На секции современного русского языка — по вопросам синтаксиса: о двучленных сравнительных конструкциях в современном русском языке — доц. Н. А. Широкова (Казань), о способах выражения условно-следственных отношений в сложном предложении — доц. К. А. Федотова (Молотов), о разговорных конструкциях в построении диалога в художественной прозе А. С. Пушкина — ст. препод. Г. В. Зуева (Казань);

по лексикологии: об изменениях значений имен собственных и превращении их в нарицательные — канд. филол. наук Т. Н. Кондратьева (Елабуга);

по стилистике: о стилистических (главным образом синтаксических) средствах сатиры и юмора — доц. И. М. Захаров (Молотов);

по методике преподавания русского языка в татарской школе: об опыте В. А. Богородицкого по изучению глагольных форм в татарской школе — канд. филол. наук Р. Б. Гарифьянова (Казань) и об изучении склонения существительных в V классе татарской школы — канд. филол. наук Л. З. Шакирова (Казань).

На секции истории русского языка и диалектологии — по вопросам словообразования: о словах типа *молотилка, веялка* — доц. А. А. Дементьев (Куйбышев) и о некоторых вопросах русского словопроизводства (на материале деловых документов XVII в.) — доц. А. А. Горбунова (Молотов);

по исторической грамматике и лексикологии: о способах образования видовых различий глагола в русском языке — С. П. Лопушанская (Казань), об истории русского глагола — доц. И. И. Назаров (Казань), о возникновении и развитии многосоюзия — П. А. Данилов (Ташкент) и о семантике и дифференциации глаголов говорения — доц. В. И. Кодухов (Ленинград);

по исторической и современной диалектологии: о процессах формирования московского наречия — канд. филол. наук В. М. Марков (Казань), о склонении в говорах Казанского Поволжья — канд. филол. наук М. Ф. Моисеенко (Казань), о морфологических особенностях в говорах русских селений Чебоксарского района Чувашской АССР — доц. Ю. Ф. Романова (Гурьев).

На секции татарского языка были представлены доклады как по общим вопросам тюркского языкознания, так и по разделам татарского языка (проблемы фонетики, диалектологии, грамматики и лексики): о значении трудов В. А. Богородицкого для развития лингвистических знаний в Туркменистане — препод. Е. Н. Ершова (Ашхабад), об оканье в тюркских языках — проф. В. В. Решетов (Ташкент), из истории изучения фонетики татарского языка — канд. филол. наук У. Ш. Байчура (Казань), о языке западносибирских (тобольских) татар — канд. филол. наук Д. Г. Тумашева (Казань), о типологических основах глагольных времен татарского языка и о проблеме его происхождения — чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебренников (Москва), о главных членах предложения в русском и татарском языках — канд. филол. наук З. М. Валиуллина (Казань), о придаточных предложениях в татарском языке — канд. филол. наук М. Ф. Закиев (Казань), о составе татарской литературоведческой терминологии — доц. Р. И. Бигаев и П. А. Данилов (Ташкент), о грамматической омонимии татарского языка — канд. филол. наук М. Курбатов (Казань).

Кроме указанных докладов были заслушаны также два сообщения: об орфографии татарского языка — канд. филол. наук Л. Ялфаров (Казань) и об этимологии слова *гоз* — Фасеев (Казань).

---

23 мая 1957 г. состоялось расширенное заседание Секции языков народов СССР Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященное докладу проф. М. А. Рясянена (Хельсинки) «Урало-алтайская прародина в свете исследования слов и археологии».

Проф. М. А. Рясянен, в свое время окончивший Казанский университет по факультету восточных языков, прочитал свой доклад на русском языке. Привлекая к сопоставлению обширный лексический материал языков тюркской и финно-угорской групп и основываясь только на тех сопоставлениях слов (названий каменных орудий,

средств передвижения и тягловой силы), которые поддерживаются данными археологии, М. А. Рясянен высказался за исконное родство урало-алтайцев, считая, что это родство относится к первобытному состоянию (каменный век) этих народов. Путем лексических сопоставлений с привлечением археологических данных М. А. Рясянен приходит к мысли, что прародина урало-алтайцев находилась, видимо, в северных районах Восточной Сибири.

В обсуждении доклада М. А. Рясянена приняли участие чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебренников и канд. филол. наук Э. В. Севортян (Ин-т языкознания АН СССР), канд. филол. наук Н. А. Сыромятников и доктор филол. наук Г. Д. Санжеев (Ин-т востоковедения АН СССР), проф. В. Н. Чернецов (Ин-т этнографии АН СССР), проф. Г. Ф. Дебец (Ин-т материальной культуры АН СССР), проф. Ф. Ф. Советкин (Ин-т национальных школ АПН РСФСР).

1 июня 1957 г. на заседании Сектора тюркских языков Института языкознания АН СССР проф. М. А. Рясянен прочел второй доклад, названный им «О влиянии волжских булгар на Скандинавию». Эта обширная и интересная тема была ограничена изложением результатов этимологических изысканий докладчика только по немногим финским словам (финск. humala «хмель», piika «девочка, девушка» и некоторые др.), происхождение которых М. А. Рясянен возводит через северный диалект волжских булгар к соответствующим тюркским словам (*кумлак* < *кум*//*ком* «волна, волнистый, вьющееся растение» + *-лa* + *k* — словообразующий элемент, *бикэ* «госпожа» < *бек* «господин, князь» + *-ка* — уменьшительный аффикс и др.).

После опубликования в 1955 г. в Издательстве иностранной литературы перевода монографии М. А. Рясянена «Материалы по исторической фонетике тюркских языков» в настоящее время планируется перевод новой книги этого выдающегося финского ученого «Материалы по морфологии тюркских языков».

---

21 июня 1957 г. на заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР состоялась защита старшим научным сотрудником Института Э. В. Севортяном диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук на тему: «Аффиксальное глаголообразование в азербайджанском литературном языке». Избрав для исследования не новую в тюркологии тему, диссертант отказался от традиционного описания аффиксального глаголообразования в виде перечня аффиксов и на большом фактическом материале разрешил ряд кардинальных вопросов. В результате исследования подтвердилось положение о том, что между производным глаголом и его именной основой имеется теснейшая семантическая и грамматическая связь, заключающаяся в том, что для образования отыменного глагола пригодны не всякие именные основы, а только такие, которые по отношению к действию, выражаемому производным глаголом, обозначают орудие, предмет, название или результат действия или их признак, форму, место, время и субъект действия. Связь эта, по мнению автора, вскрывает основное противоречие в истории глаголообразования — несоответствие господствующих на данном этапе значений именных основ и их грамматических форм генеральной для всей истории глаголообразования тенденции ко всемерному и неуклонному разграничению переходных и непереходных глаголов.

Система значений именных основ помогла также диссертанту отграничить собственные значения глаголообразующих аффиксов и установить, что значение производного глагола имеет три источника: оно складывается из реально-вещественного значения именной основы, одного из ее относительных значений (орудия, признака и пр.) и собственного значения глаголообразующего аффикса.

В ходе исследования диссертант выдвинул в качестве рабочей гипотезы положение о том, что представления об активности и пассивности предметов, явлений и пр. исторически предшествуют категории переходности и непереходности. Эта гипотеза позволяет автору объяснить условия, в которых стало необходимым закрепление за аффиксом *-ла-* переходных значений и передача его непереходных значений другому аффиксу — *-лан-*. Именно индифферентностью к названной категории отличаются непродуктивные глаголообразования от продуктивных форм, почему — в силу несоответствия основной тенденции глаголообразования (разделение на переходные и непереходные глаголы) — они и были вытеснены из арсенала глаголообразующих средств.

Рассматривая вопрос о залогах в их отношении к словообразованию, Э. В. Севортян пришел к заключению, что залоги в азербайджанском языке исторически являются скорее категорией словообразования, лишь в дальнейшем развившейся в категорию словоизменения. Залог и категория переходности и непереходности лежат в разных сферах; они могут пересекаться, но они не совпадают. Основываясь на собственных наблюдениях, диссертант рассматривает залог как морфологическое выражение отношения действия к грамматическому субъекту.

Официальный оппонент член-корр. АН Азерб. ССР М. Ш. Ширалиев отметил важное общеязыковедческое значение вывода диссертанта о том, что значение производных глаголов тюркских языков развивается от конкретного двусоставного

значения к обобщенному односоставному значению. Намеченная Э. В. Севортяном четырехтипная классификация глагольных основ позволила ему проследить этапы этого развития.

М. Ш. Ширалиев считает правильным вывод автора о том, что аффиксы *-лан-*, *-лаш-*, *-лат-//-ландыр-*, *-лашдыр-* представляют собой звенья в развитии аффикса *-ла-*, что подтверждает процесс специализации глаголообразующих аффиксов, одни из которых становятся формами непереходных, другие — формами переходных глаголов.

Особый интерес, по мнению М. Ш. Ширалиева, к которому присоединились и два других официальных оппонента, представляет собой решение диссертантом проблемы переходности и непереходности, а также вопроса об отношении этой категории к категории залога и об отношении последней к глаголообразованию.

Официальный оппонент доктор филол. наук А. Н. Кононов сказал, что он приветствует методический прием автора, который рассматривает значения производных глаголов с каждым данным аффиксом в свете трех критериев: 1) источников значения производного глагола; 2) структуры глагольного значения; 3) глагольного значения по аффиксам.

Официальный оппонент проф. В. М. Насилов подчеркнул важность третьей главы диссертации об омонимии и синкретизме древнейших глагольно-именных основ; он считает, что диссертант убедительно доказал положение об односложности первичных корней и о вторичном характере двухсложных именных и глагольных основ. Все официальные оппоненты высказались за скорейшее опубликование монографии.

Заслушав выступления неофициальных оппонентов Э. Н. Наджина, К. М. Любимова, А. А. Алекперова и 12 отзывов на автореферат, основываясь на единодушном мнении, что работа носит общетюркологический характер и имеет важное значение не только для тюркологии, но и для общего языкознания, Ученый совет Института языкознания присвоил Э. В. Севортяну степень доктора филологических наук.

В июле 1957 г. на заседании Ученого совета Института славяноведения АН СССР состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук старшим научным сотрудником Института Ю. С. Масловым. Тема диссертации — «Глагольный вид в современном болгарском языке».

Изучение категории вида в современном болгарском литературном языке представляет, как подчеркнул в своем выступлении диссертант, большой интерес в силу своеобразного сочетания в этом языке развитой категории совершенного и несовершенного вида с разветвленной системой времен. В вводной части своего исследования Ю. С. Маслов противопоставляет вид как грамматическую категорию способу глагольного действия как лексической группировке глаголов (ср. такие значения, как начинательность, многократность и под., не получающие регулярного выражения словообразовательными средствами). Кроме того, автор различает вид в узком смысле — «аспект» (совершенный и несовершенный виды в славянских языках) и вид в широком смысле слова — грамматическое разграничение различных представлений о характере протекания действия (например, в болгарском — различие в значении аориста и имперфекта). Образование видовых соотносительных пар квалифицируется диссертантом как словоизменительный процесс, осуществляемый путем так называемой имперфективации (образования вторичных несовершенных основ). Перфективация же с использованием приставок или суффикса *-н-* дает новый глагол и рассматривается как процесс словообразовательный.

Грамматическая сущность вида раскрывается полнее всего на основе анализа синтаксического употребления глаголов, что составляет содержание первой части работы. Прослеживая употребление совершенного и несовершенного вида в отдельных глагольных формах и конструкциях, диссертант дал подробное описание типов значений совершенного и несовершенного вида в болгарском языке. Он пришел к выводу, что основным показателем для значения категории вида в болгарском языке является целостность действия (или отсутствие указания на нее). По мнению Ю. С. Маслова, в категории вида «более ярким членом противопоставления является совершенный вид, а несовершенный вид более нейтрален и играет роль как бы фона».

Вторая часть работы посвящена анализу глагольных основ болгарского языка в отношении распределения их по видам. В заключении Ю. С. Маслов формулирует общее определение совершенного и несовершенного вида (как «отражение объективно обусловленной возможности двоякого взгляда» на глагольное действие — как с восприятием или без восприятия его целостности), а также дает выводы относительно морфологического механизма вида в болгарском языке.

Различные части диссертации были предварительно опубликованы[1]; основная

[1] См. соответствующие статьи в изданиях: «Докл. и сообщ. Филол. ин-та [ЛГУ]», вып. 1, Л., 1949; «Краткие сообщ. [Ин-та славяноведения АН СССР]», М., вып. 10—1953 и вып. 15—1955; сб. «Вопросы славянского языкознания», вып. 1, М., 1954.

концепция (с некоторыми упрощениями) изложена в книге диссертанта «Очерк болгарской грамматики» (М., 1956).

Официальный оппонент доктор филол. наук В. В. Бородич дала диссертации высокую оценку, отметив полноту описания материала в обеих ее частях. Однако определение Ю. С. Масловым глагольного вида представляется оппоненту приложимым к виду любого из славянских языков и потому слишком общим. Она указала на то, что автор недооценивает префиксальный способ видообразования; по ее мнению, категория вида не является чисто грамматической, а составляется из разнородных элементов — грамматических, лексических и лексико-грамматических; при этом в болгарском отчетливо намечается тенденция к возобладанию грамматического способа видообразования. В. В. Бородич видит основное видовое (в широком смысле) значение перфекта не в «актуальности последствий действий» (по Ю. С. Маслову), а в ненаблюдаемости предшествующего действия.

Доктор филол. наук П. С. Кузнецов отметил как положительный факт, что, исследуя видообразование и структурные отношения основ, Ю. С. Маслов обращает внимание на относительную продуктивность различных образований. П. С. Кузнецов (как и следующий официальный оппонент) высказался против разграничения вида в узком и вида в широком смысле слова.

Канд. филол. наук А. И. Моисеев остановился на теоретических выводах в работе. Так, он считает определение категории вида у Ю. С. Маслова только общей характеристикой, так как оно не обобщает значений совершенного и несовершенного вида, а только суммирует их и не охватывает так называемых дефектных глаголов perfectiva et imperfectiva tantum; по мнению А. И. Моисеева, понятие целостности действия менее показательно для значения категории вида, чем понятие качественного предела. Ограничивая пути возникновения видовой соотносительности имперфективацией, автор непоследователен: он говорит как о «лексически тождественных» о глагольных парах типа *пи́ша — напи́ша* (ср. то же в «Очерке болгарской грамматики», стр. 196)

Выступившая после официальных оппонентов канд. филол. наук И. К. Бунина подчеркнула, что стержневая идея работы — отсутствие отличий современного болгарского языка от других славянских языков в степени развития категории вида — опровергает объяснение наличия многовременной системы в болгарском слабым развитием категории совершенности-несовершенности.

Все выступившие указали, что исследование Ю. С. Маслова имеет значение для изучения не только болгарского, но и других славянских языков и вообще для аспектологии (науки о глагольном виде). Они отметили, что считают Ю. С. Маслова заслуживающим присуждения ему степени доктора филологических наук. В заключительном слове Ю. С. Маслов ответил на замечания и возражения оппонентов.

Ученый совет Института славяноведения единогласно присудил Ю. С. Маслову ученую степень доктора филологических наук.

В Ленинградском доме ученых им. М. Горького АН СССР с 1957 года организована секция международного языка эсперанто. В задачи секции (председатель — член-корр. АН СССР С. В. Обручев) входит разработка вопросов теории эсперанто, использование его в качестве языка научных публикаций.

На съезде английских славистов в Лондоне 9 марта 1957 г. была учреждена постоянная Ассоциация британских славистов. Председателем Ассоциации избран проф. В. К. Мэтьюс, секретарем — д-р Р. Оти. Ассоциация британских славистов, следуя решениям московского заседания Международного комитета славистов, создала Национальный комитет британских славистов, призванный провести подготовку к IV Международному съезду славистов в Москве. В состав Национального комитета входят: проф. С. Коновалов (Кембридж) – председатель, проф. Э. Хилл (Кембридж), проф. В. К. Мэтьюс (Лондон), проф. Б. Унбегаун (Оксфорд), проф. И. Городецкий (Ливерпуль), проф. Д. П. Костелло (Манчестер), Д. Уорд (Эдинбург), В. Э. Дж. Холтам (Глазго), Р. Ф. Кричен (Бирмингам), Ф. М. Боррас (Лидс), Д-р Ф. Ф. Силей (Ноттингем), Д-р Р. Оти (Кембридж)— ученый секретарь. Адрес Национального комитета: D-r Robert Auty, Cambridge, Salwyn college.

О ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» НА 1958 ГОД

Редакция журнала «Вопросы языкознания» считает особенно желательным получение статей и материалов по следующим проблемам советского языкознания:

1. Язык и общество. Различные формы речевого общения. «Массовая коммуникация» (радио, кино, телевидение, ежедневная пресса) как особое языковое и социальное явление. Современные теории речевой коммуникации.

2. Становление и развитие общенародных национальных и литературных языков в их взаимоотношениях с диалектами. Проблема соотношения старописьменных и современных литературных языков

3. Периодизация истории языка. Определение относительной хронологии языковых явлений. Внутренняя реконструкция древнейших периодов истории языка.

4. Проблема языкового родства и ее решение применительно к отдельным группам языков. Процесс образования языковых семей и вопрос о языковых союзах. Теория субстрата. Проблема двуязычия и смешения языков.

5. Задачи и методы изучения языка памятников письменности. Значение новых данных письменных источников и новых диалектологических фактов для сравнительно-исторического языкознания.

6. Этимологические, историко-лексикологические и топонимические разыскания в связи с вопросами истории общества.

7. Место и значение лингвистической географии в ряду лингвистических дисциплин. Методы диалектологических исследований.

8. Проблемы семасиологии и лексикологии в связи с общей теорией лексикографии. Проблема системности лексических явлений. Описательное и историческое изучение лексико-семантических групп слов. Принципы составления толковых, этимологических и исторических словарей.

9. Вопрос о методах и принципах синхронного описания системы языка и ее различных сторон. Построение описательных грамматик. Взаимоотношение словообразования, морфологии и синтаксиса. Вопрос об эффективности анализа единиц языка по типам их сочетаемости.

10. Применение фонологических методов в описательном, историческом и сравнительно-историческом языкознании. Связь развития фонологической системы языка с развитием других сторон языка.

11. Типологическое исследование языков и проблема сопоставительного языкознания.

12. Международные вспомогательные языки.

13. Проблема художественной речи.

14. Современная лингвистическая терминология.

15. Дискуссия о структурализме и других течениях в науке о языке за последние годы.

16. Языкознание в странах арабского Востока, Индии, Китае и Японии.

17. Вопрос о применении математических методов в языкознании. Лингвистическая статистика. Изучение языка методами теории информации. Теория машинного перевода.

18. Новые материалы по истории языкознания.

19. Подготовка языковедческих кадров.

SOMMAIRE

Articles: Les tendances principales du developpement de la linguistique soviétique; Y. D. Décheriyev (Moscou). Les langues de l'URSS dont l'écriture est nouvellement introduite et leur développement pendant l'époque soviétique; S. G. Barkhoudarov (Moscou). Le progrès de la lexicographie russe soviétique pour 40 ans; M. M. Goukhman (Moscou). La linguistique comparée indo-européenne et les études typologiques; O. N. Troubatchev (Moscou). Sur la compilation des dictionnaires étymologiques des langues slaves; Y. V. Knorozov (Léningrade). Sur l'étude de l'écriture hiérogliphique de maya; **Communications et notices:** Quelques faits nouveaux sur les parlers populaires russes (fondé sur les matériaux des atlas dialectologiques); F. T. Jilko (Kiev). Quelques aspects de l'étude contemporaine des dialectes ukraniens; U. U. Senkus (Vilnius). L'étude des dialectes lithouaniens; N. M. Terestchenko (Léningrade). Sur l'interrélation des langues samodiennes et les langues des autres groupes; E. A. Kreinovitch (Léningrade). Sur l'étude de la langue youkaghirienne; V. I. Litkine (Ryazane). L'étude des dialectes komi; **La linguistique, la théorie d'information et la traduction mécanique:** L. R. Zinder (Léningrade). Éssai de coopération entre les phonétistes et les ingénieurs des communications; N. D. Andreyev (Léningrade). La traduction mécanique et le problème de la langue intermédiaire; **Critique et bibliographie;** Vie scientifique: L. P. Joukovskaia (Moscou). Le jubilée de l'évangile d'Ostromir; A. P. Kolpakov (Stalinabad). La linguistique à Tadjikistan; A. A. Kokliánova (Moscou). La première conférence d'orientalistes de l'Union; D. N. Chmelev (Moscou). La troisième conférence de l'Union consacrée à la littérature vieille slave: I. A. Meltchouk (Moscou). La conférence consacrée au développement des machines d'information.

CONTENTS

Articles: The main trends in the development of Soviet linguistics; Y. D. Desheriyev (Moscow). The newly scripted languages of the USSR and their development during the Soviet epoch; S. G. Barkhudarov (Moscow). The progress of Russian Soviet lexicography for the past 40 years; M. M. Gukhman (Moscow). Indo-European comparative linguistics and typological studies; O. N. Trubatchev (Moscow). On the compilation of etymological dictionaries of the Slavonic languages; Y. V. Knorozov (Leningrad). On the study of hieroglphic maya writing; **Notes and queries:** Some new facts on Russian dialects (based on the materials of dialectological atlases); F. T. Zhjilko (Kiev). On some aspects of contemporary study of the Ukrainian dialects; U. U. Senkus (Vilnius). The study of the Lithuanian dialects; N. M. Terestchenko (Leningrad). On the interrelation of the Samodiyan languages and languages of other groups; E. A. Kreinovitch (Leningrad). On the investigation of the Yukaghir language; V. I. Lytkin (Ryazan). The study of the Komi dialects; **Linguistics, theory of information and machine translation:** L. R. Zinder (Leningrad). Experiment of cooperation between phonetists and communication engineers; N. D. Andreyev (Leningrad). Machine translation and the problem of the intermediate language; **Critics and bibliography; Scientific life:** L. P. Zhjukovskaya (Moscow). Jubilee of the Ostromir gospel; A. P. Kolpakov (Stalinabad). Linguistics in Tadjikistan; A. A. Koklianova (Moscow). The first all-Union conference of orientalists; D. N. Shmelev (Moscow). The third all-Union conference on Old Russian literature; I. A. Meltchuk (Moscow). The conference on the development of information machines.

Т-08921 Подписано к печати 25. IX. 1957 г. Тираж 9975 экз. Зак. 1836
Формат бумаги 70×108 1/16. Бум. л. 5 1/4 Печ. л. 14,38 Учетно-изд. л. 16,2

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., д. 10